Илья Туричин

БРАТЬЯ







Денису
в день рождения
от Жени
18:04:84 г.

Д

Илья Туричин



БРАТЬЯ

РОМАН

Ленинград
«Детская литература»
1984

Р 2
Т 86

Рисунки Игоря Жмайлова

4803010102—121
Т ———————— 418—84
М101(03)—84



Часть первая

ВЗРЫВ

1

Солнце раскаляло стены домов. Воздух густел и зыбко струился. Поникла бледная от пыли листва деревьев. Голуби забились в тень, но тень не спасала, и они не вертелись, как обычно, а сидели неподвижно, распушив перья, опустив крылья и сонно прикрыв глаза.

Геннадий Чурин (под этим именем лейтенант Каруселин работал в слесарной мастерской Захаренка) медленно брел по улице. Покрытый ржавыми пятнами комбинезон расстегнут на груди. Из-под него выглядывает ворот несвежей рубашки. Стоптанные сандалии шлепают на босых ногах. Светлые потные волосы всклокочены, неопрятная борода торчит кустиками. В руках — открытый деревянный ящик с инструментами.

Геннадий Чурин не спешил. Ну кто ж в такую жару будет спешить, да еще на работу! Он остановился, присел на разогретую каменную тумбу возле ворот. Поставил ящик у ног. Достал из кармана комбинезона синий в ромашках кисет, неторопливо развязал тесемки, оторвал от сложенной газеты листок, насыпал щепоть зеленого самосада, разровнял грязным пальцем, свернул цигарку, несколько раз провел языком по краю листка. Во рту было сухо. Прихватив цигарку зубами, прижал трут к огниву, ударил кресалом, раздул на труте искру, прикурил. Откуда у мастерового человека дефицитные спички?

Мимо медленно прошагали автоматчики. Один глянул на Чурина косо, сказал что-то. Гортанная речь ленива. Жара.

Чурин даже головы не поднял. Сидел, курил. Сизый едкий дым медленно подымался над головой, не растекаясь в недвижном воздухе.

Мимо прошуршали одна за другой две легковушки с опущенными оконными стеклами. В проемах торчали распаренные лица офицеров.

Возле бывшей школы, где у немцев разместился какой-то штаб, заметно прибавилось машин. По улицам ходят усиленные патрули. Немцы готовятся к совещанию.

Что ж, и их группа неплохо подготовилась. Понемногу переправили в продуктовую кладовую взрывчатку. Заложены три заряда. Под самым носом у штурмбанфюрера Гравеса и его людей. Грохнуть должно знатно!

Осталось подключить провода да проверить, чтобы не было обрыва как тогда, когда он подрывал мост в сорок первом. И вывести из гостиницы своих людей. Впрочем, это уже не его задача, тут командует Гертруда Иоганновна. А его задача — взрыв.

Чурин докурил цигарку, бросил ее под ноги, придавил каблуком, поднялся, подхватил ящик с инструментами и побрел к гостинице.

Как и все служащие, он входил в гостиницу через двор, по черному ходу. Там у дверей стоял часовой, проверял пропуска.

Нынче ворота оказались закрытыми. У калитки стояли на солнцепеке двое автоматчиков. Вороты гимнастерок расстегнуты, рукава закатаны до локтей. А рядом — штатский с повязкой полицейского на рукаве отглаженной рубахи, в отутюженных брюках и начищенных светлых штиблетах. Голову прикрывала от солнца белая детская панамка. Тень от ее коротких полей ложилась на потный розовый лоб, а из-под тени торчал большой, облупившийся нос.

— Далеко собрался? — спросил полицейский.

Чурин заметил, что он был без оружия, видно, хозяева не очень-то доверяют своим верным «бобикам».

— На работу.

— Пропуск.

Чурин достал пропуск. Штатский взял его обеими руками, посмотрел сам, потом протянул одному из немцев, видимо старшему.

Немец помотал головой:

— Найн.

— Недействителен, — сказал полицейский.

— Вот те на... У меня ж там трубы развинчены. Залить может.

— До се не залило, мабуть не зальет.

— Хозяйка фрау ругаться будет, моему хозяину пожалуется, — жалобно произнес Чурин.

— Га! — усмехнулся полицейский. — На то оне и хозяева́. Чеши, кореш, отседова, а то, гляди, в тюрягу заметут.

— Да за что ж в тюрягу? — с отчаянием спросил Чурин. Он всего ждал, ко всему был готов, к провалу, аресту, перестрелке. Но что б вот так просто не пустили? Там же заряды не подключены!

— За эту... за про-фи-лактику, — смачно произнес полицейский не совсем привычное иностранное слово.

Надо было уходить. Немцев ничем не прошибешь.

— Может, вызовешь кого, фрау хозяйку или там хоть повара.

— Не можно. Ни тудой, ни сюдой. Так что отпуск тебе вышел... с этим самым... с сохранением содержания, — полицейский засмеялся, обнажив золотую фиксу, и добавил: — Чеши поздорову.

Чурин подхватил свой ящик и медленно побрел по раскаленной улице.

Что делать? Кто же знал, что они отменят пропуска, перекроют все входы? Разве такое предусмотришь? И вот все — насмарку. Риск с переправкой взрывчатки. Закладка зарядов. Кому они нужны, если не срабо-

тают? Гертруда Иоганновна уведет людей. Уведет? Сказал же «бобик» — «ни тудой, ни сюдой».

Проваливается так тщательно подготовленная операция! Из-за ерунды, в сущности. Из-за отмены пропусков. Ах, штурмбанфюрер!.. Надо предупредить Гертруду Иоганновну. Как? Телефонные разговоры прослушиваются наверняка. Никакой эзопов язык не поможет. Только насторожит Гравеса. Что же делать?

Чурин добрел до четырехэтажного дома, в котором помещалась слесарная мастерская, лениво свернул в ворота. Куда спешить мастеровому?

Спустился в подвал, ощутил приятную прохладу. Пахло железом, керосином, махоркой.

Хозяин разговаривал с заказчиком, мужчиной в шелковой голубой бабочке, вертел в руках замысловатый ключик.

Чурин сел на лавку у стены.

— Таких болваночек нету, — Захаренок положил ключ на стойку. — Придется изготовлять, сами понимаете. Канавку вытачивать вручную...

— Я плачу, господин Захаренок.

— Дело не в плате. Только разве для вас. Пожалуйте завтра к вечеру. А еще лучше послезавтра утром. Работа тонкая. Придется лично.

— Спасибо, господин Захаренок. Всего вам доброго.

В дальнем углу невозмутимый Василь Долевич по прозвищу Ржавый старательно и нудно скреб напильником.

Захаренок проводил заказчика до двери, плотно закрыл ее и повернулся к Чурину.

— Плохо, хозяин. Пропуск недействителен. Ворота закрыты.

— Та-ак... — Захаренок присел на лавку рядом. — Что решил?

— Ума не приложу. Если бы кто-то, кто в гостинице, подключил провода.

— А сумеет?

— Я объясню. И еще необходимо предупредить фрау. Насколько я понял, Гравес создал вокруг гостиницы вакуум, пустоту. И туда — никого, и оттуда — никого. Если удастся подключить провода, ей людей не вывести. Пусть укроются где-нибудь в гостинице.

— Опасно.

— Опасно. Можешь предложить другой выход? Главное, чтобы никого не было ни на кухне, ни в зале.

Они помолчали. В тишине занудно скреб напильник.

— Кто-нибудь еще имеет пропуск в гостиницу? — спросил Захаренок.

— Говорю: отменили пропуска.

— Новые могли выдать.

— Фрау, дьякон, Флич, еще Злата-Синеглазка.

— Фрау и дьякон отпадают. Живут в гостинице. Флич... Фокусник, что ль?

Чурин кивнул.

— Ржавый! — позвал Захаренок.

Напильник замолк.

— Ну...

— Ты фокусника знаешь, Флича, который к нам вазу приносил?

— Знаю.

— А где живет, знаешь?

— Наверху по третьей лестнице. У одноногого, который цирк сторожил.

— А ну, как бы между делом, слетай к нему. Если он дома, скажи, пусть зайдет. Скажи, спицы я ему достал для пензенского велосипеда.

Василь вытер руки о блестящие штаны и вышел, тихо прикрыв дверь.

— Что за спицы? — удивился Чурин.

— Старый разговор. Давай-ка, Геннадий, займись чем. Вон хоть шейку у примуса припаяй. Что за перекур у частного предпринимателя?

Чурин занялся примусом. Захаренок ключом. Зайдет кто — в мастерской разгар работы.

Вскоре вернулся Василь.

— Придет.

Захаренок и Чурин переглянулись.

Некоторое время все трое работали молча и сосредоточенно, словно у них не было иных забот. Но думали каждый о своем.

Чурин придумывал способы проникновения в гостиницу один фантастичнее другого и тут же отвергал их. По воздуху не перелетишь, под землей не проползешь. Одно непреложно: задание надо выполнить во что бы то ни стало. Хоть ценой жизни. Только сначала выполнить, а потом уж пропадать. С музыкой. Хороший фейерверк — лучшая музыка для сапера.

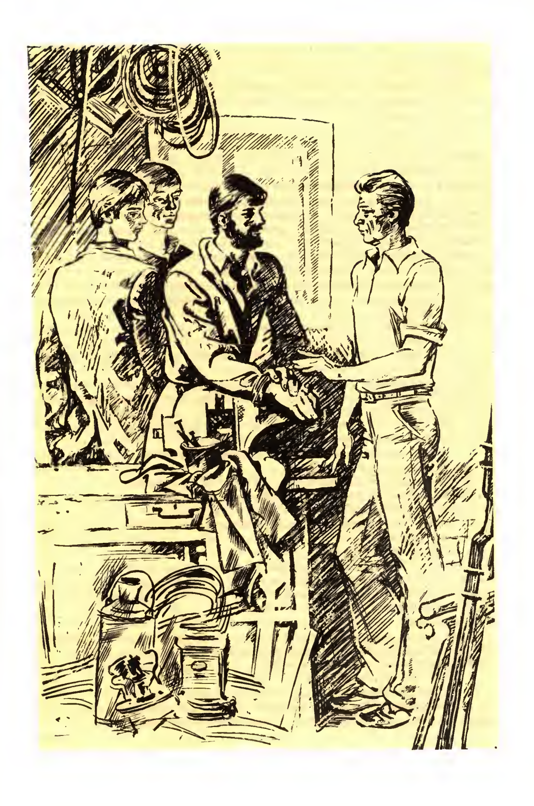
Захаренок думал, чем и как помочь Чурину. Можно ли довериться Фличу? Один раз фокусник приходил от фрау. Он, Захаренок, осудил тогда этот шаг как опрометчивый. Хотя и оправданный: так сложились обстоятельства, каждая минута была дорога. Ведь и сам он вынужден был пренебречь обычными каналами связи, послал в лес мальчишку, Василя. Иногда обстоятельства заводят в тупик, припирают к стене. Тут уж решай сам. Иди на риск.

Тогда Флич выполнил просьбу хозяйки, его старой, хорошей знакомой, подруги, можно сказать, передал незаметно записочку, даже не зная, что в ней. Передать записочку — одно дело, и совсем другое — взорвать офицерский ресторан. Там — я ничего не знаю, попросили — передал. А тут — виселица в лучшем случае. А то и с живого шкуру спустят. Эти, в службе безопасности, большие «мастера».

Вот и решай. А решать надо.

Василь думал о Злате. Последние недели он неотступно думал о ней. Что-то с ним происходит. Факт. Стоит только увидеть ее, и какая-то неодолимая, щемящая и сладкая сила распирает грудь. Словно сердце надувают, как воздушный шар, и вот-вот ноги не удержат на земле, оторвешься, полетишь над улицей, над городом, над землей и заорешь на весь этот удивительный и жутковатый мир: Зла-а-та-а!

Нет, девочка и раньше нравилась ему. Симпатяга, друг, одна из Великих Вождей. Ах, какое детство эта игра в Великих Вождей, какое далекое и немного смешное детство. Тогда ничего не стоило дернуть Злату за волосы, а то и щипнуть и захихикать при этом, как от веселой шутки. А теперь случайно прикоснешься к ее руке — будто током шибанет, ноги деревенеют, язык отнимается. Надо же! Всю жизнь все равно было что надевать, да пришита ли на рубахе пуговица, да какие башмаки на ногах, если они вообще надевались. А теперь вот стираешь рубашки через день. Сапоги отцовы драишь бархоткой, не хуже айсора, что до войны на углу у гостиницы башмаки чистил за гривенник. Руки после работы отмываешь, того и гляди — кожу сдерешь. Прическу завел! Уж не любовь ли это? Толик-собачник или дядя Гена узнают — засмеют! А чего смешного! Чего, спрашивается?



Напильник все ускорял и ускорял скрип. Занятый своими мыслями Захаренок взглянул на Василя удивленно: чего это парень в такую жару себя не жалеет?

Дверь отворилась и на пороге появился Флич в светлых брюках из чесучи и белой рубашке «апаш». Одной рукой он прижимал к животу большой медный таз.

«Смотри-ка, работу принес», — удовлетворенно отметил Захаренок.

— Здравствуйте, — сказал Флич. — Мне бы тазик обновить. Подходит время варки варенья. — Он оглядел мастерскую, заметил незнакомого бородача с примусом в руках, добавил: — Конечно, при условии, что удастся раздобыть сахар. — И обратился к Захаренку: — Если не ошибаюсь, вы — хозяин и мы с вами знакомы. Вы прекрасно починили «волшебную» вазу. Смею напомнить: Жак Флич, артист оригинального жанра.

— Здравствуйте, господин артист. Давайте ваш тазик, посмотрим. Ржавый! — Захаренок кивнул на дверь.

Василь молча вышел наружу, захватив напильник и какую-то железяку. Там он уселся на предпоследней ступеньке лестницы лицом в сторону ворот и принялся неторопливо обтачивать железку.

Захаренок положил руку на тазик и испытующе смотрел на Флича, словно изучал его.

Флич даже оглядел себя, спросил:

— Что-нибудь не так?

— Все так, — ответил Захаренок и добавил решительно: — Товарищ Флич.

Фокусник метнул быстрый взгляд на бородача. Тот поставил примус на обитый жестью стол и подошел. В свете окна лицо его показалось вроде бы знакомым.

— Не узнаете? — спросил бородач молодым голосом.

— Н-нет... — неуверенно произнес Флич.

— А ведь мы с вами встречались до войны в цирке и у Лужиных.

Флич присмотрелся.

— Позвольте... Действительно... Нет... Не припомню.

— А вы исключите бороду. Лейтенанта саперного не помните?

Флич заволновался.

— Боже мой... Конечно... Еще у вас фамилия... такая... ярмарочная. Ах, ну напомните...

— Каруселин.

— Верно... Лейтенант Каруселин! Здравствуйте, голубчик! — он схватил руки лейтенанта и начал трясти с такой сердечностью, что у того сжало горло. — Живы, голубчик, товарищ лейтенант. Это расчудесно!..

— Вспомнили?

— Еще бы!

— А теперь забудьте, товарищ Флич. Не Каруселин я и не лейтенант, а Чурин, Геннадий Чурин, водопроводчик.

Флич всплеснул руками растерянно:

— Конечно, конечно, товарищ Чурин.

— Господин Чурин, — улыбнулся Захаренок.

— Само собой. Господин Чурин. — Флич достал из кармана носовой платок, вытер шею и лицо, сунул платок обратно.

— Теперь к делу. У вас пропуск в гостиницу есть? — спросил Захаренок.

— Конечно.
— Покажите.
Флич показал пропуск — серый листок картона с наклеенной на него фотографией, какими-то значками и большой печатью с орлом.
— Ясно. — Чурин нахмурился, поскреб бороду и вопросительно посмотрел на Захаренка.
Тот покачал головой:
— Такого не сделать.
Чурин вздохнул. Надо решать. Другого выхода нет. Произнес медленно, словно вкладывал в слова какой-то очень важный скрытый смысл:
— Товарищ Флич, я работал две недели в гостинице...
— Как же я вас там не приметил?
— У каждого свое дело и свое место. Вы — артист, я — водопроводчик. Вы на сцене, я — в сортирах да подвалах. Сегодня у немцев совещание. Отовсюду понаехали. Вечером соберутся в ресторане. Среди них крупные шишки. Собрались, чтобы обсудить методы борьбы с партизанами. Усваиваете?
Флич слушал внимательно, стараясь угадать, к чему ведет это вступление, и только коротко кивнул.
— Наше командование решило провести диверсию. Пусть знают, что мы не дремлем. Я с вами абсолютно откровенен, товарищ Флич.
Флич снова коротко кивнул.
— Нам удалось заложить заряды взрывчатки в ресторане. Это было очень нелегко — работать под носом у службы безопасности. Сегодня я должен был подсоединить провода к сети. Но меня не впустили в гостиницу, — Чурин помахал своим пропуском. — Они нас переиграли. Они уедут отсюда живыми и невредимыми. И будут уничтожать советских людей. Вот такое положение сложилось на текущий момент.
Чурин замолчал. Лицо его было серьезным и скорбным, будто он уже видел будущие жертвы фашистов.
И Захаренок молчал.
— Я догадывался, что что-то готовится, — сказал Флич задумчиво. — Я, видите ли, иллюзионист и манипулятор, а потому чрезвычайно наблюдателен. Да к тому же кое-что проносил туда в своей аппаратуре. У меня, видите ли, есть аппаратура с двойными стенками. Не скрою. Хотя это — профессиональная тайна... Значит — взрыв в ресторане...
Он живо представил себе самого себя на сцене — белая манишка, черный фрак, лаковые туфли. В руках «волшебная» палочка. Вот он наливает воду из кувшина в вазу. Накрывает вазу пестрым платком. Прикасается к ней палочкой... И вместо цветов, которые должны появиться в вазе — грохот, к потолку взлетают столики, с потолка рушатся люстры — дым, пыль, крики, кровь... Содом и Гоморра. Гибель Помпеи!.. Впечатляющий фокус.
И тотчас подумал: а как же Гертруда? Дьякон Федорович? Как же мальчики? И наконец, как же он сам, Жак Флич собственной персоной?
Он растерянно посмотрел на Чурина, потом на Захаренка.
— Взрыв в ресторане. А как же?.. — он не договорил, Чурин понял.
— Гертруда Иоганновна должна была вывести всех из гостиницы до взрыва.
— Значит, Гертруда в курсе? Ну, да... разумеется... И ни слова...

— Но вывести из гостиницы никого не удастся, — сказал Чурин. — Немцы без специальных пропусков никого не впускают и не выпускают. Полагаю, что ваш пропуск только на вход. Гравес очень осторожен.

— Выходит, и тут переиграли?

— Выходит.

— Намерены уехать целыми и невредимыми наверняка?

— Намерены.

— И вы им не помешаете? — возмутился Флич.

— Я не могу попасть в гостиницу. Никто не может.

В подвале повисло тягостное молчание.

Захаренок водил пальцем по краю медного таза. Никого не торопил. Пусть каждый решает сам за себя. Все главное сказано. Теперь пусть каждый думает и решает. На риск надо идти с открытыми глазами и свободным от страха сердцем.

Чурин молчал угрюмо. В любом случае за операцию отвечает он. И рисковать должен он. И замкнуть концы — его дело. Потому что еще неизвестно, как повернется, как поведут себя стены и потолки — здание старое. Могут и перекрытия рухнуть.

— Помните Мимозу? — неожиданно спросил Флич.

— Клоуна? Конечно!

— Он считал, что можно отсидеться, переждать. Жил у какой-то старухи, бог знает на что и как. Он был абсолютно безвреден и беспомощен. А они его повесили зимой... Послушайте, товарищи, а что надо присоединить? Объясните. Я ведь имею дело с техникой.

— Два конца звонкового провода к клеммам электропробки.

— Так просто? — удивился Флич.

— Специального образования не надо, — кивнул Чурин.

— У меня как раз нет специального образования, — сказал Флич взволнованно. — Зато есть пропуск. И потом в молодости я великолепно вставлял жучки в пробки.

— Должен предупредить, что это очень опасно, — сказал Захаренок строго. Ему не понравилась легкость, с какой Флич говорил о проводах и пробках. — Очень опасно. Можно погибнуть при взрыве. А можно и потом. Служба безопасности пойдет по следу. Вызовут собак. Все это вы должны знать, товарищ Флич.

Флич торжественно приподнял кустики бровей и стал как-то выше ростом.

— Уважаемый господин Захаренок! Дорогой господин Чурин! Господа! Я все понимаю. Но скажите мне, где, когда, какой фокусник мог показать такой фокус? А? В конце концов, это мой долг артиста и человека. И потом у меня личные мотивы совпадают с общественными. Как говорил покойный Мимоза: главное — не терять куража. Вы мне только доверьте. За свою жизнь я видел зверей и пострашней, чем СД.

И снова Захаренок и Чурин переглянулись. Они еще колебались, хотя иного выхода не было.

— Мы вам доверяем, — сказал Чурин. — Знаете, где электрощит?

— Н-нет.

— В каморке у шеф-повара Шанце. А провода выведены из подвала сквозь пол под его койку. И спрятаны под плинтусом.

— Шанце? — удивился Флич. — И он знает?

— Знает. Взрывчатка шла разными путями, в том числе и под видом

продуктов. Шаице получал ее и храиил. Ои — антифашист и готов помочь иам свериуть шею Гитлеру. Так вот, когда зажгут свет в ресторaие, ие раиьше, усваиваете? Когда зажгут свет, иадо будет открыть щит. Ои открывается легко, поворотом ручки кверху.

— Поиял.

— И подсоедииить концы звонкового провода к клеммам второй пробки слева в иижием ряду. Второй слева.

— Второй слева в иижием ряду. Поиял.

— Не перепутайте, — вставил Захареиок.

— Уж ие такой я бестолковый. И что же дальше?

— Дальше закрыть щит и уходить. Выйти из гостиницы ие удастся. По крайией мере до взрыва. Предупредите Гертруду Иогаииовиу.

— Хорошо. А когда же взорвется?

— Включат цветиые прожектора, чтобы подсветить стекляиный шарик под потолком. И как только вырубят в зале свет...

— Поиятио, — Флич вытяиул губы трубочкой и задумался. — Еще вопрос: под каким предлогом я полезу в щит?

— Резоино, — кивнул Чурии. — А вы сделайте короткое замыкаиие в комиате, где лежит ваша аппаратура. И идите чииить пробку. Ваша пробка как раз вторая слева в верхием ряду.

— Ясио. Зиачит, я делаю замыкание и иду чииить пробку. Да! Все равио, какой куда провод присоедииять?

— Все равио. Важио, чтобы в зале горел свет.

За дверью Василь тоиеиько засвистел «чижика». Чурин быстро отошел к столу и взялся за примус. Захареиок склоиился иад тазом. Вошла иезиакомая жеищииа со свертком.

— Добрый деиь.

— Здравствуйте. Присядьте. Сей минут освобожусь, — любезио пригласил Захареиок и обериулся к Фличу. — Ваш тазик, господии артист, обновим в лучшем виде. Приходите завтра в удобное для вас время. Кланяйтесь уважаемой фрау Копф нижайше. Доброго вам здоровья.

— И вам того же, любезиейший, — в тои ответил Флич, кивнул, сверкиув гладким серебряным пробором, и вышел.

2

Павел иавалился голым животом на горячий подокоииик и смотрел вииз иа улицу. Солице припекало спину. Солдаты, суетившиеся у большого воениого грузовика, сверху казались обрубками. Оии передавали из рук в руки ящички, в которые были упаковаиы кактусы доктора Доппеля, а старый зиакомый ефрейтор Кляйифиигер, словио священиодействуя, осторожио укладывал их в кузове.

За последний месяц иесколько раз собирались и сиова разбирались чемоданы. Отъезд откладывался, к радости Павла. Ои ие представлял себе, что может уехать иа самом деле. Да еще куда? В Германию, в Берлии, в самое логово Гитлера.

Что-иибудь иепременно случится, что-нибудь помешает.

Да и мама, видимо, тоже не верила в отъезд, поэтому была спокойиа. И даже подбадривала сыновей. А после прогулки за город с обер-лейтенантом фои Леицем только загадочио улыбалась, когда заходил разговор о

предстоящем отъезде Павла. А вообще-то об этом старались не говорить, чтобы не портить друг другу настроение. Все больше вспоминали цирк, разные случаи из актерской жизни, главным образом смешные. Флич знал столько историй! Жаль, редко удавалось навещать маму и Петра. Доктор Доппель не любил, когда Павел отлучался. Мальчик должен привыкнуть к нему, к его укладу жизни еще до отъезда. И даже настойчивым просьбам Гертруды доктор не всегда уступал.

И когда вчера утром Доппель в который уже раз велел упаковывать чемоданы, Павел не заволновался: упакуем — распакуем.

Не торопясь он начал складывать свой немудреный багаж: трусы, майки, рубашки, две пары брюк.

В комнату заглянул доктор. Лицо озабоченное и веселое одновременно.

— Хорошо, Пауль.

Заметил на полу возле раскрытого новенького чемодана книжки, те, что подарил Павлику Толик, нагнулся, поднял их: одна трепаная без названия, другая аккуратно обернута в газету.

— Мои книжки, — сказал Павел.

Доктор нахмурился.

— Не надо брать их. Ничего советского. У тебя впереди новая жизнь, мой мальчик. Зачем же брать в новую жизнь старые книги?

Он сунул обе книги под мышку и вышел.

Павел огорчился, обидно стало: прятал, прятал и — на тебе! В сердцах пнул чемодан.

Потом в коридоре затопали. В комнату заглянул Отто.

— Пауль, обедать.

Павел нехотя пошел на кухню. Дверь в кабинет доктора была распахнута. На полу лежало множество ящичков с дырками, в таких отправляют посылки с фруктами. Сам доктор сидел за письменным столом, разбирал бумаги. Возле окна топтались трое солдат, что-то перекладывали. Среди них Павел узнал ефрейтора Кляйнфингера. Тот держал в руках горшок с кактусом и удивленно рассматривал веселый красный цветок на колючей зелени. Все это промелькнуло перед Павлом, как картинка в книжке, которую быстро листаешь. Он не стал останавливаться, прошел в ванную, кое-как ополоснул руки. В ванной пахло гарью, и раковина была в рыжих паленых пятнах. Верно, жгли какую-нибудь бумагу. Павел даже подумал: уж не его ли книжки?

На кухне на плите, обложенной белыми блестящими изразцами, стоял трехэтажный термос, в котором Отто приносил обеды из ресторана. Сверкающим половником Отто вылавливал из супа большие куски мяса и раскладывал в тарелки. Маленький солнечный зайчик метался по потолку и стене.

Павел молча сел за стол. Отто поставил перед ним тарелку супа.

— Постарался Шанце, хромой черт.

Павел промолчал. Он не любил клецки. Сейчас бы холодную окрошку! Жара. Рубашка прилипает к спине.

Отто вышел. В коридоре послышался его почтительный голос:

— Господин доктор, пожалуйте обедать.

Ели молча. Доппель любил тишину за столом. Пищу надо тщательно пережевывать, желудок не отвлекать разговорами. Покой во время приема пищи — залог здоровья. Заповеди свои доктор выполнял неукоснительно.

Обычно после еды он полчасика бездумно сидел в кресле в полудреме,

расслабившись. В этот раз он изменил себе, вернулся в кабинет и снова занялся бумагами.

Отто мыл посуду. Павел сидел неподвижно, смотрел на ослепительные изразцы плиты и раздумывал, чем заняться. Смотаться бы в гостиницу, поболтать с Петькой, поиграть с Киндером! Этак собака и вовсе отвыкнет от него. Хотя каждый раз, когда Павел приходит, Киндер бросается к нему, виляет хвостом, задом, подпрыгивает, норовя лизнуть лицо, и, наконец, заваливается на спину, подняв вверх все четыре лапы — высшее проявление собачьей любви, словно хочет сказать: вот он я, весь принадлежу тебе, почеши мое пузо, я счастлив!

Да как смотаешься? Надо просить разрешения у доктора, а тот непременно найдет какое-нибудь дело, заставит переводить бумаги с русского на немецкий или с немецкого на русский. «Практика тебе пойдет на пользу, мой мальчик». Голос доктора так явственно прозвучал в ушах, что Павел обернулся.

Отто протирал тарелки полотенцем.

— Ты ведь еще не был в Германии, Пауль?

— Нет.

— Берли-ин! — мечтательно протянул Отто. — Какая жизнь! Какие люди! Я, когда приехал из деревни, первый месяц был, как пчела в дыму. Ошалел. Берли-ин!..

— Слушайте, Отто, а почему вы не на фронте? — неожиданно спросил Павел.

— Грыжа. И малокровие. Форму надел, чин мне доктор выхлопотал. Ба-альшой человек! Он тебя в люди выведет. А к строю я не годен. Мое дело — учет, подсчет, входящие-исходящие. — Отто ткнул носком сапога мусорное ведро. — И откуда столько мусору набирается? Пошли-ка из солдат кого-нибудь.

Павел машинально взглянул на мусорное ведро и увидел торчащий из него угол потрепанной книжки. Подумал: «Не моя ли?»

— Да ладно, сам вынесу.

— Это хорошо, что ты черной работы не чураешься, — одобрил Отто.

Павел подхватил ведро и вышел на черную лестницу. В нос ударил резкий запах кошек. На бетонных ступеньках валялся мусор. Он остановился возле запыленного окна с расколотым пополам стеклом. С верхнего края рамы свисала старая паутина. Поставил ведро на грязный подоконник, потянул за угол книжку. «Моя». Пошевелил мусор и выловил вторую, обернутую в газету. Надо же! «Железный поток» — в мусорное ведро!

Павел отряхнул книжки и положил в угол лестничной площадки. Пусть пока здесь полежат. Лестницей давно не пользуются. Позже он улучит момент, заберет их и снова спрячет в секретере. Ни в какую Германию он не поедет. Который раз собираются!

...Солнце здорово печет спину.

Внизу солдаты укладывают на грузовик ящики и ящички с кактусами. Вынесли маленький личный сейф доктора Доппеля.

Неужели на этот раз... Но мама бы знала. Мама — компаньон Доппеля. Она б уже прибежала. Может, переезжаем на другую квартиру?

— Разрешите?

Павел обернулся.

В дверях стоял ефрейтор Кляйнфингер.

— О-о! Вот так встреча! А где дублик? — лицо ефрейтора расплылось

в улыбке. — Где копня от орнгннала? Илн наоборот — он орнгинал, а ты копия?

— Мы оба копии, — ответил Павел без улыбкн.

— Оригинально! Слушай, нет ли у тебя холодного пива? Жара, как в Индии.

— Нету.

— Может, подскажешь оберу? Чтобы в таком шикарном доме не было пнва! Что ж, вы потащитесь без пива по жаре?

— Не так уж и далеко, — осторожно возразнл Павел.

— До Берлина-то?

В корндоре послышался топот.

— Давай, орлы! — крнкнул Кляйнфннгер в дверь. — Выносите вот эту штуку с перламутром, — прнказал он вошедшим солдатам.

Солдаты раскрыли вторую половинку дверей, подхватнлн секретер н сталн вытаскнвать его в коридор.

Кляйнфингер суетливо давал указания.

Павел вышел вслед за солдатами, заглянул в дверн докторского кабинета. Комната показалась огромной без привычных кактусов, заполнявших раньше оба подоконника, теснившихся у стен. А большой письменный стол, стоящнй посереднне, словно бы уменьшился. На полу валялись обрывки бумаги. Вид опустошенного кабннета заставил Павликово сердце испуганно сжаться. Он только теперь понял, что отъезд — правда, что его н в самом деле увезут от мамы, от брата, от Кнндера в непонятную, ненавнстную Германню, в проклятый Берлин, где живет бесноватый фюрер с прилизанной челкой и будто приклеенными уснкамн.

Бежать!.. Немедленно бежать к маме. Мама что-ннбудь прндумает, с мамой не страшно. Не зря же она улыбалась, успоканвая его. Бежать!

Он выглянул в раскрытое окно. Солдаты вытаскнвалн на улицу секретер. Пусть онн увозят его чемодан, ннчего не надо. Лучше ходнть голым, чем ехать в Германню. Мама спрячет. А Доппель останется с носом, «добрый» доктор юриспруденцнн. Слово-то какое!

Павел не стал возвращаться в свою комнату, проскользнул на кухню, снял крюк, которым запнрался черный ход. Вышел на лестнннцу, бесшумно прнкрыв за собой дверь. В углу на площадке увндел свон кннгн. Хорошо, что он не успел забрать нх и сунуть в секретер, нх увезли бы в Германию... Пусть полежат. Уедет доктор, он заберет нх.

Маленький, мощенный булыжником двор был ограничен с трех сторон стенами домов, а с четвертой вплотную друг к другу стояли разномастные дровяные сараи. Выход нз подворотни перекрывали глухие деревянные ворота, обитые кровельным железом. Да Павел н не пошел бы через ворота — рядом солдаты грузнлн вещн. Он бегом пересек двор, влез на бетонный край мусорной ямы, поднял руки — попробовал достать до крыши ближайшего сарая. Только бы уцепиться, тогда он перемахнет на соседннй двор — и прощайте, доктор Доппель!

Но крыша оказалась высоко, н подпрыгнешь — не достанешь!

Он огляделся. Неподалеку лежала куча битых кнрпичей. Он тороплнво стал выбирать кирпичн поцелее н складывать их однн на другой на краю ямы. Получилась башенка — вот-вот рассыплется.

Павел вспомнил одну нз реприз Мимозы. Клоун выходил на манеж с трубой и начннал нграть. Шпрехшталмейстер прогонял его, но он возвращался. Тогда у него отннмали трубу, цеплялн ее к лонже н подннмалн.



Блестящая желанная труба висела над головой клоуна. Мимоза пытался ее достать, подпрыгивал, падал. Но достать не мог. Тогда он выносил на манеж стул, влезал на него — не достать. Он ставил стул на передние ножки, клал на его спинку доску, на доску маленький бочонок, на бочонок кирпич, второй, третий. Все рассыпалось под смех зрителей. Но Мимоза упорно снова складывал шаткое сооружение, каким-то чудом взбирался на него, теряя длинноносый башмак, схватывал трубу. И тут все под ним рушилось. Он повисал на трубе, подтягивался к ней и начинал играть.

Павлик и Петр удивлялись, как он умудряется долезть до верха, сами пробовали.

Мимоза только усмехался:

— Нужно стать невесомым. Я не тороплюсь, забираюсь себе потихоньку. Главное — не торопиться.

«Главное — не торопиться», — сказал себе Павел. Прикинул: достанет ли он с вершины кирпичной башни до крыши? Пожалуй, достанет, если подпрыгнуть.

Башня непременно рассыплется, и он шмякнется, если не успеет ухватиться за край крыши. И шмякнется, если край не выдержит его тяжести. Но другого пути нет. Не ехать же в Германию из-за того, что во дворе нет подходящей подставки!

Главное — не торопиться. Он осторожно поставил носок на один из выступающих внизу кирпичей, положил обе руки на вершину башни.

Кирпичи дрогнули, но устояли.

Он оперся вторым носком о край другого кирпича.

Не торопиться!

Шажок, второй, третий...

Ему казалось, что он подымается по воздуху, что он ничего не весит.

Вот он уже замер в нелепой позе: руки и ноги на верхнем кирпиче. Так стояла слониха Моника на днище бочки. Но бочка не рассыпалась, а кирпичи... Сколько можно так продержаться? Секунду, две, три?..

Башня качается. Еще мгновение, и она рассыплется под ним. Надо успеть за это мгновение распрямить тело, оттолкнуться ногами и уцепиться за край крыши.

Бросок, стремительный, как скачок на бегущего по манежу Дублона. Пальцы хватаются за край крыши. Что-то треснуло вверху. Неужели не выдержит?

Рухнули кирпичи. Над ними повисло розоватое облачко пыли.

Нет, он не падает, он висит.

Теперь подтянуться. Это — пустяк. Это он умеет.

Забросить ногу на край крыши. Заползти.

Железо дохнуло жаром. Ладони саднило. Едкий пот заливал глаза. Крыша предательски гремела под ногами.

Соседний двор тоже мощен булыжником. Прыгать нельзя, можно ноги переломать. Он лег на живот, сполз через край, повис на руках. Глянул вниз. Высоковато. Но не ехать же в Германию из-за того, что внизу не подстелили коврик!

Павел разжал пальцы, ощутил удар в ноги, подогнул колени и коснулся ладонями теплых камней. Все. Вроде цел. Он выпрямился, огляделся. Незнакомый двор. В противоположной стене ворота, калитка открыта. Над воротами окно. В окне маленькая девчушка смотрит на него, открыв рот. Не каждый день мальчишки прыгают с крыши!

Павел перебежал двор, выглянул в калитку. Переулок. Хорошо. Не заметят. Надо дать крюк переулками, чтобы ненароком не столкнуться с доктором или Отто.

В гостиницу Павла не пустили. Автоматчики, стоявшие у входа, посмотрели его пропуск и велели проваливать. Не задерживаться. Павел стал объяснять им, что он живет здесь, что он сын фрау Копф. Просил, чтобы позвали маму. Но видимо, автоматчикам дали строгий приказ — никого не впускать. Павел пожалел, что не позвонил маме по телефону.

Неужели она не знает, что уже грузят вещи? Что Доппель и в самом деле собрался в Берлин?

— Проходите. Здесь нельзя стоять, — деревянным голосом сказал один из автоматчиков.

Доказывать им что-нибудь бесполезно. В ворота тоже не пройти. И на углах стоят автоматчики. А то можно было бы влезть в какое-нибудь окно.

Павел перешел на противоположную сторону, прислонился к стене, словно искал у нее защиты. Все рушилось. Надо уходить. К деду Пантелею, к Злате, к Ржавому. Переждать день-другой. Но он не уходил, надеялся на чудо, на случай. Лучше мамы никто не поможет. Выйдет же кто-нибудь из гостиницы!

Из переулка выкатился черный «оппелек». Павел узнал его сразу. «Оппелек» подкатил к подъезду и остановился. Из него вышел штурмбанфюрер Гравес. Поднялся по ступенькам. Автоматчики потребовали у него пропуск. У самого штурмбанфюрера! Гравес показал пропуск. Автоматчики козырнули.

— Господин штурмбанфюрер! — крикнул Павел и побежал через улицу.

Гравес смотрел на него удивленно. Рубашка перепачкана, словно мальчишка валялся в ней на мостовой. Руки в ссадинах.

— Ты кто?

«Нельзя говорить, что я Павел. Он сразу заподозрит неладное».

— Петер.

— А что ты здесь делаешь?

— Меня не пускают домой.

— Вот как? А где же твой пропуск?

— Забыл дома.

Гравес смотрел на него насмешливо.

— Большая оплошность.

Он отлично знал, что пропуска Петеру не выписывали. И фрау Копф тоже. Только тем, кто живет вне гостиницы. И то только для входа. Стало быть, Петер из гостиницы выйти не мог. Значит, он — Пауль. Зачем же он выдает себя за Петера? Почему здесь? Доктор Доппель сегодня уезжает. Может быть, уже уехал. Видимо, мальчишка сбежал. Ай-я-яй!.. Так стремился в фатерлянд!

Гравес смотрел на Павла насмешливо. Доктор Доппель заварил эту кашу, пусть сам ее и расхлебывает. Старая лиса совал нос не в свои дела. Теперь у службы безопасности будут развязаны руки. Теперь-то он доберется и до этого еврея Флича и до самой фрау Копф. До сих пор их прикрывал своей широкой спиной доктор Доппель. Теперь они на его, Гравеса, ладонях. Голенькие. Ничего не значит, что за фрау Копф не числится никаких серьезных грехов. Нет безгрешных на этой земле!

— Пропустите, — бросил Гравес автоматчикам.

— Нужен пропуск, господин штурмбанфюрер, — сказал автоматчик с деревянным голосом.

«Отличная охрана. Мышь не проскользнет!» — удовлетворенно подумал Гравес и повернулся к Павлу.

— Подожди меня здесь.

— На той стороне улицы, — сказал автоматчик.

Гравес вошел в гостиницу. Павел побрел через дорогу, снова прислонился к стене. Сейчас выяснится, что Петер дома. Надо было сказать, что он — Павел и пришел проститься с мамой перед отъездом. Может быть, смыться? Теперь уже нельзя.

Гравес появился в гостиничных дверях с офицером. Оба посмотрели на Павла. Офицер сказал что-то автоматчикам.

— Проходи, Петер! — позвал Гравес.

В вестибюле, сумрачном и прохладном, штурмбанфюрер взял Павла за плечо и, сладко улыбаясь, сказал:

— Подымайся наверх к маме. И больше не ври, Пауль.

— Я попрощаться... — пробормотал Павел.

Гравес цепко держал плечо, не отпускал.

— Сбежал от доктора? Доктор, наверно, ищет...

Глаза штурмбанфюрера блеснули в сумраке. Павлу показалось, что Гравес доволен, даже рад, что доктор ищет. Показалось, что штурмбанфюрер готов стать сообщником, помочь спрятаться. Павел даже рот открыл, чтобы попросить убежища. Но вспомнил о коварстве шефа СД и только вздохнул.

Гравес отпустил плечо и легонько толкнул Павла к лестнице.

— Павка! Ура! — заорал Петр, когда Павел вошел в комнату, и вместе с радостно залаявшим Киндером бросился на брата. Павел повалился на пол, одной рукой обхватил шею пса, другой схватил Петра за ворот рубашки. Шумная радостная куча мала копошилась на полу. Как хорошо! Как хорошо, когда они все вместе!

Гертруда Иогановна смеялась.

— Тихо, мальчики, тихо! — и, когда они угомонились, спросила: — Тебе выдали пропуск?

— Штурмбанфюрер провел.

— Гравес?

— Да. Я наврал, что я Петр. Но он все равно догадался, что я Павел.

Гертруда Иогановна нахмурилась. Все, что исходило от Гравеса, таило опасность, заставляло настораживаться.

— Вещи грузят на машину. — Все трое еще были на полу. Киндер завалился на спину и задрал лапы кверху. — А я не хочу в Германию! Не хочу! Я сбежал от доктора.

— Киндер! — сердито крикнула Гертруда Иогановна.

Пес опустил лапы и, склонив голову набок, недоуменно посмотрел на хозяйку. Хотел понять: почему такая несправедливость?

— Грузят вещи?

— Кактусы, чемоданы, даже секретер...

— Почему грузят?

— Он уезжает в Германию. В Берлин.

— Кто это тебе сказал?

— Отто. И Кляйнфингер. А ты... ты не знала?

Она ждала, что Доппель уедет. Но не раньше сегодняшнего дня. Сегод-



ня совещание. И три заряда в ресторане все решат. Должны все решить. Грузят вещи?.. Ну и что? Он отправит вещи вперед. Или груженая машина будет стоять наготове. Все логично. Вечером он не выедет. Побоится. Ночью немцы сидят в своих норах, носа не высовывают. Партизанский час. Значит, завтра утром. А до утра надо дожить. Надо дожить. Многое переменится до утра. Должно перемениться.

— Мама, я не хочу в Германию!

— Успокойся, — Гертруда Иогановна улыбнулась. — Ты еще не уезжаешь. Ты еще с нами. Идите, мальчики, в спальню. У меня дела. Вечером банкет. Доппель, наверно, хватится тебя. Как же ты убежал?

— Через черный ход.

Гертруда Иогановна посмотрела внимательно на сына. Рубаха грязная, штаны в каких-то рыжих пятнах.

— Вид у тебя, как у трубочиста. Переоденься. И погладь брюки.

— Мои вещи тоже погрузили.

— Петр, дай ему какую-нибудь рубашку.

Мальчики ушли в соседнюю комнату, обиженный Киндер поплелся за ними, опустив хвост.

— Я с ним все равно не поеду, — сказал Павел по-русски, стягивая через голову рубашку. Когда братья были вдвоем, они говорили только по-русски.

— Что у тебя с руками?

— А... — Павел посмотрел на ладони. Они были в ссадинах, а на левой немного содрана кожа. — На крыше висел. — Он рассказал брату, как перебирался через сарай.

— Давай йодом помажу.

Петр взял из аптечки в ванной склянку с йодом, заткнутую почерневшей пробкой, поболтал, вытащил пробку и стал прикладывать ее к ссадинам.

Павел поморщился: защипало.

— Даже представить себе не могу, что вы — и мама, и ты, и Киндер — здесь, а я где-то там, в вонючем Берлине. — Берлин казался ему городом, пропахшим хлоркой и ваксой, как солдатские казармы.

— Тебе надо сховаться. Доппель может силой увезти. Он только на вид добрый такой. Не зря у него фамилия — Доппель, двойной. Слушай, — загорелся Петр. — Сховайся в землянке Великих Вождей! Мы тебе еду будем носить. Там лейтенант Каруселин прятался, — добавил он шепотом. — Т-с-с... — Петр на цыпочках подошел к двери и прислушался. За дверью было тихо. Он вернулся к брату и прошептал: — Лейтенант здесь. Позавчера я иду по коридору, а он — навстречу. С ящиком. В комбинезоне. Борода клокастая.

— А может, не он? — так же шепотом спросил Павел.

— Он. Я его сразу узнал, только виду не подал. И он виду не подал. Прошел мимо.

— Что же он здесь делает?

— Водопровод чинит. Мама водопроводчика вызывала. На кухне труба лопнула.

— И мама знает, что это Каруселин?

Петр пожал плечами.

— Может, она его и не видела.

— И ты не сказал?

— По шее схлопотать? Ты что, маму не знаешь? Если тебя в Германию увезут, она очень расстроится.

— Я все равно сбегу. По дороге. — Павел представил себе, как его силой увозят в Германию. Два здоровенных фашиста хватают, связывают руки и ноги и бросают в кузов грузовика, на ящики с кактусами. И садятся рядом с автоматами наизготовку. Ну и пусть стреляют! Пусть! Лучше умереть! Он вздохнул прерывисто, словно уже наплакался досыта.

Петр угадал, о чем он думает, и ему стало жаль брата.

— Слушай, Павлик. Давай я скажу, что я — это ты. Они ж нас не отличат. Подумают, что увозят тебя.

— Маме от этого не легче.

— Да, конечно, — согласился Петр.

И оба одновременно погладили спину притихшего Киндера.

3

Штурмбанфюрер Гравес постоянно ощущал беспокойство, вечно что-нибудь не ладилось, казалось, что люди его работают кое-как, с холодком, без фантазии, прямолинейно.

Конечно, проще всего подстрелить птицу. Куда труднее и приятнее рассчитать ее полет, расставить где надо силки.

Птице кажется, что она еще взлетит, высокое небо чисто, ан нет, уже нависла невидимая, искусно сплетенная сеть. И вот уже в клетке птичка. Ее можно рассмотреть вблизи, пощупать руками и, если надо, свернуть хрупкую шейку.

Тревога, которую штурмбанфюрер ощущал нынче, другого свойства, она не от неприятностей, она, скорее, предчувствие неприятностей.

Совещание в Гронске — большие хлопоты. Он сам настоял на том, чтобы штаб и гостиницу охраняли не его люди, а команда, которую специально прислал гебитскомиссар.

Усиленным патрулям дан приказ: всех подозрительных задерживать и без шума отправлять в тюрьму. Правда, там стало тесновато, но что поделаешь? Кончится совещание, разъедутся высокие гости, разберемся. Зря держать не будем. Кого взяли случайно — выпустим. Пусть город знает, что штурмбанфюрер Гравес справедлив и гуманен.

А какой великолепный ход с пропусками! Если что и задумали злоумышленники — дорога им отсечена. А к концу совещания перекроют улицы, ведущие к гостинице. Ведь могут найтись и любители бросать гранаты в раскрытые окна.

Его непосредственное начальство бригадефюрер Дитц был удовлетворен докладом о принятых мерах. И даже намекнул, что после совещания к чину прибавится долгожданное «обер». Обер-штурмбанфюрер Гравес. Звучит!

Откуда ж это беспокойство, эта тревога? Вроде ничего не упустил, все предусмотрел.

Штурмбанфюрер прошелся по ресторанному залу. Столы накрывали солдаты в белых больничных халатах. Официантов освободили на сегодняшний вечер. Обойдутся и без них. Тоже неплохая профилактическая мера. Конечно, у солдат не такие проворные руки, не знают толком, где класть вилки, где ножи, какое блюдо куда ставить. Ну, да не велика беда,

Гертруда поправит своими золотыми ручками. И Шанце дело знает, обслуживал генеральских гостей.

Ах, фрау Гертруда Копф! Ничего предосудительного в ее поведении не зафиксировано. Разве что покрывает еврея Флича да меняет в кассе оккупационные марки на рейхсмарки. А кто не тянет в свою сторону?

Когда он намекнул об этом доктору Доппелю, тот засмеялся.

— Это прекрасно, Гравес! А я что говорил? В Гертруде кипит немецкая кровь, она мечтает уехать в фатерлянд. Но мы, немцы, не абстрактные мечтатели. Мы — как наш фюрер, он, мечтая, действует. И Гертруда, как истинная немка, действует. Готовится к отъезду. В конце концов закроем глаза, она меняет свои. Меня не обманула ни разу. Все расчеты сходятся пфенниг в пфенниг. Отто — мастер считать.

Что ж, довод убедительный. Может, Доппель и прав.

Но почему каждый раз он, Гравес, настораживается, когда сталкивается с Гертрудой? Почему? Профессиональный психоз? Эдакая гипертрофированная подозрительность? А может, он просто злится, ревнует? Смешно, черт возьми, — ревнующий штурмбанфюрер Гравес!

Она приятная женщина, воспитанна, умна, тактична. Знает свое место. Многим нравится. Ему стало больно, когда этот лощеный пруссак фон Ленц пригласил ее на загородную прогулку. Тогда, со злости, он сам настоял на ее согласии. А она — умница! — натянула фон Ленцу нос: взяла на прогулку своих сынков.

А в душе у нее траур. Его Гравеса, не проведешь! До сих пор она оплакивает мужа. А муж — офицер Красной Армии, Герой Советского Союза. Вот что настораживает. С одной стороны, она — немка, старается служить фатерлянду, с другой — скорбит о «погибшем» враге. Где же Гертруда истинна? В службе или в скорби? Тряхнуть бы разок ее темную душу, докопаться...

Штурмбанфюрер спустился вниз, на кухню.

Шанце — белый передник поверх белого халата, белый накрахмаленный колпак, который делал его длинную сутулую фигуру еще длиннее и сутулее, — что-то нарезал на выскобленном деревянном столе.

Две русских поварихи, тоже в белых халатах, передниках и колпаках, хлопотали у плиты.

Пахло жареным мясом, подгорелым луком, перцем... Гравесу захотелось чихнуть.

— Шанце!

Повар обернулся, увидел штурмбанфюрера, щелкнул каблуками.

— Я, господин штурмбанфюрер!

— Все в порядке?

— Минуточку, — Шанце, прихрамывая, прошел в свою каморку, вынес халат, оставив дверь открытой.

— Разрешите... — Он накинул халат на плечи Гравеса. — Инструкция. Святая святых.

«Хромой дьявол», — с удовольствием подумал Гравес. Он сам любил порядок, незыблемость его. На том рейх держится! И даже счел нужным извиниться за бесцеремонное вторжение на кухню.

— Извините, Шанце, служба. Все в порядке?

— А что у меня может быть не в порядке, господин штурмбанфюрер?— ворчливо ответил Шанце. — Мясо свежее, поросята еще тепленькие. Доставили немного зернистой икры. Но для вас найдется паюсная.

— Спасибо, Шаице. Я не о том. Постороиинх иа кухие не было?

— Есть, — озабочеиио произиес повар.

— Вот как? — иасторожился Гравес.

— Жизиь осложияют этн бездельники. Котла вымыть толком ие могут! Представляю, сколько посуды перебьют! Вот, полюбуйтесь!

Ои подвел Гравеса к дверн в посудомойиую. В тесиоте сндели два солдата, окутаииые паром, клубящимся иад лохаиью. Увидев штурмбаифюрера, оин вскочили, прижали ладони к бедрам и отставили в стороиы локтн. При этом одии сшиб тарелку со столнка. Оиа разбилась звоико о цемеитный пол.

— Я же говорю, — сокрушеиио клюиул иосом Шаице.

Солдаты в мокрых клееичатых фартуках, из-под которых торчали тяжелые сапоги, выглядели комичио, Гравес с трудом сдержал смех.

— Нельзя ли вериуть девчоику-посудомойку? — сказал Шаице.

— Потерпите, господни фельдфебель. — Гравес иазвал повара почтительио его воеииым чином, чтобы солдаты зиали, с кем имеют дело. — Завтра вериется посудомойка, а сегодия — потерпите. Вольио. Работайте.

— Разве что сегодия, — пробурчал Шаице.

По пути к выходу Гравес загляиул в каморку. Койка застелеиа по-солдатски, уголок подушки смотрит в потолок. На столе — свежая клееика. Чистота. Порядок.

Шаице сделал приглашающнй жест.

— Кусочек мяса с пылу с жару? Выпить иечего. Очеиь фрау Копф строга, — с сожалеинем добавил повар. Сейчас у иего лицо человека, сжевавшего кнслый лимои.

Гравес улыбиулся.

— Спасибо, Шаице. Дела. Потерпите до завтра. А завтра, я надеюсь, н вы стаиете «обером». Обер-фельдфебель Шаице. Звучит!

— Хорошо бы, господии штурмбаифюрер, — улыбиулся Шаице.

«Ну и улыбка! Что твоя обезьяиа! А фрау Копф и повара держит в чериом теле!» — подумал Гравес, подымаясь по лестинце.

Настроеиие его улучшилось. Ои загляиул в буфет. Так, для порядка. Буфетчик перетирал высокие пивиые стакаиы. Буфетчика Гравес давио обработал, ои был его человеком. Имеиио он сообщил о фииаисовых операциях Гертруды. Интересио, что бы оиа с иим сделала, если бы узиала, что ои ее продал?

— Ну, как есть дела? — спросил Гравес буфетчика по-русскн.

— Зер гут, герр штурмбаифюрер, — буфетчик похлопал пухлой ладоиью по ящнкам с бутылками, стоящнмн одии иа другом. — Коиьяк. Водка. Шампаиское. Пнво. Много. Хватит. Рюмочку? — ои протянул руку иазад и безошибочио взял с бара иужиую бутылку.

— Можио.

Буфетчик проворио иалил в рюмку коиьяк, подвииул ее к штурмбаифюреру.

Гравес взял рюмку обеими ладоиями, задумчиво подержал ее, согревая содержимое, потом быстро опрокииул его в рот. Положил иа стойку деиьги.

— Спасибо.

— Вам спаснбо, господии штурмбаифюрер.

Гравес прошел пустым коридором в вестибюль. И здесь было тихо. Гостииица словио вымерла. Прибывшие офицеры — на совещаиии.

Старых постояльцев рассовали на время по казармам и в вагончики, которые все еще стояли у потрепанного, выгоревшего купола цирка «Шапито». Удобств, конечно, никаких. Кое-кто поворчал. Но приказ есть приказ.

А хитрая лиса доктор Доппель отозван в Берлин самим Розенбергом. Вычистил всю округу. И себя не обидел. Теперь, наверно, пошлют на юг, очищать новые закрома. На юге — победоносное наступление. Везет этим полуштатским администраторам! А ты тут убирай дерьмо! Нет, он не завидует. Он любит свое дело, власть над людьми. Любит плести тонкие сети. Начальство с ним считается. И он посылает с оказией домой не такие уж скудные посылки. И все же обидно! Первыми за армией в завоеванное пространство врываются доктора Доппели, снимают пенки. А потом уж — порядок и его стражи. А правильнее было бы наоборот.

Сверху послышались легкие уверенные шаги. Гравес обернулся. По лестнице спускалась фрау Копф. Он молча наблюдал за ней.

Лицо спокойное, но бледнее обычного. Впрочем, в вестибюле горит только дежурная лампочка. Все кажется тусклым и бледным, даже сверкающие по вечерам стеклянные висюльки люстр. Серое скромное платье, черные туфли на босу ногу. Она любит серое и черное, понимает, что эти цвета молодят ее... Едва подкрашены губы. Да-а, хороша!

— Здравствуйте, Гертруда!

— Здравствуйте, штурмбанфюрер, — она легко и, как показалось Гравесу, сердечно протянула руку. Он с удовольствием взял ее, склонился, тронул губами и чуть задержал в своей.

— Трудный день?

— И нелегкий вечер.

— А тут еще Пауль...

Ресницы едва приметно дрогнули.

— Не говорите... Беда с мальчишками. Чем старше... — Гертруда Иоганновна беспомощно развела руками.

Гравес смотрел на нее не мигая выпуклыми добрыми глазами и чуть прикусывал верхнюю губу, отчего тонкие усики его изгибались, словно живые гусеницы. О, он понимал фрау Гертруду и сочувствовал ей!

— Вам теперь придется все решать самостоятельно. Большой труд. Большая ответственность. Компаньон, надо полагать, выразил вам свои прощальные пожелания?

— Доктор Доппель? — уточнила Гертруда Иоганновна ровным голосом.

Гравес уловил в ее глазах растерянность.

— Разумеется. Ведь он уезжает сегодня.

Ого, уже не растерянность, а испуг. Не может скрыть. Гравес улыбнулся недоверчиво:

— Неужели он не поставил вас в известность, что срочно вызван в Берлин? Разве не за вами он послал Пауля?

Сегодня... Сегодня... Гертруда Иоганновна почувствовала, как начинают дрожать губы, слабеть ноги и в груди разверзается пустота, от которой мутит и не хватает воздуха.

Гравес все знает. Гравес притворяется. Он накинул ей на шею петлю и медленно с удовольствием затягивает. Нельзя поддаваться слабости.

Она втянула в себя воздух и резко, с хрипом, выдохнула, словно и верно шея была стянута петлей.

— Каждый раз, когда мне... напоминают об... об отъезде Пауля, я теряю равновесие... Я — мать, Гравес... Мать!.. Дети не разлучались с самого рождения... Умом я понимаю, отъезд мальчику на пользу, а сердцем... Нет, Гравес, нет, сердце не может смириться с разлукой... Фюрер бы понял меня.

Она закрыла глаза, чтобы не видеть ненавистные живые усики-гусеницы, и ждала, что ответит Гравес.

А он молчал. Все прозвучало искренне. Даже фраза о фюрере.

Она получила передышку, но не захотела ею воспользоваться.

— Очевидно и доктор Доппель понимает меня, поэтому и отложил прощанье на последние минуты. — Гертруда Иогановна посмотрела прямо в выпуклые глаза Гравеса. — А Пауль сбежал от него. По черному ходу. Перелез через крышу какого-то сарая, ободрал руки. — Вот так: говорить правду, ничего не скрывая. Правда обезоруживает. — И его можно понять. Он еще ребенок. Ему и хочется в Берлин, и страшно... Он там будет совершенно один!.. — теперь можно не сдерживать слез. Она всхлипнула горько, достала из рукава платья носовой платок.

Лицо Гравеса сделалось печальным, концы усиков скорбно опустились и замерли.

— Я все понимаю, Гертруда. Вы — сильная женщина, но все-таки женщина, — сказал он проникновенно. — Доктор Доппель многое может сделать для Пауля. И сделает, поверьте. У него такие связи в Берлине! И ведь не на чужбину же вы отправляете сына. В фатерланд. Немец едет в Германию. Не вечно же ему держаться за мамину юбку.

Гертруда Иогановна кивнула и сказала, всхлипывая:

— Ах, Гравес, все это так некстати... именно сегодня... когда я... должна быть особенно в форме. Такие гости!.. Упросите Доппеля отложить отъезд хотя бы до завтра. Завтра я смогу поплакать вволю...

— Не думаю, чтобы он отложил отъезд. Его ждут в Берлине, — с деланным сожалением произнес Гравес и спросил деловито: — Вы направлялись в ресторан?

Она кивнула.

— Я оттуда. Пока все в порядке. Идите к себе. На вас лица нет. Побудьте с сыном. Доктор, очевидно, появится с минуты на минуту.

Гертруда Иогановна повернулась и пошла вверх по лестнице.

Из комнаты швейцара выглянул офицер, начальник караула, посмотрел ей вслед.

— Красивая женщина.

— И очень умная, — хмуро добавил Гравес.

4

Крохотная надежда жила в сердце: а вдруг Доппель действительно так торопится, что уедет без Пауля?.. Удивительная штука человеческое сердце: уже совсем тупик — кругом высокие стены, выхода нет, а сердце все надеется. На брешь, на трещину, на внезапное землетрясение, — вдруг она рухнет, эта стена...

Спрятать Пауля! Чтобы не нашел. И тогда уедет один.

Где? Как? Штурмбанфюрер Гравес сам привел мальчика в гостиницу. Гравес насторожился, чует опасность. Нюх у него собачий. Не зря же

никому не выдал пропуска на выход. Захлопнул всех в гостниице, как мышей в мышеловке. Знал бы, что поздно!..

Ах, еслн бы Павел прнбежал не к ней, не сюда, а к Фличу или к тому старику, у которого оии жили в прошлом году нлн еще к кому!..

«Еслн бы»... «если бы»... Этих «если бы» не перечесть. Еслн бы ие было этой страшной войны, как бы оии жнлн сейчас! С Иваном, с мальчикамн...

Гертруда Иогаииовна потерла вискн кончнкамн пальцев. Начниалась головная боль, сказывалось напряжение послединх иедель. Все эти длнные жаркне днн ее не покидало ощущеине, что она идет по тоикой шаткой жердочке над бездной. Достаточно неверного движеиия, не то что шага, и неминуемо сорвешься. И не одна. Мальчиков за собой потащишь, Флнча, Федоровича, Шаице н еще многнх, многнх, которых оиа и в лицо-то ннкогда не вндела, но с которыми связаиа цепямн страданнй, кровн и болн. Общая радость так не связывает, как общая беда.

С мнныты на мннуту может появиться Доппель. Не надо себя обманывать. Что ж она сидит здесь одна?..

Гертруда Иоганновна прнслушалась. Даже обычиой возин не слышио, прнтихли мальчншки... Надо поговорнть с Паулем. На всякнй случай. Она была уверена, что Доппель будет вечером в ресторане. И заряд заложеи поближе к его постоянному столнку. Поэтому не тревожнлась всерьез. Как-то не вернлось, что Пауля и в самом деле могут увезти...

Оттянуть бы отъезд до вечера!

И Шаице не идет утверждать меню. Значит, «водопроводчик» еще не появился.

Гертруда Иоганновна поднялась с ннзенькой кушеткн, прноткрыла дверь в спальню.

Мальчикн снделн на коврике возле кроватн н тнхо о чем-то разговарнвалн. Рядом растянулся Кнндер, ои подиял голову н хлопнул несколько раз по полу хвостом.

— Пауль, мне надо с тобой поговорить.

— С одинм?

— Да. Петер, прогуляй Кнндера во дворе.

— Он уже гулял.

— Пусть еще погуляет.

Братья переглянулнсь. Это что-то новое, обычио попадало сразу обонм.

Петр поднялся с коврнка.

— Идем, Кнндер, гулять.

Пес вскочнл н завертел хвостом: что может быть прнятней внеочередной прогулки!

Павел тоже стал подыматься.

— Снди, — махнула рукой Гертруда Иогаииовиа.

Когда Петр с Киидером ушли, она опустнлась рядом с Павлом иа коврнк, посмотрела иа сына вннмательно, словио хотела разглядеть вблизи и запомннть.

Павла насторожнл ее взгляд, он уловнл в нем н ласку, н печаль, и боль. Сердце сжалось.

— Плохо дело, Павка, — тихо сказала Гертруда Иогаииовиа порусскн. — Минута через мннуту прндет Доппель.

— Я спрячусь.

Она медленно покачала головой.

— Онн будут находить тебя. И будет только хуже.

— Я не здесь спрячусь. В городе.

— Сегодня отсюда нет выхода. Даже для меня. Гравес засадил нас в мышеловку. — Она протянула руку, ласково откинула волосы Павла со лба. — Очень может стать, что тебе будет ехать в Берлин.

Он прижался щекой к теплой маленькой руке.

— Я не хочу, мама!

— И я не хочу. Война. Она разбрасывает людей. — Гертруда Иогановна тяжко вздохнула и перешла на немецкий. То, что она хотела сказать сыну, казалось ей очень важным и русского могло не хватить: — Тебе пятнадцать лет, Пауль. Ты почти мужчина... Берлин — это не только Гитлер, наци. Мой папа, твой дед, тоже берлинец. И я родилась в Берлине. Сейчас там все в угаре от побед. Если смотреть на солнце, как бы слепнешь. Отведешь глаза и — ничего кругом, сплошное пятно. Потом слепота проходит. Нужно, чтобы немцы терпели поражения. Как под Москвой. Чтобы солнце победы погасло. И тогда к ним вернется зрение и они увидят, что натворили. Только ты не думай, что я хочу оправдать их. Если тебе придется уехать с Доппелем... — голос ее прервался, не хватило дыхания. Она замолчала. Справилась со спазмом в горле: — Тебе будут вбивать в голову, что ты приехал на Родину. О-о, они умеют выбивать твои мысли и вбивать свои! Соглашайся с ними. Но где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, никогда не забывай, что Родина твоя — здесь, эта земля — твоя Родина. Они будут внушать тебе, что ты — немец. Соглашайся. Но помни, что ты — русский. Весь их великий рейх держится на обмане. На большом, когда обманывают целые народы и весь мир, и на маленьком, когда обманывают людей и обманывают самих себя. Так обмани их, Пауль. Понимаешь, мальчик? Всю жизнь я учила вас быть правдивыми. А теперь говорю — обмани. Как я их обманываю, сынок. Они уверены, что я — Гертруда Копф, а я — Гертруда Лужина.

— Я знаю, мама, — шепнул Павел.

— Если тебе придется вмешиваться в какие-нибудь события, подумай сначала, кому от этого будет хорошо, а кому плохо. И поступай по своей совести. Мы все сейчас на войне. Посторонних нет. И еще... Этого никто не должен знать, Пауль. И я не должна тебе этого говорить, но... Тебе будет легче там, на чужбине, если ты будешь знать правду. Наш папа — жив.

— Жив? — Павел поднялся на колени и посмотрел на мать долгим удивленным взглядом. — Кто тебе сказал?

— Не важно. Важно, что он жив.

— А... а как же газета?

— Фальшивка. Я же говорила, что весь рейх держится на обмане.

— Значит, он не Герой?

— Герой. Настоящий Герой. Они прибавили только одно слово: «посмертно». Они хотели убить его в нас.

— А Петя знает?

— Узнает в свое время. И они не знают, что мы с тобой знаем правду.

Павел ничем не проявил радости, и Гертруда Иогановна опечалилась. Но она понимала, что отец для него был далеко, дрался с фашистами, погиб под Москвой, мальчики пережили его гибель и смирились с ней, привыкли считать отца погибшим. В их возрасте быстро стираются и горе и радости. И хоть они и повзрослели за этот страшный горький год, узнали и увидели такое, чего другим не выпадет и за всю жизнь, все-таки они — дети. Она верила: пройдет время, Павел поймет сердцем, что Иван жив.

И там, в Германии, среди коричневых и черных волков, ему легче будет выжить, потому что он будет знать, что отец с боями идет к нему, его отец, Герой Советского Союза Иван Лужин. Нельзя, чтобы мальчик на чужбине ощущал себя сиротой.

Гертруда Иоганновна взяла голову сына обеими руками, и долго молча смотрели они друг другу в глаза, стоя на коленях друг против друга. Со стороны могло показаться, что маленькая светловолосая женщина и долговязый белобрысый подросток совершают какой-то странный молитвенный обряд.

Так и показалось появившимся в дверях доктору Доппелю и штурмбанфюреру Гравесу.

5

Машина сразу от шлагбаума набрала скорость. Переднее стекло было поднято, боковые опущены. В салон с однотонным свистом врывался наружный воздух, но прохлады не приносил.

Справа мелькали деревянные телеграфные столбы. Провода между белыми, как цветы ландыша, изоляторами сильно провисали: то никли к земле, то взмывали в густое голубое небо, тянулись, тянулись, и от мотания проводов вверх-вниз начинало рябить в глазах.

Впереди, между голов шофера и сидевшего с ним рядом Отто, текла навстречу серая широкая лента шоссе. У горизонта она мокро блестела и переливалась, словно там прошел дождь.

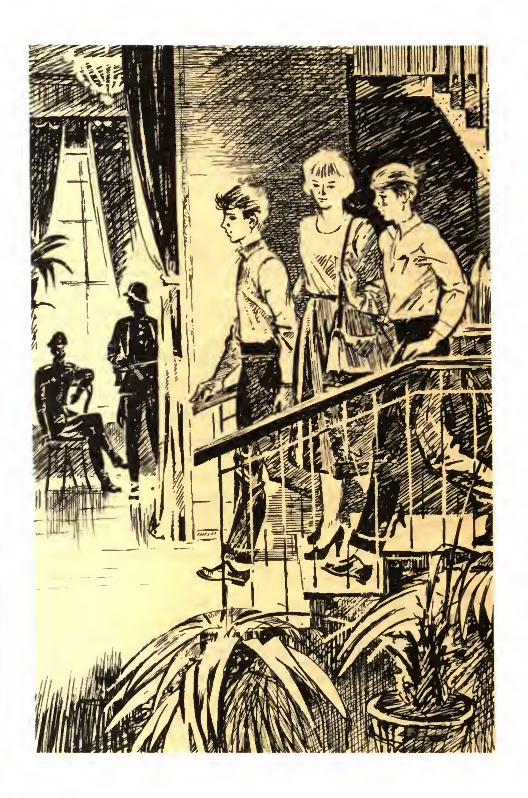
Машину иногда встряхивало на неприметных ухабах. Павла подбрасывало чуть не до крыши, какое-то мгновение он чувствовал себя беспомощно висящим в воздухе, и от этого в желудке становилось пусто. Но тотчас тело вжимало обратно в мягкое кожаное сиденье. Пахло кожей, незнакомыми духами, дорогим табаком. Горячий ветер никак не мог выдуть этот чужой запах.

Рядом, закрыв глаза, покачивался на сиденье доктор Доппель, в светло-сером костюме с чуть приподнятыми плечами, в белой рубашке с жестким воротником, стянутым полосатым галстуком. Несмотря на жару, он не позволил себе расстегнуть даже пуговку у ворота. За все время, что они мчатся по бесконечному шоссе, не произнес ни слова. Только когда машину встряхивало, доктор открывал глаза, смотрел мгновение безучастным взглядом прямо перед собой и снова закрывал их. На Павла не взглянул ни разу, будто место рядом было пусто.

Пронзительно и однотонно свистел ветер, свист вызывал в памяти вой Киндера.

...Все вышли из номера в коридор, пса закрыли. Он часто оставался дома в одиночестве, растягивался в прихожей у двери и, положив голову на лапы, терпеливо ждал возвращения хозяев. Хозяева вернутся, никуда не денутся! И не было случая, чтобы он подал голос, залаял.

А в этот раз Киндер, видимо, учуял что-то необычное, неладное или понял, что Павел покидает его навсегда. Кто угадает собачьи чувства и мысли? Он вдруг завыл протяжно, тоскливо, на одной высокой ноте. Вой вонзался в уши, заполнял мозг, леденил сердце. Павел остановился, рванулся назад. Он бы помчался обратно к плачущей собаке, но мамина рука крепко сдавила плечо. Мамина маленькая рука может быть такой тяжелой!



Вой оборвался, а Павлу казалось, что он все еще звучит, мечется в длинном гулком коридоре от стены к стене. А когда ступили на лестницу, Киндер снова завыл.

И только в этот миг Павел по-настоящему понял, что сейчас он уедет, на самом деле уедет от мамы, от Петра, от Киндера... Они останутся здесь, будут жить без него, а он — без них один, совершенно один в далекой чужой Германии, которую и представить себе не мог, даже рассматривая ее на цветных открытках у доктора Доппеля.

Лестница и вестибюль внизу начали терять очертания, становились зыбкими. Сквозь набежавшие на глаза слезы он увидел, как шедший впереди штурмбанфюрер Гравес, не останавливаясь, обернулся и сказал Доппелю:

— Собака воет не к добру.

В голосе прозвучало плохо скрытое злорадство.

— К покойнику, а мы — уезжаем, — отпарировал Доппель.

Павел шмыгнул носом и поморгал ресницами. Предметы и люди обрели четкость. Нет, он не заплачет. Хотя бы ради мамы, чтобы не терзать ее сердце. И не доставлять удовольствия штурмбанфюреру. Мама хочет, чтобы они думали, что он настоящий немец!.. Он взглянул на осторожно ступающую рядом мать. Какая у нее прямая спина, независимо и гордо поднята голова, а бледное лицо спокойно, словно высечено из мрамора.

Внизу, на середине вестибюля, расставив ноги в блестящих сапогах, стоял офицер, начальник караула, и с удивлением вслушивался в вой Киндера.

Спустились вниз. Остановились у входной двери.

— Все будет хорошо, Гертруда, — сказал Доппель. — Ждем писем.

— И я буду ждать, — ровным голосом произнесла мама.

А Петр спросил:

— А мне можно будет приехать к Паулю в Берлин? Я тоже никогда не бывал в Берлине.

Ай да Петька!

Доппель улыбнулся:

— Полагаю, можно. И очень скоро. Война подходит к концу, — сказал он назидательно, — Москва, отрезанная от угля, железа и хлеба, умрет естественной смертью. Поцелуй маму, Пауль. Из-за тебя мы опоздали почти на два часа.

Павел обнял мать, и она вдруг показалась ему маленькой, хрупкой и беззащитной. Он шепнул ей по-русски:

— Я тебя очень люблю, мама.

А Петру сказал:

— Ты теперь у мамы за двоих.

И Петр понял его.

И когда Павел вместе с Доппелем вышел из гостиницы — остальных не выпустили автоматчики, — и когда садился в машину, и заурчал мотор, и машина тронулась, время как бы остановилось, сжалось в одно горькое мгновение. А в ушах непрерывно звучал вой Киндера. И потом, когда выехали за шлагбаум на мосту и помчались по шоссе, Павел слышал тоскливый голос своего мохнатого друга. Вой словно завяз в ушах.

...Доппель открыл глаза, взглянул на серую реку шоссе, стремительно текущую под машину. Впереди показалась деревня. Справа и слева от дороги стояли на пепелище кирпичные печи с длинными вытянутыми

к небу шеямн труб. Будто села иа землю стая больших нелепых птнц. И нн жнвой души вокруг.

Запахло гарью.

Доппель поежнлся, прнказал шоферу:

— Поднажмнте, Фишман. Надо засветло доехать до города.

«Бонтся партнзаи», — подумал Павел.

Зеленымн, стремнтельно мелькающнмн стенами побежал мнмо лес. Павел пытался отделнть деревья одно от другого, ио ничего ие получалось. Глаза усталн. Ои закрыл нх н представнл себе, как нз лесу выскакнвают на шоссе партнзаиы. Здесь был н Алексей Павловнч, н тетя Шура, уводившая их в прошлом году от деда Пантелея, н Семен с пистолетом на поясе, н еще много-много людей, мужчнн н женщни, перепоясанных пулеметными леитамн крест-накрест поверх ватнннков н тужурок. В фуражках н папахах. А впередн — огромный «дядя Вася», о котором столько говорнлн фашисты. В руках у него граната. Лимонка, велнчнной с футбольный мяч. Он бросает гранату. Шоссе перед машнной встает на дыбы черным дымным столбом. Машнна спотыкается об этот столб, переворачивается, летит в кювет.

И вот уже связаны крепкой веревкой н доктор Доппель, и Отто, н шофер Фншман.

«Дядя Вася» подходнт к нему, к Павлнку, н говорит громовым голосом:

— Идн в Гронск, Павка. Там тебя ждет мама. И вот тебе автомат на всякнй случай.

И дает ему новеиький, холодный, тяжелый автомат.

От сладкого вндения Павел улыбается, сам того не замечая.

Доктор Доппель покоснлся на него. Он уже не так снльно серднтся за побег. Мальчншка! Да н Фншман жмет, в город онн приедут еще засветло.

Сбежал, паршнвец! Ну ннчего, он нз него сделает настоящего мужчнну, опору рейха. И Гертруда... Теперь, когда Павел с ннм, она связана по рукам н ногам. Кончится война, он с ее помощью прнберет к рукам весь город: рестораны, пивные, лавкн. Деньгн потекут рекой! Гертруда — истиный клад, деловая женщнна. И нашел ее он, Доппель.

— Побыстрее, Фншман!

Павел открыл глаза. Поперек шоссе леглн сннне тенн. Солнце саднлось за зеленую стену.

Партнзаи не было. А жаль...

6

Флнч пришел в гостннцу как обычно около шестн. Улнцы перекрыли эсэсовцы, солдаты н полнцейскне. Несколько раз его останавлнвалн, проверялн пропуск.

Вдоль здання гостнннцы прохажнвалнсь автоматчнкн. Ресторанные окна былн раскрыты, тяжелые плюшевые шторы не пускали в зал солнце. Улица пустынна. Из соседннх домов н домов напротнв иикого не выпускалн.

В вестнбюле возле швейцарской сндел неподвижно штурмбанфюрер Гравес, встречал н провожал каждого проходящего тяжелым взглядом немигающих выпуклых глаз. Взгляд н поза делалн его похожим на филина.

Флнч прнподнял шляпу н поклоиился. Гравес едва прнметно кивнул.

Сначала Флич намеревался пройти наверх к Гертруде, но почему-то передумал, взял в швейцарской ключ от артистической и направился прямо туда. Артистическая помещалась напротив запасного хода в ресторан, в самом конце коридора, возле туалетов.

На стульях и столе лежали в беспорядке брошенные после вечернего представления цветные шелковые ленты, платки, бумажные цветы. Большое алое полотнище с белым кругом в центре и черной свастикой на нем свисало с подоконника. Под ним в клетке клевал пшено маленький пестрый петушок. Длинные перья хвоста отливали синевой. Петушок покосился круглым глазом на вошедшего и снова деловито застучал клювом.

Флич присел на стул, сдвинув в сторону ленты. Никакого особого волнения он не ощущал, хотя вечер предстоял необычный. Он достал из кармана медный пятак, уверенно повел его между пальцами с лицевой стороны ладони на тыльную и обратно. Пятак двигался ровно, подчиняясь неприметным движениям тренированных мышц.

Флич вызвал в памяти ресторанный зал, столики, накрытые подкрахмаленными белыми скатертями, тяжелые люстры, металлический шар, подвешенный к высокому потолку и оклеенный мелкими зеркальными пластинками. В углах зала — четыре прожектора с цветными стеклами. Шар висел когда-то под куполом цирка. И прожектора — цирковые. Они посылали круглый яркий луч и назывались «пушки».

Сначала в ресторане появились прожектора. Он помнит, как во время танцев впервые погас в зале свет и четыре цветных луча заметались по потолку и стенам.

Комендант города полковник фон Альтенграбов крикнул истеричным тонким голосом:

— Прекратить!

Произошло замешательство. Включили свет. Полковник был бледен, нижняя его челюсть непроизвольно отвисала, он водворял ее на место и при этом издавал глухой клацающий звук зубами.

— Прекратить! — повторил комендант. — Это ни к чему, напоминает ночную бомбежку.

Вот тогда Гертруда вспомнила о подвешенном к куполу «Шапито» зеркальном шаре. Его крутил маленький электрический мотор, шар вращался, по стенам и потолку шатра скользили цветные звезды, казалось, что цирк плывет в небе.

Гертруда решила заполучить этот шар, если он, конечно, цел и немцы не упражнялись в стрельбе по нему. Шар оказался на месте.

С помощью штурмбанфюрера Гравеса она раздобыла пожарную машину с лестницей. Машина въехала прямо через форганг на манеж. Лестницу выдвинули, но никто не решился лезть по ней на самую верхотуру. Ни к чему не приставленная, лестница оказалась очень шаткой.

Тогда Гертруда надела Петькины штаны и полезла сама.

Лестница раскачивалась как на пружине. Чем выше лезла Гертруда — тем больше.

На манеже воцарилась тишина. Замерли солдаты, замерли пожарные.

Уж как она там, на высоте, умудрилась прицепить довольно тяжелый шар к лонже и снять его с крюка, никто так и не понял.

Она махнула рукой, двое пожарных бережно спустили зеркальный шар на манеж. И только после этого Гертруда двинулась вниз — маленькая, светловолосая, ладная фигурка в легкой блузке и мальчишечьих штанах.



Пожарные и солдаты встретили ее аплодисментами. Она улыбнулась и сделала комплимент публике, стоя на борту машины.

Шар подвесили к потолку между тяжелых люстр. Когда вечером заскользили по стенам, по скатертям, по лицам, по потолку веселые цветные звезды, полковник фон Альтенграбов первым соизволил хлопнуть в ладоши. Звезды плыли медленно, а не метались, как лучи прожекторов в черном ночном небе, сотрясаемом гулом самолетов и пронзительным воем падающих бомб.

Флич положил монету в карман и принялся сматывать легкие шелковые ленты. Что бы ни произошло вечером, все должно идти так, как всегда. Надо зарядить аппаратуру, подготовиться к выступлению.

В дверях артистической появился штурмбанфюрер. Он проследил за пальцами Флича, ловко сматывающими ленту, внимательно осмотрел комнату. Подошел к клетке с петушком, присел на корточки и сунул палец между прутьев. Петух недовольно заворчал и вытянул шею.

— Цыпльонок в табаке, — отчетливо произнес Гравес и усмехнулся.

Флич сделал вид, что только сейчас заметил штурмбанфюрера, и встал.

— Вы что-то сказали, господин штурмбанфюрер?

— Нишего. Арбайтен зие. Работайте. Сегодня публикум быть доволен.

— Так точно, господин штурмбанфюрер, — совсем по-военному ответил Флич.

Гравес вышел, не притворив дверь.

«Ходит, вынюхивает», — неприязненно подумал Флич, сел на стул и занялся своим делом.

Вскоре появился дьякон Федорович, красnолицый от жары, злой, с потной всклокоченной бородой. Не здороваясь, он неприкаянно послонялся по комнате, остановился возле клетки с петушком. Спросил густым басом:

— Клюешь?.. А человеку в буфет не войти. Понатыкали кругом эсэса, в буфет не пускают. Виданное ли дело? Православную душу от буфета отлучить. — Каждый раз он со смаком выделял слово «буфет».

— Начальство большое приехало, — кротко пояснил Флич, особым способом складывая множество маленьких платочков.

— А чихать!.. Флич, сотвори фокус, вынь откуда ни есть стаканчик.

— Откуда? — засмеялся Флич.

— А хоть откуда... Ну, жара... Организм горит, а загасить нечем. Нечто до Шанца дойти, так и там, верно, эсэсы, дьяволово отродье.

— Ты думаешь? — спросил Флич, делая вид, что его это мало интересует, а спрашивает он исключительно для того, чтобы поддержать разговор.

Федорович не успел ответить, вошла Гертруда Иоганновна. Лицо измученное, осунувшееся. Оба уставились на нее, не скрывая тревоги.

— Что случилось, Гертруда? — спросил Флич.

— Нишего. Для ровного счета, нишего. Доппель увез Пауля.

— Как это увез? — брови Флича вздернулись.

— В Германию.

— Сукин сын! — пробасил Федорович.

— Голубшик, — повернулась к нему Гертруда Иоганновна, — не пейте сегодня. Я вас прошу.

— Да что вы, Гертруда Иоганновна, да у меня и наперстка не было.

— Вот и хорошо. Не сердитесь, голубшик, я хочу поговорить с Флиш.

Федорович насупился.

— Понимаю, фрау, ухожу.

Он с независимым видом зашагал к двери, вышел и плотно прикрыл ее за собой.

— Обиделся, — вздохнул Флич с сожалением.

— Плохо, Флиш. Он увез Пауля...

Глаза ее как-то обесцветились, словно из них ушла жизнь. Флич не знал, что ей сказать. Известие было неожиданным, его еще надо было осмыслить, пережить.

Гертруда Иоганновна села на стул, опустила руки на колени, они казались неживыми.

— Я схожу с ума, Флиш... Я схожу с ума...

Она сжала ладонями виски и закачалась вправо-влево, словно внутри сорвалась пружина, выпрямлявшая ее.

Флич смотрел с состраданием и думал: «Она теряет лицо. Она на пределе. Павел — последний удар. Она не выдержит...» Он вспомнил ее скачущей на строптивой Мальве, вспомнил подвернувшей ногу, побелевшей от боли, но улыбающейся публике, вспомнил плачущей над вырезкой из газеты, когда погиб Иван, подымающейся по шаткой пожарной лестнице под брезентовый купол, куда мужчины не посмели подняться. Нет, она не может, не должна сломаться. Она — пример, опора даже для более сильных. Она — само добро, само тепло, возле которого отогреваются до дна промерзшие сердца.

— Гертруда, помните, как говорил Мимоза: главное — не терять кураж. — И добавил тихо, отчетливо: — Водопроводчик Чурин просил передать вам, что из гостиницы никого не вывести.

Она посмотрела на него опустошенными глазами, внезапно в них появилась крохотная искорка.

— Что вы сказали, Флиш?

— Я сказал, водопроводчик Чурин просил передать, что уйти из гостиницы никому не удастся. Надо найти убежище здесь.

— Убежище?.. Да-да... — Она оживилась. — Шурин пришел?

— Нет. Его пропуск недействителен. Я за него.

— Вы?

— Я. Чему вы удивляетесь?

Она протянула ему руку.

— Я нишему не удивляюсь, Флиш, — глаза ее потемнели, словно их затянуло грозовой тучей. — Нишему... Их надо взрывать, как бешеных зверей. Вы знаете, что делать?

— Чурин объяснил. Но вам надо найти убежище.

— Уходить нельзя. Подозрение. Гравес ошень хитрый. Мы будем сидеть в этот комната. Две стены... Нам нельзя никуда уходить.

— Понимаю, — сказал Флич. — Но это опасно.

— Теперь вся жизнь опасно!

— В зале уже зажгли свет?

— Надо немножко ждать. Сегодня за официанты есть солдаты. Я объясню, когда солдат погашает люстры. Ровно двадцать один час мы открываем занавес. Там большой портрет Гитлер. Четыре пушки светят на него. И тогда солдат погашает свет. Вы, Флиш, скажешь мне: аппаратур готов. Я пойму.

— Хорошо, Гертруда.

Флич поцеловал ей руку. Она ушла. Он взглянул на наручные часы.

Было девятнадцать часов пятьдесят одна минута. Впереди еще уйма времени, целая вечность!

Он закончил зарядку аппаратуры и поставил ее в привычной последовательности. Потом на гладильную доску положил брюки. Подождал еще немного и вместо штепсельной вилки утюга воткнул в штепсель ножницы. Вспыхнула голубая искра, раздался короткий треск, и свет в комнате погас.

— Черт бы его побрал! — громко воскликнул Флич и открыл двери. В коридоре стояло несколько незнакомых офицеров. Они посторонились, пропуская мимо себя четырех хихикающих танцовщиц.

Флич развел руки и пожал плечами.

— Свет, фройлейн...

Из зала появилась Гертруда Иогановна.

— Что здесь происходит?

— Свет... Видимо, перегорела пробка, фрау Копф.

Глаза Гертруды Иогановны гневно сверкнули.

— Немедленно чинить! — приказала она и, улыбаясь, пошла к офицерам, приглашать их в зал.

— Айн момент, — сказал Флич притихшим танцовщицам и почти побежал по коридору. Спустился вниз. Возле двери на кухню стоял эсэсовец.

— Хальт.

— Иди ты со своим «хальтом»! — сердито закричал Флич. — Пробки перегорели! Понятно! — Он достал из кармана пропуск и сунул его прямо под нос эсэсовцу. Из кухни выглянул Шанце. Понял, что Флич пришел на кухню не зря. Есть какие-нибудь важные новости.

— А-а, Флич! Наконец-то! — воскликнул он по-немецки. — Пропустите его! Он чинит свет.

Флич, не ожидая разрешения, рванулся мимо эсэсовца на кухню и устремился в клетушку повара. Шанце пошел за ним.

Эсэсовец удивленно глядел им вслед, раздумывая, как поступить, вызывать или не вызывать начальство? Вызовешь, еще тебе ж и попадет, зачем пропустил или зачем не пропускал. Пускай чинит свет. У него есть картонка.

Флич стоял возле койки тяжело дыша, будто прибежал по крайней мере с окраины, и держался за сердце.

— Вас?.. Забольел? — спросил Шанце.

— Нет... Эсэсовцы... Водопроводчик не придет.

— Нет? — Нос Шанце совсем опустился на подбородок. — Плехо.

— Ничего не «плехо». Встань у двери, — Флич энергичным кивком головы показал Шанце, где ему встать.

Шанце понял. Подошел к двери.

Флич мысленно скомандовал себе: не торопиться, не блох ловишь. Поднял металлическую ручку. Дверца щита не скрипнула и открылась легко, видимо, лейтенант ее предусмотрительно смазал. И оттого что щит так легко открылся, Флич успокоился. Подлез под койку, вытянул из-под плинтуса два тонких звонковых провода. Гайки-клеммы оказались туго затянутыми, но под пробками лежал ключ. Все предусмотрел господин Чурин. Флич ослабил гайки, сунул под них оголенные концы проводов и снова затянул. Потом вывинтил верхнюю вторую слева пробку и тут сообразил, что жучка делать не из чего. Он растерянно огляделся.

— Шанце, — позвал он. — Из чего делать жучок?

Немец не понял.

Флич показал ему пробку и замысловато повертел вокруг нее пальцем.
Шаице пожал плечами.

— Про-во-лоч-ка... Маленькая, — раздельно произиес Флич.

— О!.. Про-во-лош-ка... — Шаице подошел к своему шкафчику, открыл ящик, стал рыться в нем. Потом протянул Фличу пробку.

— Эс ист гут... Хорошо...

Флич взял у него пробку и повертел в пальцах. Оиа иичем ие отличалась от той, что ои вывиитил. А Шаице говорит «гут». Ои ввиитил ее вместо перегоревшей и закрыл дверцу щита. Сейчас ои вериется в артистическую и, если свет ие горит, иайдет проволочку и придет сюда сиова.

В дверях он остаиовился.

— Шанце. В девять, — и для верности показал девять палцев.

Шаице кивиул и легоиько стукиул Флича по плечу.

Флич деловито устремился к выходу, проходя мимо эсэсовца, он показал ему пропуск и сказал:

— Пойду проверю. Может, еще вериусь!

Эсэсовец иичего ие поиял и равнодушио посмотрел ему вслед.

Еще в коридоре Флич увидел в проеме двери артистической свет. Слава богу!

Таицовщицы без стесиеиия переодевались. Федорович стоял у окиа спииой к иим. Ои иикогда ие смотрел иа «жалких грешииц», когда оии переодевались. В углу оркестраиты играли в карты.

Флич переодеваться не торопился. Он включил электрический утюг и стал ждать, пока иагреется.

В комиату загляиула Гертруда Иогаииовна.

— Оркестраиты — в зал.

Оркестранты бросили карты, торопливо подхватили иаструмеиты и ушли.

— Девочки, шевелитесь. Как у вас, Флиш? — спросила оиа по-русски.

— Аппаратура готова, фрау Копф.

Оиа улыбиулась ему серыми глазами и сказала:

— Начало сегодня ровио в девять.

В ресторане стоял гул. Офицеры и штатское иачальство уже расселись за столиками, откупоривали бутылки, иетерпеливо выпивали. Звенели бокалы, звякали о тарелки иожи и вилки. Табачиый дым уплывал под потолок к люстрам.

Штурмбанфюрер Гравес встречал бригадеифюрера Дитца иа улице. Когда подкатил серый «Мерседес», подскочил к машиие и открыл дверцу.

Первым из машииы вылез Дитц, широкоплечий, грузиый, с тщательио выбритым гладким розовым лицом под фуражкой с высокой тульей. Выбравшийся за иим полковиик фои Альтеиграбов казался рядом с иим игрушечиым, ненастоящим.

Ои ии за что бы ие поехал с бригадеифюрером в одиой машиие, ио положение хозяииа города обязывает.

— Мой бригадеифюрер, мы ждем вас, — сказал Гравес и сделал широкий приглашающий жест в стороиу входиой двери.

«Мерзавец! — сердито подумал фои Альтеиграбов. — А меия здесь нету?» И сказал надмеиио, глядя мимо Гравеса:

— Идемте, бригадеифюрер.

В ресторaи Дитц и фои Альтеиграбов вошли плечом к плечу.

Офицеры вскочили. Шум утих.

Гертруда Иоганновна двинулась навстречу, сияя улыбкой.

— Господин бригадефюрер, для нас большая честь принимать вас.

Дитц поднял светлые густые брови.

— Фрау Копф, хозяйка нашей гостиницы, — сердито представил ее фон Альтенграбов, бросая хмурые взгляды по сторонам: не смеется ли кто? Лица офицеров были серьезны.

— Благодарю вас, фрау Копф, — улыбнулся Дитц и согнул кренделем руку.

Гертруда Иоганновна продела в крендель свою, и так, под руку, они проследовали к столику возле эстрады. Фон Альтенграбов вышагивал сзади, а следом — довольный Гравес.

Гертруда Иоганновна церемонно усадила гостей за столик, извинилась и вышла.

Бригадефюрер махнул рукой.

— Садитесь, господа! Мы славно поработали, теперь славно повеселимся.

Он не важничал и слыл «простецким парнем» в своем кругу. И иногда лично делал черную работу в застенках СД.

Невидимый за занавесом оркестр заиграл марш. Занавес дрогнул, раздвинулся, и все увидели на эстраде большой портрет фюрера, обрамленный зеленой еловой гирляндой. На нем скрестились лучи прожекторов.

— Хайль Гитлер! — крикнул фон Альтенграбов.

— Хайль! — дружно ответило несколько десятков глоток и вскинулось несколько десятков рук.

— Зиг!

— Хайль! — охотно проревел зал.

— Зиг!..

Солдат возле двери рванул ручку рубильника.

Свет погас.

И в то же мгновение возникла непонятная яркая вспышка.

Штурмбанфюрер почувствовал невыносимую боль в ушах, словно в них внезапно вбили гвозди. Ускользающее сознание зафиксировало падающую люстру. Она ослепительно сверкнула в луче прожектора.

7

Без четверти девять Шанце отослал поварих чистить картофель во двор. Собственно, чистить его можно было и на кухне. Но там стояла несусветная жара, занудный вентилятор, несмотря на наступивший вечер, гнал горячий сухой воздух. Не надышишься. И потом жалко этих немолодых женщин. Он привык к ним, а если когда и прикрикивал на них, то не со зла. И они понимали это. И раньше, бывало, чистили картофель во дворе. Выносили потертые табуреты, бак с водой, ведро для очисток. Присоединялась синеглазая Злата. Сегодня Златы не было. Вместо нее — два потных неуклюжих солдата. Пусть сидят в посудомоечной. Злату бы он выгнал во двор.

Шанце отослал поварих, а сам остался. Нельзя уходить всем. У дверей — эсэсман. Кто его знает, еще взбредет в голову сунуться в его клетушку. А там — тонкие провода тянутся из-под дверцы щита под койку. Даже если и не заподозрит ничего, зацепит ненароком, оборвет.

Шанце подхромал к плите, втянул длинным носом воздух: не горят ли отбивные? Прихватил полотенцем край большой сковороды, встряхнул ее. Пожалуй, пора сыпать лук.

Но не посыпал. Скоро девять. Кто их будет есть после девяти?

Он почему-то вспомнил своего генерала Клауса фон Розенштайна. Сколько лет кормил! Не злой был генерал. Вежливый, Бисмарка читал и еще кучу книг. Ученый. Такой осторожный человек был генерал, а и его захлестнула коричневая чума. Старый уже, а туда же, на фронт запросился.

Сам Гитлер позвонил ему по телефону.

— Да, мой фюрер! Готов, мой фюрер! — кричал генерал в трубку, и глаза его блестели, а усы топорщились.

И он пошел сеять смерть. И фельдфебель Гуго Шанце с ним. И генерала разорвало на куски. Хоронили сапоги да фуражку.

Нет, не надо было ему на войну идти. Да ведь это как угар. Норвегия, Франция, Бельгия... Наци забили его старые мозги своим мусором.

Чего это вспомнился вдруг генерал?

Нет, зло не может быть великим. Только добро. Только добро...

Без двух минут девять. Шанце ушел в свою клетушку. Закрыл дверь.

Два тоненьких провода тянутся от крышки щита под койку. Выдернуть — и ничего не случится. Ничего?.. Господам офицерам подадут свиные отбивные с луком и жареным картофелем соломкой. Картофель будет вкусно хрустеть на крепких зубах. А потом они разъедутся и станут стрелять, мучать, вешать...

Нет, добро не может смириться со злом. Им не ужиться на одной земле... Раздался грохот. Каморку тряхнуло. Лампочка мигнула несколько раз и погасла. Что-то посыпалось на голову. Потолок валится?

Шанце машинально закрыл голову руками. По руке больно ударило. Рядом на кухне что-то падало, гремело, звенело, шипело.

Шанце оторвал руки от головы, присел на корточки и стал шарить в темноте. Вот они, провода. Он, не выпуская их из пальцев, шагнул к щиту, выдернул и начал сматывать в клубок. Провода надо убрать. Набегут ищейки. Он сунул клубок в карман и вышел на кухню.

Света не было. Дверца плиты открылась, головешка вывалилась на пол и чадила. Под ногами захрустели обломки.

— Что случилось? — крикнул он.

Никто не ответил. Эсэсман куда-то подевался.

Шанце подковылял к плите. Она оказалась заваленной белыми обломками. В потолке зияла дыра, пересеченная железной рельсой.

Полено на полу дымило. Он подхватил его полотенцем, поднял над головой.

— Эй, кто-нибудь!

Из посудомоечной показался солдат.

— Это вы, господин фельдфебель?

— Кто ж еще, черт побери!

— На нас упала посуда. Кунцу расшибло голову. Что это было, господин фельдфебель?

— Это я сам бы хотел знать. Господи, боже мой! Потолок свалился на отбивные! Что я подам господам офицерам?

Надо куда-то деть проволоку. Мальчики из СД начинают с того, что выворачивают карманы. Уж он-то знает!

Как там фрау Гертруда? Жива ли?

— У Куница вся голова в крови, — сказал перепуганный солдат.

— Перевяжи посудным полотенцем. И давай чистить плиту. Может, удастся спасти отбивные.

Шанце направился к входной двери, пнул ее ногой.

— Сидите?.. Шнель, шнель!.. На кухня есть авария!

Поварихи замерли с ножами в руках, и лица их были белее поварских колпаков.

8

Гертруда Иоганновна зашла в артистическую. Все должно быть, как всегда, как каждый вечер, никаких отклонений, никаких особенностей.

Танцовщицы вертелись перед зеркалом. Их осталось только четыре. Двух пришлось отправить обратно в Гамбург, к мамам.

— Готовы, девочки?

— Да, фрау Копф, — ответила рыжая. — Можно нам немножко порепетировать в коридоре?

— Идите. И не очень утомляйтесь. Сегодня вы должны станцевать, как никогда!

— Мы понимаем, фрау Копф. — Рыжая выскочила в коридор. За нею остальные.

Флич в белой манишке, черном фраке и лакированных туфлях стоял в углу комнаты, гонял на ладони медный пятак.

Федорович малиновым пятном рубахи выделялся на фоне окна.

Петра не было. Обычно он вертелся в артистической. Сейчас она его закрыла в номере. Никто не знает, чем обернется взрыв. Они все здесь, в артистической, могут погибнуть. Там, в номере, безопаснее. По крайней мере так ей казалось.

Она сцепила пальцы. Флич заметил, как они побелели. Это единственное, чем она выдала свое волнение.

Потом за стеной глухо зазвучал марш. И десяток глоток крикнули:

— Хайль!

Гертруда Иоганновна поняла, что открыли занавес.

— Хайль!

Сейчас солдат выключит рубильник.

Третье «Хайль!» слилось с грохотом.

Здание дрогнуло. На стене возле двери возникла трещина. С потолка посыпалась известка. Гертруде Иоганновне казалось, что сейчас рухнут стены. Она зажмурила глаза. Она готова ко всему.

Со звоном упала со стола «волшебная» ваза.

В коридоре закричала женщина.

Федоровича качнуло. Он выдавил локтем оконное стекло.

— Бомбят?

Ему никто не ответил. Комната была полна белой пыли.

— Все, — сказала Гертруда Иоганновна и открыла глаза. — Мы сейшас не уйдем. Не пропустят. Это не бомбят. Это взорвали ресторацию.

— Взорвали?.. Кто?.. — пробасил Федорович, понимая, что задал глупый вопрос.

— Мне надо идти туда. А ноги не слушают. Как наверху Петер?
— Я схожу, — Флич двинулся к двери.
— Нет. Сейшас опасно. Мы все потрясены и ништо не понимаем.

9

Штурмбанфюрер Гравес задыхался. Сверху наваливалось что-то тяжелое, расплющивало тело. Дышать нечем. В ушах звон, словно рядом непрерывно бьют и не могут разбить одну и ту же тарелку. Перед глазами вспыхивает радугой падающая с потолка люстра.

Он попробовал сбросить с себя давящую тяжесть. Сил не хватило. Тогда он стал выползать из-под нее медленно, сантиметр за сантиметром. И после каждого усилия падала, ярко вспыхивая, люстра. Наваждение!

Что же случилось?.. Зиг!.. Хайль!.. Зиг!.. Свет погас. Падает люстра. Перестанут когда-нибудь разбивать эту проклятую тарелку!

Он внезапно почувствовал озноб. Озноб начался где-то в желудке, быстро раскачал внутренности и вот уже колотит все тело, трясутся руки, плечи, голова, стучат зубы.

Гравес приподнялся на трясущихся руках. Придавлены только ноги. Темнота. В ней какое-то движение, огромное черное чудовище шевелится вокруг, хрипит, стонет, вскрикивает...

Два окна напротив слились в одно, рваное по краям и за ним тоже движение, туманный неверный свет.

Освободить ноги. На них давит что-то тяжелое, но мягкое.

Падает люстра. Слепит... Гравес закрывает глаза, свет становится розовым, но не исчезает. Он заслоняется от света ладонью.

Гравес понимает: случилось что-то необычное, непоправимое, страшное, но еще не может осмыслить случившееся.

Свет проходит сквозь стену, где два окна слились в одно неровное. Он до боли давит на глаза, Гравес ощущает его физически.

И без конца разбивают тарелку...

Штурмбанфюрер поднялся на четвереньки, начал медленно выпрямляться, повернулся к неумолимому свету спиной и увидел у своих ног грузное тело бригаденфюрера Дитца. А рядом, зацепившись за опрокинутый стул ножками, в аккуратных блестящих сапогах, свисал вниз головой маленький полковник фон Альтенграбов.

Неудержимый спазм сдавил внутренности Гравеса в тяжелый ком. Ком рвался в горло. Штурмбанфюрера вырвало, он успел только отвернуться, чтобы не запачкать мундир Дитца.

Это не окно, рухнула стена. На улице подогнали к пролому автомобиль и светят фарами.

Диверсия!.. Слово пришло само, теперь не отвяжется. Диверсия. Он что-то упустил. Они сумели его обвести, перехитрить. Это — «дядя Вася». Он проворонил его людей.

Гертруда... Где Гертруда?.. Если ее нет среди трупов здесь, в зале, — значит, без нее не обошлось. И без еврея Флича. И без попа. Одна шайка.

Гравес повел головой на негнущейся шее. Мундиры... мундиры... Кошмар!.. Он заплакал, не замечая, что плачет. Не от жалости к своим соотечественникам, от жалости к себе, от своей неудачи, от бессилия. Хотел потрясти за плечо бригаденфюрера, но испугался. А вдруг тот очнется и попросту всадит в него пулю. Всадит пулю... А ведь он, штурмбанфюрер

Гравес, жив... Еще жив!.. Он отшатнулся и, переступая через распростертые тела, побрел к запасной двери, ведущей в коридор, к туалетам.

Дверь висела наискосок, на одной петле, и покачивалась.

В коридоре лежала рыжая танцовщица, другие пытались привести ее в чувство. Горела тусклая дежурная лампочка, и черные длинные тени танцовщиц плясали на стене как черти в преисподней.

Гравеса шатало.

— Что это, господин штурмбанфюрер? — спросила одна из танцовщиц, обратив к нему желтое безжизненное лицо.

Голос слабо пробивался сквозь звон разбиваемой тарелки. Гравес скорее угадал, чем услышал вопрос. Он хотел сказать: «диверсия», но губы не разлипались и получилось невнятное мычание.

— Вы весь в крови.

Он посмотрел на свои ладони. Они кровоточили, видимо, порезался осколками битой посуды.

— И лицо тоже...

Что эта дура шепчет? Не может говорить громче!.. Где Гертруда?..

Гравес осторожно ощупал себя, расстегнул кобуру, достал пистолет, зловеще блеснул черный ствол.

Танцовщица в ужасе отшатнулась, закрыла лицо локтем, защищаясь от выстрела.

Но штурмбанфюрер уже не видел ее, двинулся мимо, к двери артистической. На окровавленном лице его белыми пятнами выделялись остановившиеся выпуклые глаза.

Он открыл дверь артистической. Под потолком горела лампочка вполнакала. В желтом неверном свете он увидел малиновую рубашку Федоровича, сложенные на коленях желтые тонкие руки Гертруды, она сидела на стуле. Черного Флича. Пре-ис-подняя! Он увидел их сразу всех трех, расстояния между ними как бы не существовало, словно они не были во плоти, а нарисованы на большом желтом листе бумаги.

Он сделал шаг вперед. Его мутило, снова тяжелый ком подступил к горлу, но он мотнул головой, останавливая его.

Значит, Гертруда жива. Все трое живы. Знали. Знали!.. Сейчас он с ними рассчитается. Ах, как это просто, выстрелить. И она даже мучиться не будет. Просто сползет со стула. А в голове маленькая дырочка. Она даже не обезобразит Гертруду. А?.. Смерть — избавление. А он, Гравес, останется, и его будут таскать по канцеляриям, его разжалуют, его пошлют на фронт. Смерть — это мало. Малая цена... Почему Гертруда смотрит спокойно и нет страха в ее глазах? Очищающего страха? Сколько он видел глаз на допросах! Голубых, серых, синих, карих, черных, в крапинку, видел, как расширялись зрачки перед НЕИЗБЕЖНЫМ, как глаза кричали от страха!.. Сейчас он наведет на нее пистолет, мушку между ее прекрасных глаз. И зрачки их станут большими!..

Гравес уже не видел ни малиновой рубашки, ни черного фрака. Он видел только желтое в желтом свете спокойное лицо Гертруды и серые широко поставленные глаза, в которых было непостижимое спокойствие. Дьявол в обличье женщины! Преисподняя!

Гравес медленно стал подымать пистолет. Ноги, живот, грудь, лицо. Вот она — переносица.

— Гертруда... — он почти не слышал своего голоса, разбивали тарелку. — Гер-тру-да, это — ваша работа. Это — вы!..



— Что с вами, господин штурмбанфюрер? Вы ранены?

Вот же она! Рядом! Перед ним! Почему ж голос ее доносится издалека? А может, это не она спросила?

— Это — вы-ы!.. — Он не сомневался, нет, он не сомневался. Сейчас лицо ее исказится от страха, она закричит, закричит, и тогда он выстрелит.

— Это — вы, Гертруда!

— Гравес, вы бредите, — сказала Гертруда Иогановна спокойно усталым голосом, и глаза ее стали печальными. Да, он может выстрелить, может убить, но страха она не ощущала. На страх уже не хватало сил. Этот ужасный день и напряженный вечер вымотали ее.

Страх испытал Флич. Даже не страх, а ужас. Выстрелит. Штурмбанфюрер выстрелит... Ужас сковал его на мгновение, рукой не шевельнуть. Делай что-нибудь, делай, пока не раздался выстрел... Отвлеки!

Флич внезапно взвыл как-то страшно, как собака, которую ударили, резким движением прижал пальцы к губам и начал быстро вынимать изо рта цветную шелковую ленту. Казалось, лента льется на пол сама, меняя цвета, — синяя, красная, желтая, зеленая.

Гравес повернул голову на собачий вой и смотрел на ленту, как завороженный. Он не понимал, что происходит, он забыл, что Флич — фокусник. А лента падала к ногам Флича и собиралась легкой пестрой горой.

И вдруг словно клещи сжали руку с пистолетом, пальцы вплющились в рукоятку. Гравес застонал и дернул руку, но клещи не отпускали. Надвинулось что-то большое, малиновое, светлые глаза на обросшем лице приблизились. Он видел тонкие красные жилки на белках, и было в тех глазах НЕИЗБЕЖНОЕ. И ему стало страшно. Он хотел крикнуть, но крик застрял в горле, вырвался не то хрип, не то стон.

А НЕИЗБЕЖНОЕ поворачивало его руку с пистолетом дулом к его груди, к его сердцу. Гравес задохнулся от ужаса. Выстрела он не слышал, обмяк и рухнул на пол.

Федорович утер взмокший лоб малиновым рукавом и перекрестился:

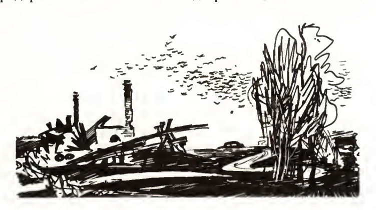
— Прости, господи, мое прегрешение!

Гертруда Иогановна увидела, как стена метнулась к потолку, потеряла сознание и стала сползать со стула. Флич поддержал ее.

— Дайте воды.

Федорович схватил графин и трясущимися руками стал лить ей воду в рот прямо из горлышка.

В коридоре послышался топот. В дверях появились эсэсовцы.





Часть вторая

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

1

Если бы друзья спросили Павла, какой город Берлин, большой или маленький, — он бы затруднился ответить.

Берлин был очень большим, если судить по тому, как долго катил автомобиль сначала мимо маленьких домиков окраины со стрижеными палисадничками за низенькими металлическими заборчиками, потом мимо прокопченных фабричных кварталов, где за высокими каменными стенами над кирпичными коробками цехов вздымались дымящие трубы, мимо серых казарм с часовыми у ворот, через железнодорожные переезды с черно-белыми шлагбаумами, потом потянулись улицы с добротными многоэтажными домами вперемежку с ухоженными скверами. Долго ехали.

И Берлин был очень маленьким, Берлин, в котором жил Павел. Несколько улиц, тротуары, мощенные квадратными серыми плитками. Сад на углу с бездействующим фонтаном — три толстых рыбы, разевающие непомерно большие рты на прохожих. Когда-то из разинутых ртов извергалась вода, на нижних выпяченных губах сохранились ее следы — ржавые полоски. Над стрижеными газонами нависали густые липы. На клумбах — белые цветы. Павел не знал их названия. Да и не все ли равно!

Доктор Доппель занимал квартиру на втором этаже большого дома из красного кирпича, в который кое-где, для красоты, наверно, были вкраплены белые и голубые кафельные плитки. Цоколь дома то ли облицован, то ли сооружен из серого грубо отесанного камня. Над тяжелыми дубовыми дверьми с литыми чугунными ручками нависал полукруглый козырек, его поддерживали два витиеватых кронштейна с замысловатыми чугунными завитушками. Через двери попадаешь в просторный тамбур. Пол выложен серыми, вроде тротуарных, плитами, низ стен облицован тем же камнем, что и цоколь дома, а верх крашен масляной светло-коричневой краской.

В глубиие иачииалась полукруглая, без углов, широкая лестиица с дубовыми перилами, покоившимися иа круглых металлических прутьях, украшеииых такими же чугуииыми завитушками, как кроиштейиы карииза. Мраморные ступеии сужались к середиие, а к стеиам расширялись. Красивая лестница. Таких Павлу ие доводилось видеть.

Двери в квартиру были двойиые, тоже дубовые, к иаружиой прикреплеиа броизовая дощечка. На ией вырезаио старииииыми готическими буквами «ДОКТОР ДЕР РЕХТЕ ЭРИХ-ИОГАНН ДОППЕЛЬ». А рядом с дверью висела бронзовая ручка звоика, похожая иа спелую грушу. Дериешь за иее, и в прихожей зазвеиит колокольчик. Кухарка фрау Элииа созывала домочадцев иа трапезу тоже колокольчиком, только иа длииной деревяиной ручке, совсем как сторож Мухаммед во дворике ташкеитской школы созывал иа урок.

После одиого случая Павел полюбил звои двериого колокольчика. Както Гаис сиял колокольчик иадраить мелом, чтобы блестел. Павел подошел рассмотреть его и заметил на поверхности иадпись по-русски: «Дар Валдая». Сиачала ои ие понял, что это означает и почему написаио русскими буквами, но откуда-то из глубии памяти выплыла песня: «И колокольчик, дар Валдая, звеиит уиыло под дугой...» Дар, подарок. Зиачит, колокольчик родился в России. Павел ие бывал иа Валдае, ио Валдай живо представился ему еловым, белоберезым краем с сииим иебом, которое звеиит птичьими голосами. И веселые бородатые мужики в фартуках отливают колокольчики. И если прислушаться к звоиу колокольчика, услышишь и птичий пересвист, и говор резиых листьев, и звои высокого синего иеба.

Колокольчик здесь, в берлииской квартире, плеиник иа чужбине, как и ои, Павел. И в веселом звоие его услышишь и грусть, и тоску, если прислушаешься сердцем. Потому что ие может русский колокольчик ие печалиться вдали от России.

В большой квадратиой прихожей паркетный пол был иатерт воском. Каждый раз, когда Павел ступал иа иего, ему казалось, что иоги иепремеиио разъедутся и ои шлепиется. Слева у стеиы тяиулась длииная вешалка с плащами, шляпами и зоитиками, под иими стояли полироваииые ящички для обуви, щеток, ваксы, бархоток. Правая стеиа завешаиа гобелеиами; иа одиом мчатся с лаем остромордые борзые и всадиики в шляпах с перьями трубят в рога, а на другом иад костром иа длииной палке жарится косуля, и рядом стоит охотиик с бутылкой виина. Между гобелеиами висела иатуральиая медвежья голова с оскалеиными клыками и глазами-стекляшками.

С потолка свисала люстра — десять броизовых подсвечииков с ввинчеииыми в иих вытяиутыми, как пламя свечи, лампочками. Горели только две, экоиомили электричество.

От прихожей начииался длииный пустой коридор. Три раскрашеиные под дуб двери иаправо, три — иалево. По коридору, будь велосипед, можио было бы прокатиться. Окна левых комиат выходили иа улицу: кабииет доктора Доппеля, гостиная и столовая. Окна комиат справа — во двор: спальия, комиата Матильды, и в самой дальией, малеиькой поместили Павла. Впрочем, коридор упирался еще в одиу дверь. За ией жили Гаис и фрау Элина. А иалево от двери начииался малеиький коридорчик, который вел на кухию.

В комнате Павел с удивлеиием обнаружил секретер, тот самый, в котором ои прятал киижки в Гроиске. Кроме секретера в комиате стояла широ-

кая обитая зеленым плюшем тахта, иад которой висел пестрый ковер, и такие же зелеиые мягкие кресла с резиыми деревяииыми спиками и подлокотииками. У стеиы возле окиа — кииживый шкаф, тоже украшеиный резьбой. В шкафу за зеркальными стеклами — кииги: учебиики, какие-то ромаиы, словари и «Майи Кампф» Адольфа Гитлера в красивом кожаиом переплете.

На окне висели зелеиые плюшевые шторы. А за окиом — уныльй, мощеииый булыжииком двор с гаражом, видимо оборудоваииом из старой коиюшии, потому что иад крашеиыми воротами торчали две чугуииые лошадииые морды. Оии были тяжелыми, иеподвижио-мертвыми. По утрам Павел подходил к окиу и смотрел на них. Оживлял их в своем воображении, наделял веселым иежиым ржаиием, теплом иервио-вздрагивающей бархатистой кожи, мыслеиио расчесывал их гривы и говорил: «Здравствуй, Мальва! Доброе утро, Дублои!».

Павел как бы раздвоился в Берлиие. Ои жил чиниой, предписаиной ему жизиью, размереииой и скучной. Завтракал, обедал, ужииал. Улыбался фрау Аиие-Марии. Читал кииги, рекомендоваииые доктором. Готовился к школе. Беседовал с Матильдой, следя за каждым своим словом. А думал о маме, о Петре, о Фличе, тосковал по иим, вспомииал цирк, пытался представить, как воюет отец, как ои дойдет до Берлииа, подымется по круглой лестиице, как весело зальется колокольчик, почувствовав земляка. И как вытянутся и побелеют лица его мучителей. Это была его вторая, подлииная жизнь, о ией ие должеи зиать и ие узиает иикто.

Через иесколько дией, освоившись иа иовом месте, Павел решил выйти иа улицу, посмотреть Берлии. Он дошел до входной двери, ио рядом возиик Гаис, имеиио возиик, потому что его ие было в прихожей.

— Не иадо иикуда уходить, Пауль. Господии доктор будет иедоволеи.

И ои иикуда ие пошел. Ои поиял, что его опекают, за иим следят, свобода его иеприметио ограиичеиа. Ои — плеииик в этой роскошиой, увешаниой картииами и гобеленами, устелеииой коврами, уставлениой статуэтками, доброй иа вид миогокомиатиой клетке.

Больше ои ие делал попыток уйти из дома. Да и куда идти? Зачем? Все равио к маме в Гроиск ие убежишь.

По складу характера Павел был иаблюдательиым и пересмешливым. Ои любил сравиивать, сопоставлять и выиосить свое суждеиие о людях, вещах, событиях. Увидев в комиате секретер, ои погладил перламутровую иикрустацию, словио секретер был живым, потом виимательио осмотрел тахту и кресла. Верио, доктор Доппель и их привез откуда-иибудь. Может, из Фраиции, а может, из Норвегии. Помиится, ои говорил, что бывал в этих странах. Значит, доктор юриспрудеиции иечнст иа руку. Мебель-то крадеиая. И ковры, и гобелены, и картииы. Вот тебе н доктор юриспрудеиции! Все оии, фашисты, ворье! Вот придут в Берлин нашн, иадо будет отвезти секретер обратио в Гроиск, иайти его хозяйку и вериуть.

Самым отвратительиым в доме был Гаис. Раиьше ои жил в комиате, в которой сейчас живет Павел. Когда Павел узиал об этом, входя в комнату, стал приию хиваться: ие остался ли запах Гаиса. Хотя Ганс иичем особеииым ие пахиул. Ои был короткоиогим, сутулым, ходил, выдвигая правое плечо вперед. Носнл солдатскую гимиастерку без погои и сапоги со стоптаииыми с иаружиых краев подошвами. И еще обладал отвратительиой привычкой смотреть сквозь человека светлыми, как застывшие капли воды, глазами н при этом по-бычьи иаклоиять голову, вот-вот бодиет

коротко стриженным ежиком. Про себя Павел называл его «бычком». Ганс занимал в доме место не то телохранителя, не то «прислуги за все». Он выполнял приказы и доктора, и фрау, и Матильды, и даже его, Павла. Иногда исчезал на несколько дней, снова появлялся и смотрел сквозь тебя своими замерзшими глазами.

Жена доктора фрау Анна-Мария казалась Павлу неестественной. Было у нее что-то от механической куклы. Пухлая, с гладким без единой морщинки лицом и дряблой шеей, которую она прикрывала стоячими строгими воротничками платьев, фрау целыми днями передвигалась по комнатам, что-то поправляла, сдувала видимые одной ей пылинки. Разговаривая, она как-то по-кукольному хлопала длинными черными ресницами, и с пухлых подкрашенных губ ее не сходила кукольная улыбка.

Однажды подвыпивший Отто, каждый день бывавший в доме доктора, сообщил Павлу по секрету, что фрау омолаживали хирурги, натянули кожу на лице, а остальное — первозданно! Отто хихикнул и добавил:

— Строго между нами, Пауль. Если фрау догадается, что нам известен ее секрет, — со свету сживет.

Фрау Анна-Мария красила волосы хной, они блестели и отливали медью. По утрам она долго не выходила из спальни — наводила растушовкой тонкие дуги бровей, подрумянивала неприметно щеки и с удивительным искусством черной липкой тушью удлиняла белесые ресницы.

Встречаясь с ней утром за завтраком, Павел неизменно говорил:

— Вы сегодня просто красавица, фрау Анна-Мария.

Фрау от удовольствия закатывала глаза.

— Спасибо, мой мальчик. Справедливей будет, если ты будешь говорить мне «мама». Ведь я заменяю тебе мать.

— Я очень, очень вам благодарен, фрау, — отвечал сердечно Павел.

Он мог улыбаться, казаться естественным, он мог притворяться перед кем угодно, когда угодно и как угодно. Ведь он артист, сын артистов. И только одного он не мог — назвать фрау Анну-Марию «мамой». Этого слова он не выговорит, даже если с живого будут сдирать кожу.

Рядом со спальней доктора и фрау, в которой он ни разу не был, в розовой комнате жила Матильда, их дочь. Комната была действительно розовой — стены крашены розовой клеевой краской, оба окна занавешены розовыми шелковыми шторами, кровать укрыта розовым покрывалом. На туалетном столике перед трельяжем стояли флаконы и флакончики из розового богемского стекла. Два кресла у столика были обиты розовым атласом, блекло-красный ковер на полу тоже казался розовым. А над столиком на крученых розовых шнурах низко свисал большой абажур с розовой бахромой.

Над кроватью висела картина, писанная маслом. Павел был не силен в живописи, но Матильда утверждала, что это какой-то подлинный голландец или фламандец. Музейный. Откуда-то прислал папа. На картине возле кустов с розовыми мелкими цветочками возлежала на воздушной подстилке розовотелая пышная женщина, неуловимо напоминавшая фрау Анну-Марию, — видимо, своей неподвижностью.

И запах в комнате стоял приторный, розовый, не то пахло леденцами, не то каким-то кремом.

И сама Матильда, пухлая, как муттерхен, была какой-то неестественно розовой. Целыми днями сидела она в кресле или на тахте, поджав толстые ноги. В пухлых пальцах — потрепанная книжка, рядом — тарелочка с



печеньем. Она все время жевала что-нибудь, словно изголодалась за свою шестнадцатилетнюю жизнь и никак не могла наесться.

Читала она какую-то чепуху: душещипательные истории с маркизами, графами, графинями или разбойниками. Павел как-то просмотрел одну из ее книжек. Одни мертвые слова, слова... Это тебе не про Павку Корчагина! Ему даже было немного жаль толстую девчонку. Уж очень она проигрывала по всем статьям рядом с теми, кого он знал на Родине. А уж с Крольчихой, с синеглазой Златой ее рядом и поставить нельзя.

Когда Матильда начинала вдруг вздыхать, томно закатывать глазки, Павел понимал, что она воображает себя героиней очередного романа. И уж непременно что-нибудь ляпнет или выкинет глупость. Слова и поступки ее были импульсивны, непредсказуемы, наперед не угадаешь, что ей взбредет в голову.

Она жила иллюзорной книжной жизнью. Ужасная война, развязанная Германией, была для нее забавной игрой, в которую играли мужчины, прямые потомки Зигфрида, для того и родившиеся на свет, чтобы драться, завоевывать и влюбляться в прекрасных дам, то есть в нее, в Матильду.

В зависимости от прочтенной книжки она была то томно-ласковой: не говорила, а ворковала, не шла, а плыла, — то грубой, бешеной; тогда у Павла начинали чесаться руки, треснуть бы эту дуру разок по уху!

Как-то в прихожей она навалилась на Павла всем телом, прижала его к гобелену, сказала хрипло:

— Полюби меня, Пауль!

И полезла целоваться. Павел с трудом вырвался, оставив в ее толстых пальцах трофей — пуговицу от рубашки.

Однажды она заявила:

— Фюрер — настоящий мужчина. Если он на меня только взглянет — я пойду за ним на край света!

— Далеко. Похудеешь по дороге, — засмеялся Павел.

— Дурак. Немка не может похудеть. Это ты говоришь, потому что родился в России. А все русские — тощие выдры. Я видела их. Они работали в поле.

— Они не едят печенья.

— И вовсе не поэтому. Они — рабочий скот. Возвышенные движения души им недоступны!

Павел ушел, чтоб не вспылить. Он тоже видел русских женщин, вывезенных в Германию. Они пропалывали капусту. Несчастные голодные женщины с нашивками на груди «ОСТ». Он не мог смотреть на них и не мог отвести глаз. Ему хотелось крикнуть: «Держитесь! Наши скоро придут!» Их выгоняли в поле на заре, как стадо, и пригоняли на закате обратно в загон. Он-то знал их другими: веселыми, с открытыми лицами, от души аплодирующими после каждого удачного трюка. Он видел их на работе в цехе и в поле — независимых, неутомимых, держащихся с достоинством. Он видел их, катящих перед собой детские колясочки, и глаза их излучали доброту и нежность.

«Это ты, Матильда, жирная скотина!»

Он с удовольствием крикнул бы ей это в лицо. Да нельзя. ОНИ должны его видеть таким, каким хотят. Не выдавать себя ни словом, ни жестом. Там, в Гронске, мама и Петр. Он должен думать о них и следить за собой.

Он бы ни за что не заходил к Матильде в комнату, но она чуть не силой затаскивала его, усаживала в кресло и начинала ныть:

— Ах, мне скучно, Пауль! Ты должен меня развлекать светскими разговорами. Да ты, наверно, и не знаешь, что такое светский разговор! Ну, давай поговорим о погоде. Не правда ли, прекрасная сегодня погода?

Павел пожимал плечами.

— Говори: погода сегодня, графиня, соответствует моему настроению. Когда я вижу вас — мне всегда светит солнце! — Она делала изящный жест рукой, отставив толстый мизинчик.

Павла брала злость.

— На дворе слякоть, и в воздухе висит какая-то мутная дрянь.

— Фи! Ну что ты за человек, Пауль? Неужели ты не понимаешь игру. А папа сказал, что ты был артистом.

— Ну и что? Не во все надо играть. Если мы скажем: хорошая погода, она лучше не станет.

— Мне скучно, Пауль!

— И мне не весело.

— Ты хочешь домой? В этот, как его, в Гроиск?

— С чего ты взяла! Теперь мой дом здесь.

— Тогда почему же тебе скучно?

— Может быть, я в школу хочу, — уклонялся от истины Павел.

— Ненормальный! Разве учиться не скучно? Боже, у нас, в пансионе фрау Фогт, единственное развлечение — поговорить о мужчинах! Учиться! Боже, какая скука!

Вот уж дура так дура!

Еще в доме жила кухарка фрау Элина, старая, седая, с маленьким, сморщенным личиком и ввалившимися губами. Она почти не разговаривала, а если говорила, то Павел не мог понять ни слова: то ли она произносила их на каком-то диалекте, то ли просто не выговаривала ни одного звука правильно. Понимала ее только фрау Анна-Мария. Фрау Элина сама подавала на стол в удивительно чистом накрахмаленном переднике и таком же накрахмаленном старомодном чепце с оборками. Подавая, она непременно называла блюдо. Если она произносила «шелпш», значит, на столе появлялся «шнельклопс», если слышалось «шукле», значит — «суп с клецками», если «рышме», значит — «рыба в сметане».

Матильда называла ее «старой рухлядью», фрау Анна-Мария «кормилицей», Ганс — «каргой». Она кормила еще отца доктора Доппеля, никогда нигде не бывала и знала только дорогу до лавок.

Павел привык к переменам, к дорогам, к гостиничным номерам и быстро освоился в доме доктора Доппеля. Для него это была очередная гостиница, откуда он непременно уедет. Жаль только, что рядом на ковре не возится Петька, не слышно строгого маминого голоса, не запоет тихонько папа, ладя лошадиную сбрую, не заглянет плутоватый Флич...

Павел решил жить так, как жил всегда, словно ничего не случилось, просто все ушли куда-то и не скоро вернутся: делать по утрам зарядку, тренироваться, чтобы быть в форме, не потерять куража.

2

Доктор Доппель рассчитывал, что его направят на юг России, где началось наступление на русских широким фронтом к Волге, на Сталинград, на Кубань и Северный Кавказ.

Богатейшие места! Наступление развивается стремительно, успешно. Безусловно, неудача под Москвой — неприятная случайность, и только. Кто-то из генералов что-то недоучел, прошляпил.

Доктор Доппель обложился справочниками, прикидывал возможную урожайность новых земель, примерное количество скота, птицы и яиц. Итоги были перспективны. Причем все, что получит Германия, теряет Россия. Большевикам крышка.

Целыми днями Отто крутил ручку арифмометра. Цифры его не волновали, они были мертвы. У Отто не хватало воображения. Он пересчитывал несметные богатства, оставаясь равнодушным к ним.

Это нравилось Доппелю. Отто — надежный математический инструмент, придаток к арифмометру. Зато самого доктора цифры возбуждали, он видел белые вагоны-рефрижераторы, набитые мясом, горы яиц, штабеля ящиков с виноградом и бочек с виноградным вином. Он заучивал новые названия, которые трудно выговаривались: гурджаани, цинандали, напареули, и уж совсем непроизносимое — хванчкара. Кто-то в рейхскомиссариате сказал, что эта самая хванчкара — язык сломаешь! — любимое вино Сталина.

Фюрер не пьет, у него тонкая душа. Он закрывается и играет на скрипке. Музыка помогает ему думать. Это так по-немецки — думать под пение скрипки! Надо будет послать фюреру из Грузии ящик хванчкары.

Изо дня в день доктор передвигал флажки на карте, листал справочники и ждал назначения. Но назначение откладывалось. Рейхскомиссар Розенберг вспомнил, что доктор — юрист, и поручил ему щекотливое дело. Один из высокопоставленных представителей рейхскомиссариата Остланд перехватил через край, реализовал на черном рынке то, что вывозилось из России, причем в таких количествах, что скрыть это не удалось. Дошло каким-то путем до самого фюрера. Теперь доктору Доппелю предстояло провести не то чтобы следствие, скорее — дознание, проревизовать документы, а их несметное количество. В рейхскомиссариате создали специальную группу. Вот доктор ее и возглавил.

Дело надо было как-то спустить на тормозах. Эдак завтра создадут группу для проверки и его, доктора Доппеля, деятельности. Берут все. На то и война, на то и победа. Где кормится рейх, прокормится и человек. Конечно, надо знать меру. В такое трудное время!.. Лично он, доктор Доппель, никогда не позволял себе обворовывать рейх. Все до́лжно делать в пределах закона. Если товар учтен как собственность рейха, он должен быть передан рейху. Продавать его на сторону нечестно и, простите, глупо. Зарабатывать можно и иным способом. Допустим, с помощью фирмы «Фрау Копф и К°». Или откладывая некоторые ценности... до выяснения их ценности.

Почему нет известий от Гертруды? Хорошо, допустим, она переживает за Пауля. Может быть, даже сердится. Но счета-то должны уже быть! Гертруда аккуратный партнер.

Пауль послал ей письмо. Перед тем как Ганс понес его на почту, письмо прочли. Все очень мило. Мальчику нравится в Берлине. Кормят хорошо. Он чувствует себя в семье.

Гертруда могла бы и ответить.

Ах, как досадно, что ему приходится заниматься этим нечистоплотным делом с черным рынком, вместо того чтобы идти по югу России вслед за наступающей армией. Сколько потеряно возможностей!..

Доктор машинально листал справочник и думал о своих делах. В кабинете было тихо и жарко, цвели кактусы. Когда зазвонил телефон, доктор поморщился. Он не любил никаких звонков, они нарушали равновесие, ему казалось, что даже кактусы вздрагивают своими иголками, когда раздается звонок.

Доктор снял трубку.

Мужской глуховатый вежливый голос осведомился: не с доктором ли Доппелем он имеет честь говорить? Удостоверившись, голос произнес:

— Пожалуйста, доктор, не уходите из дому, через двадцать минут за вами придет машина.

Доктор хотел спросить, кто ее посылает и зачем, но на том конце провода повесили трубку.

Доппель погасил свет, приподнял светомаскировочную штору. На улице было темно и пусто. Он опустил штору на место и направился в спальню. Придет машина, не ехать же в халате. Вероятно, он понадобился Розенбергу или кому-нибудь из его заместителей. Вызов к ночи — привычное дело. Мозг рейха не спит.

Когда в прихожей раздался мелодичный звон колокольчика, доктор был готов, сам подошел к двери и открыл ее.

За дверью стоял офицер СД.

— Доктор Доппель?

— Так точно.

— Прошу вас.

Доктор вышел на лестницу, закрыл дверь своим ключом.

У подъезда стоял автомобиль с синими светомаскировочными фарами. Офицер открыл дверцу, доктор Доппель уселся на заднее сиденье. Офицер — рядом с шофером.

«Почему СД? — обеспокоенно думал Доппель. — Неужели они вмешаются в дело, которое он распутывает? Вернее, запутывает. Плохо. Все выплывет наружу. Розенберг будет недоволен. Пятно на аппарат рейхскомиссарната Остланд. Гестапо — машина, которую не остановишь. Неужели фюрер выразил такое недовольство?»

Проходя в сопровождении офицера мимо часовых длинными запутанными коридорами, доктор Доппель напряженно думал: какую позицию занять? Уверенность постепенно покидала его. Наверное, так были устроены эти длинные коридоры, что человек терял себя на каждом повороте.

— Минуту, — произнес офицер, останавливаясь возле двери, похожей на десятки дверей, мимо которых они проходили. Он постучал и вошел. — Доктор Доппель.

Ему что-то ответили.

— Проходите, доктор, — офицер вежливо козырнул.

Доппель вошел. Дверь за ним закрылась. В кабинете не было ничего лишнего. Большой письменный стол. Над ним портрет фюрера. Два стула. Сейф в углу. А возле двери маленький столик, за которым сидел невзрачный человечек над листами бумаги. Возле бумаги в стаканчике торчали карандаши острием вверх.

«Стенографист», — понял Доппель.

Навстречу ему из-за письменного стола поднялся мужчина в коричневом штатском костюме, голубой рубашке и галстуке в мелкую цветную полоску. Лысину прикрывали тщательно зачесанные вдоль лба волосы.

— Здравствуйте, доктор. Простите, что побеспоконлн в столь поздннй час. Витенберг. Присаживайтесь. — Мужчнна улыбался. Улыбка у него была безмятежной, словно он прнгласнл доктора на чашку кофе.

Доппель сел на стул, закннул ногу за иогу. Надо держаться спокойио н с достоииством. В конце концов он только начал знакомнться с делом о хнщеиях. Ни к какнм выводам не пришел. Ннкакнх докладов по делу не представлял. Сначала надо поиять позицню господнна Внтенберга и не торопиться нзлагать свою.

Но уже первый вопрос Внтенберга вызвал у доктора Доппеля нзумление.

— Фрау Гертруда Копф — ваша любовнница? Извнните, господнн доктор, что я вторгаюсь в сферу лнчиой жнзин. Служба.

Доппель смотрел на Внтенберга, прнподияв брови. Потребовалось время, чтобы понять суть вопроса, настолько он был неожнданиым.

— Нет, господии Витеиберг, у иас более прочные н более сложные отношеиия. Мы — компаньоиы. Не больше и не меньше.

— Поимаю. Вы — компаньоны, — задумчиво повторнл Витеиберг. Видимо, он мыслеино формулнровал следующий вопрос.

— Фирма «Фрау Копф и компания». Гостнница для офнцеров рейха в Гроиске, — уточиил Доппель.

— Осиовной капнтал ваш? — спроснл Внтенберг, снова безмятежно улыбнувшнсь.

Безмятежность раздражала доктора Доппеля н настораживала. Где-то таится ловушка.

— Хотелось бы уточиить, господии Витенберг, некоторые положення, ставшне, так сказать, основой фирмы. Капнтал, разумеется, мой.

— Дает прнличные процеиты? — перебил мягко Внтеиберг.

Так. Господниа Витенберга иитересует финансовая сторона дела. Значнт, гестапо далн комаиду закинуть сеть в связн с делом о хнщениях продовольствия в крупных масштабах. А вопрос о Гертруде — маневр, чтобы сбить его с толку. Не пройдет, господнн Внтенберг! Я научился маиеврировать, когда вы еще под стол пешком ходнлн.

— Боюсь ввестн вас в заблужденне иеточным ответом, господнн Внтенберг. Надо провернть по расчетам. Не думаю, чтобы доход был велик. Меня ннтересовала не столько финансовая сторона дела, сколько морально-этическая. Нашн доблестные офнцеры нуждалнсь в хорошей крыше над головой, в добротном пнтанни н хотя бы мнннмальиых развлечениях. Особеино выздоравлнвающне после ранеинй. И я счел своим долгом сделать все возможное, чтобы организовать им хоть бы мннимум удобств. Я старый член партнн, господнн Внтеиберг, — Доппель покоснлся на свой золотой зиачок, — и во всем руководствуюсь ннтересами рейха.

Витенберг кивиул.

— Простнте, что перебнл вас. Вы началн нзлагать основные положення существования фнрмы.

— Да. Капитал мой. Но прн моей занятостн как уполномоченного рейхскомнссариата Остланд я не имел возможностн заннматься органнзацией дела. Нужна была твердая хозяйская рука. И выбор пал на Гертруду Копф.

— Почему?

— Оиа — немка, знающая местные условня. Владеет русскнм. Абсо-

лютно лояльна и безукорнзиенио честиа. Согласитесь, это не мало. Оиа обижена большевикамн. Мы освободили ее из тюрьмы.

— Уголовное дело? — поннтересовался Витенберг.

— О нет. — Доктор Доппель позволнл себе скупо улыбнуться. — Оиа нн в чем не замешана. Ее арестовали только за то, что она иемка. Потенцнальный враг. И содержалн в ужасных условиях. Она роднлась здесь, в Берлнне. В семье артнстов цнрка. И сама выступала на арене. В тысяча девятьсот двадцать седьмом году, заметьте, наше велнкое двнженне еще только начнналось, она гастролнровала в Росснн. Влюбнлась там в акробата, иекоего Ивана Лужина. Осталась н вышла замуж. У нее двое детей, мальчнки, близнецы. Одного нз них, с ее искреннего согласня, я взял на воспнтание. Служба безопасиости проверяла ее. И неоднократно. Это — настоящая иемка по рождению и психологни. Предаииая делу фюрера.

— Вот как, — обронил Внтенберг, н не понять было, соглашается он нли сомневается.

— Под ее руководством фнрма процветает, — добавнл Доппель. — Офицеры чрезвычайио довольны.

Внтеиберг достал нз ящнка стола папку, открыл ее н положнл перед Доппелем две вырезки нз русскнх газет. Это былн указы о прнсвоеиин звання Героя Советского Союза младшему лейтенанту Иваиу Александровнчу Лужнну. Однн подлинный, другой с впечатанным словом «посмертно».

— Да, это моя ннициатнва, — вздохнул Доппель, — мол, что поделаешь, иногда прнходится идтн на уловкн. — Хотелось окончательно отрезать фрау Копф от всего русского. Она любнла мужа. Это был мостнк. Мы его сожгли.

— Зиачит, вы все-таки сомиевались в Гертруде Копф?

— О нет, господнн Внтенберг. Это была чисто профилактнческая мера.

— И она оказалась действенной?

— Безусловно.

— Вы совершенно уверены, что фрау Копф не знает, что ее муж жнв?

— Совершеиио. За ней наблюдал штурмбанфюрер Гравес, начальннк службы безопасности в Гронске. Фрау Гертруда ин разу не дала ему повода сомневаться в своей лояльности. Он может подтвердить это.

Витенберг покачал головой, словио сомиевался н в штурмбанфюрере Гравесе.

— Скажнте, господин доктор, вы покинули Гроиск двеиадцатого июня?

— Да. Имениo двенадцатого июия.

Доппель насторожился. К чему клоиит Витеиберг?

— Вы ие заметнлн ннчего особенного в поведенин фрау Гертруды илн кого-либо нз ее окружеиня? Ведь у иее былн свон людн, друзья, служащие.

— Да. Безусловно. Ннчего особенного. Правда, она была несколько возбуждена, в связн с отъездом своего сына Пауля вместе со мной в Берлнн.

— Оиа ие хотела этого отъезда?

— Нет-нет, она охотно отпустнла его. Он даже переселнлся ко мие. Но в последннй деиь убежал.

— Убежал?

— Да. К маме. В сущности, он еще мальчнк. Пятнадцать лет. Он испугался разлуки, хотя мечтает стать брнгаденфюрером.

— Похвальная мечта. Значит, инчего особенного в тот день вы не заметили. А иакануие?

— Ничего. Все шло своим порядком.

— Господин доктор, а почему вы покинули Гронск именно двенадцатого?

— Я бы уехал раньше, но задержался мой преемник. Пока передавал дела.

— А позже?

— Доктор Розенберг торопил.

Витенберг поднялся и прошелся по кабинету.

Доктор Доппель следил за ним взглядом, выражавшим понимание и готовность отвечать на любой вопрос. А сам думал: «Куда он клонит? Вопросы не относились к делу о хищении продовольствия. При чем здесь Гертруда? Или он расставляет ловушку? Такое впечатление, что он знает что-то, чего не знаю я».

Витенберг остановился у стола, побарабанил пальцами по столешнице, оклеенной зеленым сукном. Звук был мягким, едва уловимым.

— Доктор Доппель, когда вы последний раз получили корреспонденцию из Гронска?

— Ни разу. Это меня начинает тревожить.

Витенберг посмотрел на него в упор.

— Значит, вы ничего не знаете?

— Не понимаю, о чем вы, господин Витенберг...

«Так я и предполагал, что он знает что-то, чего не знаю я».

Витенберг снова сел за стол, порылся в папке и положил перед Доппелем фотографию. Стена. Окна без стекол. Сорванные рамы. Между оконных проемов зияет брешь. Торчат неровные кирпичи.

— Не узнаете?

— Н-нет...

— Это стена ресторана вашей гостиницы.

Доппель непонимающе посмотрел на Витенберга, потом перевел взгляд на фотографию.

— А это что? — он ткнул пальцем в пролом.

— После вашего отъезда двенадцатого июня, в двадцать один час неизвестными лицами произведен взрыв в ресторане. Погибло много наших людей. В том числе бригадефюрер Дитц.

— Боже! — только и смог произнести Доппель. Во рту и в горле стало сухо, язык словно распух. — Разрешите глоток воды, — добавил он, не узнавая собственного голоса.

Витенберг кивнул. Доппель услышал за спиной бульканье, подошел невзрачный человек со стаканом. Доппель выпил воду залпом. Рука тряслась.

— Боже! — повторил Доппель.

— Наши люди ведут расследование на месте. А я вынужден был побеспокоить вас здесь.

— Боже, какое несчастье! — И внезапно Доппель сообразил, что и он мог оказаться в ресторане, не покинь Гронска днем. У него непроизвольно вырвалось: — Ведь и я мог быть там!

— Вот нас и интересует, почему вы уехали днем двенадцатого?

Доппель уже жалел о вырвавшихся словах и сердился на себя за несдержанность. Лучшая оборона — наступление, поэтому он спросил прямо:

— Вы подозреваете меня?

— О иет, доктор Доппель. Просто требуется распутать малеиькнй узелок, который завязался сам собой. Мы с вами его распутаем.

— А Гертруда... фрау Копф жива?

— Да. Она ие пострадала.

— А штурмбанфюрер Гравес?

— Застрелился. При весьма страииых обстоятельствах. Застрелился не сразу, а прошел сиачала в комиату, где иаходилась фрау Копф. И там застрелился.

— Вы подозреваете фрау Копф?

— Мы подозреваем всех, — жестко сказал Витеиберг. Ои уже не улыбался.

— Только ие фрау Копф! — воскликнул Доппель, стараясь в интонацию вложить всю свою убеждеиность. Ои уже сообразил, какая беда иавнсла над иим, иад его репутацией, иад его карьерой. Никто ие поверит, что он прнчастеи к днверсии, ио нмя его так нли ииаче будет фигурнровать во всей этой нстории. Будет фигурировать. В связн с Гертрудой. Она тоже иикакого отиошеиия ие может иметь к взрыву. Ои в этом убеждеи. Не стаиет же человек взрывать собствеииое благополучие! Подвергать опасиости свою жнзиь и жнзиь детей. Гертруда прекрасио поинмает, что здесь, в Берлиие, ие пощадят Пауля. Надо убедить службу безопасиости в невиновиости Гертруды. Спасти ее. Спасая ее, ои спасает себя.

— Господии Витеиберг, я потрясеи.

— Поинмаю вас, доктор, н сочувствую.

— Дело ие в потеряииых деиьгах, хотя я вложил в гостииицу немало. Я готов вложить в десять раз больше! Это ие только мое горе. — Доппель постучал пальцем по фотографии. — Это горе рейха. Я увереи, что фрау Копф переживает это так же, как мы с вами. Оиа — иемка до мозга костей! — патетически произиес Доппель и опустил голову, склоияясь под бремеием виезапиого горя. Потом добавил обычным тоиом: — Одиого не поиимаю: почему оиа мие ие сообщила о иесчастье?

— У иее ие было времеии, господин доктор. Арестованиые лишеиы возможиости сиошеиий с виешиим миром.

— Арестоваииые? Вы хотите сказать, что фрау Копф арестоваиа?

— Господин доктор, вы — известиый юрнст. Будьте объективиы. Поставьте себя иа место службы безопасности. И потом у иас есть осиоваиия подозревать ее в двойной игре. Вы утверждаете, что оиа — иемка до мозга костей, предаииая делу фюрера, а между тем оиа покрывала еврея, выдавала его за француза.

С этим Витеибергом иадо держать ухо востро. У иего, вероятио, запасено еще иемало сюрпризов. Ни в коем случае иельзя с иим соглашаться. Этот, за столнком, записывает каждое сказаииое слово. Потом оии будут аиализировать, истолковывать, делать выводы. А может быть, кроме стеиограммы, включеиа и звукозапись.

— Зиаю. Все это делалось с моего ведома. Вы же ие обвииите меня, старого иаци, в том, что я покрываю евреев? А также с ведома штурмбаифюрера Гравеса. Мы обсуждали с иим этот вопрос. Полезиый еврей — лучше мертвого. От мертвого какая польза, господин Витеиберг? Вы нмеете в виду Флнча, иастоящая его фамилия Фличевский, ои был фокусииком н иемало позабавил господ офицеров. Вспомиите, господии Внтеиберг, сам фюрер, призывая к нстреблеиию евреев, как иизшей расы, оставлял отдельиых иидндивидуумов как полезиых евреев.

— Господин доктор, что можно фюреру...
— Фрау Копф смотрела на дело глазамн фюрера. Это высшее проявление любви к фюреру.

«Похоже, Витенберг несколько растерялся. В словесной дуэли вряд ли он меня переиграет. Добавим».

— Уверен, что вы самн убедитесь в невнновности фрау Копф. В человеческих поступках мы ищем логнку, причины н следствня. Участне фрау Копф в этом преступленнн лншено логнки, нбо у нее нет прнчин взрывать собственную гостиницу, единственный источннк доходов. Это — самоубнйство! Если, разумеется, она не сошла с ума. Я проработал с ней год и не замечал какнх-либо отклоненнй в психике. Все, что она делала, — логнчно и целеустремленно. Более того, она жнла мечтой о возвращении на роднну. Она верила в нашу победу, господнн Витенберг. Она послала своего сына в фатерлянд. Надо нскать подлнnных виновников!

— Мы нщем, господин доктор. — Витенберг наклоннл голову в знак того, что беседа закончена. — Не смею больше вас задержнвать. И еще раз извинnте, что побеспокоил.

Доппель поднялся.

— Вы исполняете свой долг, а мой долг — помочь вам.

Доппель откланялся н в сопровожденнн того же офицера, который, видимо, ожидал за дверью, пошел невыносnмыми коридорами, лестннцамн и переходами к выходу. На улице он глубоко вдохнул свежнй ночной воздух. Сердце нехорошо покалывало. У подъезда стояла та же машина, офицер услужлнво открыл дверцу.

— Благодарю. Я пройдусь пешком. — Доктор Доппель кивнул, прощаясь, и медленно пошел по улнце.

Надо было прнвести мысли в порядок. Перед глазамн все еще маячила фотография с проломом в стене. Вот почему нет нн писем, нн счетов. Проклятая страна!

Гулом отдавалнсь в ушах собственные шаги. Он был однн на длнnной черной улице.

Потеря невелика. Арендные платежи за гостиницу отсрочены на четыре года. Он не заплатил нн пфенннга. Только текущие расходы. И не заплатнт. Взрыв — стихийное бедствие. За стнхию он отвечать не может. Он н так теряет доходы от эксплуатации. Да и аренда оформлена на имя Гертруды.

Гравес, значнт, застрелился. Трус. Между нимн никогда не было особой прнязнн, и еще нензвестно, кто кого больше остерегался: он Гравеса нли Гравес — его.

Гертруду надо вызволять. Чушь какая-то! Завтра же он пойдет к доктору Розенбергу, попроснт, чтобы тот позвоннл рейхсфюреру. Еслн за каждую дnверсню партнзан будут отвечать немцы, мы растеряем кадры н некому будет осванвать новые «жизненные пространства». Такие женщины, как Гертруда, — украшенне нации. Надо будет рассказать Розенбергу, как она вела себя в большевистском застенке. Это его позабавит.

Гертруда еще принесет пользу рейху и ему, Доппелю. У нее незаурядные органнзационные способности. Она еще восстановит гостнницу. Да-да, уж он-то знает эту женщину!

До чего неприятное учреждение гестапо. Эти длинные коридоры. И стены, словно налипла грязь. Надо будет принять ванну.

Рассказать Паулю? Мальчишка только начинал осваиваться. Пожалуй, не стоит. Пока все не разъяснится.

Улица была черной, не светилось ни одно окно. И только изредка в подворотиях мелькали синие точки лампочек.

Дела на юге идут отлично. Русские сломлены. И вероятно, недалек тот день, когда Берлин снова вспыхнет миллионами огней, обретет свой прежний вид столица великого рейха, столица мира.

Ночная прогулка сняла напряжение, и домой доктор Доппель вернулся успокоенным и уверенным в себе. Утром он попросит доктора Розенберга принять его. И все станет на свои места.

3

Гертруду Иоганновну не посадили в вонючий подвал с толстыми решетками на окнах в здании службы безопасности, в тот самый подвал, откуда зимой увели на виселицу клоуна Мимозу. Она была подданной рейха, и ей сделали снисхождение, отвезли в тюрьму. Ей даже показалось, что она попала в ту камеру, где сидела перед войной. Только не было наглой Олены, не было ноющей старухи и угодливых спекулянток. Она была одна на просторных деревянных нарах, ей дали солдатское постельное белье, серое колючее одеяло и подушку, набитую соломой.

В маленькое оконце, расположенное под самым потолком, утром врывался луч солнца, в свете его плясали пылинки.

Надзирательница приносила кружку эрзац-кофе и кусочек хлеба, в котором попадались соломинки, щепки и еще бог знает какая дрянь.

К этому времени матрац с постельным бельем должен быть скатан к стене. Днем лежать не разрешалось. Писать не разрешалось. Петь не разрешалось. Стучать в стену не разрешалось. Даже говорить громко с самой собой не разрешалось. За нарушение полагался карцер.

Впрочем, Гертруда Иоганновна не лежала, не писала, не пела и не разговаривала. Она сидела отрешенно на нарах или ходила мелкими шажками от стены к стене, от двери к окошку и думала.

Ей не предъявили никакого обвинения. Возили на допросы, и каждый раз она попадала к разным офицерам. Все были вежливы, ни разу не ударили и не оскорбили. Подробно расспрашивали обо всем, что происходило двенадцатого июня, с самого утра до момента взрыва. Кто приходил к ней накануне, за день, за два, за неделю? Она выбрала старую тактику, отвечала только правду, понимая, что каждое ее слово легко проверить. Она рассказала про побег и отъезд Павла, про то, как они все волновались, отыскивая продукты для такого большого дня.

— Кто сказал вам о предстоящем совещании? — спросил один из офицеров.

— Мой компаньон доктор Эрих-Иоганн Доппель, комиссар рейхскомиссариата Остланд.

— Когда он вам сказал, что будет совещание?

— Дня за три.

— А раньше вы о нем не знали?

— О нет, у меня слишком много работы, гостиница и ресторан — большое хозяйство. Господин Доппель уведомлял меня, если нужна была моя помощь, за несколько дней. Мы принимали и большие группы офицеров и даже господина гауляйтера. И во всех случаях господин Доппель предупреждал меня за три дня. Не раньше и не позже.

— Как он это делал, фрау Копф?

— Обычно приходил ко мне в гостиницу и говорил: «Гертруда, через три дня мы ожидаем гостей. Столько-то человек. Хотелось бы, чтобы вы подготовились к приему». Мы обсуждали с ним примерное меню, какие комнаты подготовить, как лучше обслужить гостей.

— Кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре?

— Нет.

— А ваши сыновья?

— Пауль жил у доктора Доппеля, готовился к отъезду на фатерланд. Петера я отсылала погулять с Киндером.

— У вас есть еще ребенок?

— Киндер — собака. Петер выводил его на прогулку.

— Скажите, фрау Копф, как погиб штурмбанфюрер Гравес?

— О, это было ужасно! Когда рядом что-то грохнуло и посыпался потолок и стена вдруг треснула у нас на глазах, мы словно оцепенели.

— Кто мы?

— Господин Флич — фокусник, Федорович — исполнитель романсов и я.

— Где вы в это время были?

— В артистической. Готовились к представлению.

— Так. Дальше.

— Дальше все загремело. И мы оцепенели. У меня ноги стали чужими.

— Вы знали, что это взорвали ресторан?

— Я даже не поняла, что это взрыв. Даже не представляла себе, как это бывает.

— Так. И что же произошло дальше?

— Вошел штурмбанфюрер Гравес. Я его сразу не узнала. Руки и лицо в крови, мундир обсыпан мелом и известкой, погон свисает с плеча, будто его сдернули. В руках пистолет. Глаза безумные. Он сказал: «Гертруда, это моя вина, этого нельзя пережить». Я очень перепугалась и сказала: «Господин Гравес, вы весь в крови». — «Да, — сказал он, — я весь в крови». И прижал пистолет к себе. Очень глухо хлопнул выстрел, и господин Гравес упал. А я потеряла сознание.

Изо дня в день она повторяла разным офицерам одно и то же, почти слово в слово. Она понимала, что все ее показания соберут вместе и будут искать в них хоть крохотную лазейку, щелочку, несоответствие, к чему можно будет придраться.

Однажды когда ее вели на допрос по коридору в здании службы безопасности, навстречу проволокли чье-то безжизненное тело. Просто проволокли за руки, а босые ноги несчастного скребли по крашеным доскам пола. Она содрогнулась, почувствовала внезапную слабость.

Возможно, что палачи проволокли жертву мимо нарочно, хотя Гертруду Иогановну ни разу не ударили. Видимо, у них не было никаких доказательств ее причастности к взрыву. Флич не выдаст. Федорович не знает. Догадался только штурмбанфюрер. Он мертв.

Взяли или не взяли эсэсовцы лейтенанта Каруселина и Захаренка?

Она снова и снова вспоминала тот вечер сразу после взрыва. Тогда ее спасли Флич и Федорович. Один отвлек обезумевшего штурмбанфюрера, второй прикончил его. Она потеряла сознание. Очнулась, когда вокруг стояли эсэсовцы.

Гравес лежал на полу, откинув руку, крепко сжимающую пистолет.

— Типичное самоубийство, — сказал незнакомый офицер СС.

— Фрау очнулась, — произнес голос рядом.

Офицер повернул к ней голову. Молоденький. Морщился, но держался.

— Что здесь произошло, фрау? Кажется, вы понимаете по-немецки? У двери толпились танцовщицы.

— Я — немка, господин офицер. — Она чувствовала себя совершенно разбитой, опустошенной и старалась взять себя в руки.

— Тогда объясните мне, что здесь произошло?

— Господин штурмбанфюрер застрелился. Он сказал, что не может этого пережить. И застрелился.

Офицер приказал кому-то из солдат аккуратно взять пистолет из руки покойника. Носовым платком. У солдата не оказалось носового платка, и офицер отдал ему свой. Потом предложил всем следовать за ним.

Флич помог ей подняться. Они медленно пошли знакомым коридором. Горела единственная лампочка вполнакала. Гертруда Иоганновна еще не понимала, что их всех арестовали — и ее, и Флича, и Федоровича, и танцовщиц, и дежурного администратора — пожилую женщину.

Всех вывели в вестибюль. Там было много народу. Из ресторана санитары выносили на улицу носилки. Офицер велел всем построиться. И тут она увидела белый колпак Шанце. Повар стоял у стены, держа в руке оплывающую свечу, прикрывая ее ладонью. Свет падал на его лицо. Обрезанное сверху колпаком, оно казалось темным, морщины глубокими, тень от носа перерезала подбородок.

Она остановилась.

— Простите, господин офицер. Моя гостиница — большое хозяйство. — И, не дожидаясь разрешения, обратилась к Шанце: — Господин Шанце! Присмотрите за гостиницей, я скоро вернусь. Присмотрите за Петером. Он заперт у себя. И присмотрите за водопроводчиком, чтобы не напивался на работе. Иначе придется пожаловаться его хозяину господину Захаренку!

— Слушаюсь, фрау Копф. Не беспокойтесь. Присмотрю.

Понял Шанце ее или не понял? Бо́льшего она сказать ему не могла. Да и офицер торопил.

Ее продержали до утра в кабинете Гравеса. Она там бывала несколько раз. Правда, тогда у дверей не стоял часовой.

Потом ее увезли в тюрьму. Возили на допросы. Потом и допросы прекратились. О ней словно забыли.

Она не знала, что с Петером. А вдруг и его арестовали? И мучают? Где Флич? Ему, наверное, хуже всех. Дознаются, какой он «француз»...

Гертруда Иоганновна, как заведенная, бродила по камере от стены к стене, от двери к окну, измученная одиночеством и неизвестностью, измученная бессилием, невозможностью помочь кому-либо из близких и даже самой себе...

«Иван, когда же ты придешь, Иван? Найдешь ли след мой на земле? Поймешь ли, как я люблю тебя, как ты дорог мне? Поймешь или осудишь, за то, что не сберегла детей, была им плохой матерью, допустила, чтобы Павлика увезли в Берлин... Даже если я погибну здесь, очень важно, Иван, чтобы ты знал: я жила по совести. Иначе не могла. Мы всегда все делили поровну: и хлеб, и манеж, удачи и промахи, радость и слезы — все пополам. Я не могла не взять половину твоей тяжкой ноши. Ты воюешь и я воюю. Как могу. Как велит сердце. Я не потеряла кураж, Иван. Нет.

Не потеряла! Еслн тебе скажут, что я продалась фашистам за похлебку,— не верь, Иван! А ведь скажут, весь город скажет...»

Громыхнул дверной засов.

— Арестованная, на свндание.

— Что?

— Вам разрешено свнданне. Десять мииут.

— Петер?.. — сердце сжалось в комок.

— Побыстрее, — пронзнесла равнодушно иадзнратéльннца.

«Побыстрее». Да еслн бы у нее были крылья!

Она рваиулась с места н выскочила в корндор.

— Помедленней, — усмехнулась надзнрательннца. Ох, уж этн арестоваиные. Эта, вндать, важная шншка. Держат в отдельиой камере, велено выпускать в нужник. И ие бнлн нн разу.

Гертруда Иоганновна шла по гулкнм камениым плитам, заложнв рукн назад, как предпнсывают правила внутреинего распорядка, а сердце ее, казалось, выскочнло нз грудн и умчалось вперед, туда, где ждет Петер.

Но это был не Петер. В пустой комиате у маленького грубого столнка сндел фельдфебель Гуго Шанце. Когда вошла Гертруда, он встал.

— Здравствуйте, фрау Копф.

— Здравствуйте, Гуго...

— Свнданне десять мннут. Передачу после проверки можио взять с собой в камеру, — сказала надзирательинца н уселась за тот же столик.

Шанце стоял и смотрел на Гертруду Иоганиовну. Как она изменилась, осуиулась, пожелтела. Тюрьма не краснт.

И она стояла и смотрела на Шанце. На его длннный мнлый нос, свнсающнй на подбородок, на глаза, в которых пряталось сострадание.

— Как пожнваете, Гуго?

— Хорошо, фрау Копф, спаснбо. Кухню прибрали. Готовнм. Кормим господ офицеров прямо в коридоре. Столнкн, которые уцелели, там поставили. Ресторан-то, ироды, разворотили — по сей день жутко смотреть.

— Большне убытки?

— Большне. От господнна Доппеля пнсьмо нз Берлнна. Я уж, нзвнннте, вскрыл. Беспокоится господин Доппель, счетов нет.

— А Пауль?

— В порядке. Обжнлся, пишет.

Надзнрательинца вскрыла пакет, прнпесеиный Шанце. Кура жареная. Хлеб. Котлеты. Свежне огурцы. Жнвут же люди! Она непрнязненно разломнла хлеб пополам.

— Недозволениого ннчего нет? Запнсочек какнх, оружня.

— Помнлуйте, милая фрау! — Я — фельдфебель вермахта велнкой Германнн, — обнделся Шанце. — Шеф-повар гостнннцы фрау Копф. Я самого генерала Клауса фон Розенштайна кормнл!

— Я ннчего плохого не подумала, господнн фельдфебель. Порядок!

— Где Петер? — спроснла Гертруда Иоганновна.

— А кто его знает... Со страху сбежал вместе с собакой. — Шанце подмигнул. — Найдется. И этот пьяннца, водопроводчнк сбежал, сукин сын. Так трубы н не доделаны. Хотел было хозянну его пожаловаться, как вы велелн.

— Пожаловалнсь?

— Какое! Замок иа мастерской. Все они, русскне свнньн, такие: как

деньги вперед, так тут как тут, а как отработать — его и след простыл. Всех бы их на веревочку нанизать, камень прицепить да в реку. Скушали бы котлетку, госпожа надзирательница. С продуктами-то нынче не очень. Я вам завтра еще принесу. Такой даме надо цвет лица оберегать!

— Спасибо, господин фельдфебель, — надзирательница улыбнулась. — Я завтра не дежурю.

— Я и послезавтра принесу. Разрешено госпожу Копф кормить от ресторана.

Значит, Захаренок и Каруселин успели уйти. Петера, вероятно, спрятал Шанце. Уж очень у него хитрый вид. Ах, Шанце, Шанце... Милый мой повар. Пока живы такие, как вы, — жива Германия, настоящая Германия, без коричневой чумы.

— Спасибо, Гуго. Я попрошу доктора Доппеля похлопотать. Вы достойны чина обер-фельдфебеля.

— Рад стараться, госпожа Копф! — Шанце по-военному щелкнул каблуками. Он понял, что она хотела сказать.

— Десять минут прошло, — неуверенно сказала надзирательница. — Но если вы хотите....

— Никак нет, госпожа надзирательница. Порядок есть порядок.

Гертруде Иогановне очень хотелось спросить Шанце: не знает ли он о Фличе? Но она не спросила. И так сказано слишком много.

— Спасибо, Гуго. Я полагаю, что недоразумение скоро разъяснится. Я вернусь, и мы с вами примемся за восстановление нашего дела. Приведем в порядок ресторан.

— Непременно, госпожа Копф.

Гертруда Иогановна заложила руки назад и пошла обратно в камеру. Сапожки надзирательницы стучали позади.

Через несколько минут она занесла в камеру ровно половину котлет, хлеба, курицы и огурцов. У нее было виноватое лицо.

— Вы уж извините, фрау Копф. Нас там трое.

— Ешьте на здоровье.

— А я принесу вам кофе, который пьем мы! — сказала надзирательница со значением. — И если вы утомились — можете прилечь. Я ничего не вижу.

Гертруда Иогановна кивнула.

— Благодарю вас, госпожа надзирательница.

Ах, какие это были котлеты! Шанце — чудодей!

Она ждала его все следующее утро и бесконечный тягучий день. И вздрагивала, когда гремел засов и отворялась дверь. Но принесли обычный завтрак. Потом суп из брюквы. Она хотела было спросить, не приходил ли кто к ней. Но поняла, что спрашивать глупо. К супу она не притронулась, доела курицу с огурцом. Желудок отвык от нормальной пищи, стал тяжелым, ее клонило ко сну, но лечь она не решилась — дежурила другая надзирательница.

Вечером снова загремел засов. Гертруда Иогановна сидела на нарах и даже головы не повернула, только поднялась и стояла, безучастно глядя в стенку.

— Идемте, арестованная.

— Свидание? — встрепенулась она.

Надзирательница посмотрела на нее удивленно.

— С вещами.

Нкаких вещей у Гертруды Иогаииовиы ие было. Как забрали ее в вечерием коицертиом платье, так она в ием и просндела все время. Платье помялось, потускиело.

Привычио сцепнв руки за спниой, она вышла из камеры. Туфли-лодочки иа высокнх каблуках отстукнвалн шаги.

В комиате, где вчера состоялось свндаине с Шаице, иадзирательиица передала ее двум молчаливым эсэсовцам. Одии из инх расписался в какой-то амбариой кнnге.

«Уводят из тюрьмы», — поняла Гертруда Иоганиовиа. Из тюрьмы могли увести иа допрос, в коицеитрациоииый лагерь, в другую тюрьму или иа казиь. Еще вчера утром оиа чувствовала себя такой усталой и несчастиой, так подавлеииой иеведеиием и одниочеством, что равиодушио пошла бы куда угодио. Хоть иа казиь. А сегодия ей хотелось жить. Петер ие у иих. И товарищн успелн уйти. И Иваи где-то воюет. Надо жнть. Надо бороться.

В зиакомом кабииете покойиого штурмбанфюрера за пнсьмеииым столом сидел мужчииа в коричиевом штатском костюме и рябом галстуке. Ои поднялся, когда ее ввелн, вышел из-за стола, вежливо поклоиился, показав лыснну, прнкрытую у лба тщательно зачесаииой прядью.

— Здравствуйте, фрау Копф. Надеюсь, вы здоровы?

— Благодарю вас.

Гертруда Иогаииовиа внутрение собралась. Маиеры штатского не похожн иа маиеры допрашивавших ее до снх пор офицеров. И взгляд приветлив. Впрочем, оиа артистка и видела, как улыбаются, когда плакать хочется.

— Витеиберг, — представнлся штатский. — Прошу вас. Прнсаживайтесь. Он пододвниул ей стул, а сам сел иа такой же иапротнв, как бы подчеркиув доверительиость беседы.

И это оиа уже видела. Что-то прнвлекло ее винманне, что-то иеобычное. Оиа украдкой огляделась. Ага. Возле двери, за маленьким столнком сидит невзрачиый человечек иад стопкой бумаги, а возле стонт стакаи с оттточеииыми караидашами. Человечек так тнх и иеприметеи, словио прииадлежит к мебели н сидит здесь вечио.

— Вам большой прнвет от доктора Доппеля.

Гертруда Иогаииовиа посмотрела иа Витеиберга иедоверчиво, уж очеиь иеподходящее место для передачи приветов.

— Ои миого рассказывал о вас. — Внтеиберг ие обратил виимання на ее иедоверчивый взгляд. — Много весьма лестиого. Не скрою, мне было приятио слушать. Мие поручеио заииматься делом о взрыве в ресторaие вашей гостнннцы. Я позиакомился с матерналами предварнтельиого дозиания. Навел кое-какне справки. Полагаю, вы поинмаете, что вас арестовалн ие случайио.

Хорошо, что оиа собралась внутреиие и может скрывать свои чувства и мыслн. Только бы не задрожали руки.

Она положнла руки иа колеии и сцепила пальцы, жест человека, который готовится к длнниому разговору. Ничего больше.

— Надеюсь, вас ие подвергали жестким допросам.

Оиа вспомиила человека, которого тащилн по коридору за руки.

— К сожалеиию, ннога приходится примеиять на допросах разлнчные методы, донскнваясь нстиiы. Преступиикам пснхологнчески свойствеиио скрывать нстнну, поскольку оиа их изобличает. А нзобличение ведет к иаказанию.

Витенберг смотрел на Гертруду Иоганновну приветливо: мол, я рассказываю вам все это, чтобы вы меня правильно поняли. А она внутренне содрогнулась. Но ничем не выдала себя.

— Очень сожалею, что пришлось доставить вам несколько неприятных недель. Вы ведь не впервые были в тюрьме?

— Да. Меня сажали туда большевики. — Она не узнавала своего голоса.

Витенберг довольно кивнул.

— Вчера вечером я беседовал с фельдфебелем Шанце...

Держаться, держаться во что бы то ни стало!.. В ушах родился назойливый звук, словно кто-то нажал на кнопку дверного звонка и не отпускает. И сквозь этот звон доходили до нее мягкие приглушенные слова.

— Симпатичный, хотя несколько странноватый. Вы не находите?

Гертруда Иоганновна коротко кивнула.

— Он очень предан вам. И прекрасный специалист. Угощал меня такими котлетами! — Витенберг неожиданно встал. — Рейхсфюрер СС Гиммлер...

Гертруда Иоганновна тоже встала, неосознанно, просто что-то подняло ее.

— ...рассмотрел обстоятельства дела, счел вас не имеющей к нему отношения и приказал извиниться перед вами. Вы — свободны.

У нее подкосились ноги, она села бы мимо стула, если бы Витенберг не поддержал.

— Ну зачем же так волноваться, фрау Копф! Все позади. Надеюсь, вы не в обиде на наших людей. Они выполняли свой долг. Очень жаль, что так нелепо погиб штурмбанфюрер Гравес.—Витенберг вздохнул.—Недоразумения не получилось бы. Вас отвезут в гостиницу. А завтра я навещу вас.

Новая ловушка? Гертруда Иоганновна встала, ее чуть пошатывало.

Витенберг предложил ей руку. Она оперлась на нее. Они спустились вниз. Витенберг предупредительно открыл дверцу легковушки, помог сесть. Гертруда Иоганновна выкрикнула:

— Хайль Гитлер!

На это у нее еще хватило сил.

— Хайль! — откликнулся Витенберг.

И машина побежала по темным вечерним улицам.

4

Генерал-майор Зайцев очень жалел, что его дивизию не перебрасывают на юг, хмурился, ходил по избе кругами.

Бессменный адъютант капитан Синица сидел на крыльце, подтянутый, в скрипящих ремнях и по своей извечной привычке зорко просматривал улицу вправо и влево: а не грозит ли его генералу какая-нибудь опасность? Хотя какая опасность может грозить генералу в штабе дивизии, здесь и орудий не слышно. Затишье.

Генерал не в духе, не любит, когда воюют без него. Ему бы в самую гущу, ему бы фашистов бить!

Подошла чужая «эмка», верно, из штаба фронта: армейских шоферов капитан знал почти всех в лицо.

Из «эмки» вылезли майор и двое штатских — парень и девушка.

Сииица встал и вежливо козыриул. Майор потоптался иа месте, размииая иоги. Штатские озирались.

— Хозяйство Зайцева? — спросил майор.

— Так точио.

— А где хозяии?

— Как прикажете доложить?

— Майор Голеиков из штаба фронта.

— Присядьте, — вежливо показал иа ступеиьки крыльца Сииица и ушел в избу, докладывать. Вериувшись, пригласил приезжих войти.

Майор сделал зиак штатским, чтобы садились, а сам вошел в избу.

Парень и девушка пристроились иа сыром крыльце, сидели молча. Синица тоже вопросов ие задавал, только поглядывал иа иих ие без любопытства.

Долговязый пареиек с лицом, не знавшим бритвы, постучал костяшками пальцев по ступеиьке. Девушка засмеялась.

«Чего это оиа?» — удивился Сииица.

Девушка тоже постучала костяшками пальцев по крыльцу.

Долговязый улыбнулся.

Синица догадался:

— Радисты, что ли?

— По-всякому, — ответил пареиек.

Синица рассердился на себя за то, что задал вопрос. Оии приехали, оии пусть и спрашивают. А ои дома.

Так и сидели молча. Только Сииица больше ие поглядывал иа приезжих, чтобы ие роиять достоииства.

Из двери выгляиул майор, долго же с иим генерал разговаривал!

— Заходите, ребята. И вас, товарищ капитаи, хозяии просил зайти.

Сииице поиравилось, что майор отделил его от этих. Уважительио.

Зайцев сидел за столом без кителя, в белой иательиой рубашке. Муидир висел иа спиике стула. Поблескивала Золотая Звезда Героя. Перед иим лежала исчерчеииая цветными лиииями карта, а рядом иесколько остро отточеииых караидашей. Геиерал никому ие доверял точить свои карандаши, работа эта помогала ему думать.

— Здравствуйте, садитесь. Сииица, старшего лейтеиаита Лужииа!

— Есть. — Капитан четко повериулся по-уставиому и вышел.

Генерал оглядел присевших на лавку у окиа штатских и улыбиулся.

— Одиако вы еще ие очеиь старые. Тебе сколько? — спросил ои долговязого.

Тот покрасиел, встал.

— Скоро восемнадцать, товарищ геиерал-майор.

— Гм... У меня в восемиадцать уже кое-что было над губой.

— Ои очеиь способный, товарищ генерал-майор, — сказала девушка. — Его еще в детстве Эдисоиом прозвали.

— Смотри-ка, еще в детстве! Давио-о... Откуда родом?

— Из Гронска, товарищ генерал-майор.

— Из Гроиска... — задумчиво повторил Зайцев. — Бывал... — И отчетливо вспомиил малеиькую быструю речушку, деревяииые перила моста. Изрытый траншеями берег. Тяжелые были бои. Тогда ои комаидовал полком. Был еще молодым. А теперь ощущает тяжесть возраста? Или устал? Не-ет, ои еще повоюет!.. — Бывал, — повторил Зайцев и иеожиданио спросил: — Обедали?

— Не успели, товарищ генерал, — ответил за всех майор.

В дверь постучали.

— Да.

— Разрешите, товарищ генерал-майор? — на пороге появился старший лейтенант, с аккуратно перетянутой ремнем талией, в ладно сидящих сапогах, со Звездой Героя и орденом Ленина на гимнастерке. — Старший лейтенант Лужин прибыл по вашему приказанию.

— Здравствуй. Садись.

Лицо старшего лейтенанта было чуть перекошено, правую щеку пересекал розовый рубец.

Долговязый паренек удивленно всматривался в него. Старший лейтенант посмотрел на штатских спокойно.

— Такое дело, Иван Александрович. Группа идет в тыл. Надо будет переправить через фронт. Где, полагаешь, удобней?

Старший лейтенант подумал, прежде чем ответить, потом сказал:

— У Савушкина, товарищ генерал.

— У Савушкина, — удовлетворенно повторил Зайцев. — Разумно. — Забирай ребят, накорми получше. Запас выдай на дорогу, путь у них не близкий.

— У нас все есть, товарищ генерал, — сказала девушка.

— Молода еще, в Испании не была, — засмеялся генерал. — Запас кармана не дерет. И чтобы все в ажуре, Лужин. Знаю я вашего старшину. Жмот!

Старший лейтенант скривил губы, такая у него была улыбка.

— Обижаете, товарищ генерал.

— Кто вас обидит, тот трех дней не проживет. А я собираюсь дотянуть до победы! — Зайцев подошел к долговязому пареньку. — Ну, желаю удачи, Эдисон! — А когда они были уже в дверях, крикнул вдогонку: — Ни пуха!

Они остановились, растерянные: ну как пошлешь генерала к черту?

— К черту, — сказал за всех старший лейтенант.

В избе, где расположились разведчики, было пусто, тихо и чисто. Намытый пол, выскобленная столешница, на стене рядом с подбором выцветших фотографий под стеклом висел боевой листок.

Старший лейтенант велел располагаться и вышел. Ребята уселись на лавку у стола. Майор остановился возле застекленных фотографий, долго молча рассматривал их. Потом вздохнул, сказал, ни к кому не обращаясь:

— Жили люди. Детей растили...

Красноармеец принес три плоских котелка, накрытых крышками, молча поставил на стол. Положил кирпичик хлеба, нож, ложки.

Вернулся старший лейтенант.

— Что ж вы, гости? Кушайте. Может быть, водки?

Долговязый замотал головой.

— Не употребляем.

Майор тоже присел к столу. Дружно сняли крышки с котелков. Запахло борщом так по-домашнему, что девушка втянула в себя воздух и зажмурилась. Борщ чуть простыл, но был густым, с кусками мяса, и гости ели с удовольствием.

Старший лейтенант Лужин довольно наблюдал за ними и вдруг припечалился, вспомнил сыновей Петра и Павла. Где-то они? Сыты ли? Он уж и в Москву писал, в управление цирками. Ответили, что никаких сведений

об артистах Лужииых ие имеют. Одио утешение: ребята не одии остались. С матерью, да и товарищи ие бросят.

— Товарищ старшнй лейтенаит, а где блнзиецы ваши?

— Что? — Лужии иедоумеино посмотрел иа долговязого паренька. Надо же, мысли прочел.

— Я вас сразу узиал, товарищ старший лейтенаит, хоть н переменнлись вы. Не помиите меия? Серега Эднсои. В Гроиске мы к вам иа репетицию прнходили.

— Да-да... — Лужии вспомннл маиеж и своих мальчишек иа лошадях. На какое-то мгиовеиие сердце сжалось в тоске. Ои ие позволял себе думать о мальчнках и Гертруде. Важиая и опасная работа разведчика, миожество забот отвлекали, вытесняли из головы семью. Но оиа оставалась в сердце вечиой глухой болью. — Да-да... Помию. — Ои улыбиулся своей иовой скошеииой улыбкой. — Кочуют где-то. Ты давио их видел?

— Давио-о!.. Еще иемцев ие было.

— Ну что ж, отдыхайте пока. К вечеру двниемся. Машииа будет в восемиадцать иоль-иоль. Вы, товарищ майор, с иами?

— Провожу до лииии фроита.

Лужии кивиул.

— Если вам больше иичего ие надо, я пойду. Тактическне заиятия.

— Спасибо, товарнщ Лужии.

Когда Лужнн ушел, тот же красиоармеец, что прниес котелки, расстелил иа полу в углу иесколько одеял, положнл подушки.

Ребята улеглись и притихли. Майор вышел иа крыльцо покурить.

— Эдисои, ты откуда старшего лейтеиаита зиаешь? — спросила девушка.

— Я с его сыиовьямн в одиом классе учнлся. Оии артисты, вольтнжеры иа лошадях. Ох, и лошадки у иих былн! Мальва и Дублои. А мальчишки до того похожи друг иа друга, что родиая мама их путала.

— Мама ие спутает, — сказала девушка.

— Ну, может, мама и ие путала, а мы путали. Каждый раз спрашнвали: ты кто, Петр или Павел?

Вериулся майор, сказал тихо н строго:

— Спать, герон.

Эднсоиу сиилась проволока, желтая, тоикая, блестящая, она скользила в пальцах бескоиечиой иитью. Остаиовить бы проволоку, выпустить из пальцев!.. Да иельзя!..

Серега просиулся мгиовеино, открыл глаза, ио ие шевельиулся. Рядом сладко посапывала девушка, прядь светлых волос прнкрыла белый лоб щекн порозовели, чуть прнпухлые губы выпячеиы, словио кто-то ее обидел. Может, тоже видит во сне проволоку? У каждого своя проволока... Взять бы и поцеловать!.. Серега устыдился этой виезапиой мысли. Черт те что в голову вскакнвает! Ои и целовался-то всего одии раз. Зимой. Провожал девчоику из театра.

...Опять сиится проволока. Который раз!.. Ои столько перемотал ее иа заводе с больших тяжелых бухт иа деревяииые бобины. И ие просто перемотал, а пропустил сквозь собствеиные пальцы. Иначе как заметншь брак? Только иа ощупь. Рванет заусеиица по подушечке — стоп машнна. Отматывай иазад. Проволока дефицитиая, ндет иа авназаводы... Может, от проволоки этой не одиа жнзиь зависит и ие одна победа в бою.

Летом куда ни шло, а зимой тяжело. Цех развернули в старом огромном кирпичном здании, бывшем паровозном депо. Потолка не было, сразу крыша, огромные застекленные рамы, кое-где забитые кусками фанеры, почерневшие от копоти. На цементном полу — рельсы. В ворота могут въехать сразу два паровоза. Как ни закрывай, ни законопачивай — мороз щелочку найдет. Работали в синих халатах поверх ватников и зимних пальто. Хорошо, если валенки есть!

Который раз проволока снится, как наваждение! Из-за нее, из-за этой проволоки он чуть в беду не попал. Подобрал в цеху бракованный кусок, смотал и в карман сунул. Пригодится на обмотку для приемника или еще для чего. Радио — его страсть. И торчал кончик проволоки из кармана. В проходной стрелок остановил, дядя Вася, тощий как Кощей старик с узким длинным лицом и бесцветными, близко посаженными глазами без выражения, как у слепого. Остановил, потянул за кончик проволоки, буркнул:

— Отойди в сторонку.

Он спервоначалу и не понял: зачем в сторонку отходить? Мимо шли со смены усталые люди, а он стоял в сторонке, пока начальник охраны, женщина в железнодорожной шинели и суконной ушанке не взяла его за плечо и не отвела к себе в маленькую комнатку возле проходной, где жарко топилась чугунная времянка, черная труба которой выходила прямо в форточку. Начальница неторопливо развязала на подбородке тесемки, сняла ушанку, пригладила ладонью реденькие светлые волосы.

— А ну доставай.

— Чего? — не понял он.

— Проволоку.

Он вынул из кармана тощий моток, положил на стол.

— Еще чего есть?

— Больше ничего.

— Тащим, значит, — сказала она тусклым простуженным голосом. — На барахолку.

— Да это ж брак! — возмутился он. — Брак! И не на барахолку. Приемник делать.

— Комсомолец? — спросила начальница.

— Ну, комсомолец.

— А государственное имущество растаскиваешь. Один — моточек, другой — моточек. Что ж получится? Не первый раз поди!

— Второй, — сказал он прямо. — И тогда брак взял.

Начальница очень удивилась, что он вот так сразу сам сознался, что не первый раз выносит проволоку. Усмехнулась.

— Да ты отпетый! Как фамилия-то?

— Ефимов.

— Вот так, Ефимов. Судить бы тебя надо, но поскольку ты малолетка и сам признаешься, протокола составлять не буду. — Начальница сняла телефонную трубку, попросила комитет комсомола. — Товарищ Ладыжников? Начальник охраны вас беспокоит. Такое дело: тут кое-кто из комсомольцев завод растаскивает... По проволочке... Если все тащить будут, сами понимаете... Конкретно? А конкретно гражданин Ефимов. — Она закрыла трубку ладонью. — Ты из какого цеха?

— Из обмоточного.

— Из обмоточного Ефимов... Здесь... Хорошо. — Начальница положи-

ла трубку и посмотрела на Серегу строго. — Вот так. Иди в комитет комсомола к самому комсоргу. Понял?.. Там и отвечай. И проволочку захвати. Похвастаешь.

Пришлось идти.

Комитет комсомола делил помещение с завкомом. Два одинаковых канцелярских стола, два одинаковых несгораемых шкафа, на стенах — похожие одна на другую диаграммы.

В комнате плавал махорочный дым. Это комсорг Ладыжников смолил очередную козью ножку. Он их скручивал одной левой, правую кисть потерял в боях под Москвой. Маленькую цигарку ему было не скрутить, не привык еще. А попросить кого-нибудь — стеснялся. Дым от его козьей ножки валил, как из трубы паровоза. Рядом с ним две девушки старательно рисовали что-то на листе оберточной бумаги.

Серега остановился в дверях.

— Заходи, чего стоишь, — окликнул Ладыжников. — С чем пришел?

Серега подошел к столу и молча выложил моточек проволоки.

— Ну и что? — не понял Ладыжников.

— Звонили, — скучно сказал Серега.

— Ага, ты — Ефимов из обмоточного.

Серега кивнул.

Комсорг повертел в руке моточек. Пожал плечами.

— Зачем тебе это?

— Брак, — сказал Серега, — на полу валяется. А я катушку для приемника намотать хотел.

— Для какого? — спросил Ладыжников.

— Детекторного. Лампы где достанешь?

Комсорг посмотрел на него с любопытством. Девушки хихикнули.

— И ничего смешного, — сказал Серега.

— Это точно. Ничего смешного. Радио увлекаешься?

— Еще со школы. У меня и прозвище — Эдисон.

— Ну да?.. — удивился Ладыжников. — Погоди-ка, — он открыл ящик стола, извлек оттуда папку, придавил ее культей к столу, чтобы не ерзала, перелистал несколько страничек. — Вот приказ тут: «Премировать Ефимова С. за рацпредложение — дополнительный ручной привод». Не про тебя?

— Ну...

— Ефимов, Ефимов, ну что с тобой делать?

— А ничего, — вздохнул Серега. — Домой пойду.

— Ты больше сам ничего не бери. Хоть и брак. На заводе порядок должен быть. А уж если чего понадобится — попроси. Что, тебе начальник цеха куска проволоки не даст для дела?

— Больше не возьму.

— То-то... Слушай, Ефимов, у девчат во втором общежитии радио не работает. Может, починишь, раз ты любитель?

— Не знаю.

— А ты сходи. Прямо к коменданту. Скажи — Ладыжников прислал.

— Ладно.

Радио он починил. Там и делать-то было нечего. Прозвонил — обыкновенный обрыв. Потом принес Ладыжникову в комитет детекторный приемник, Москву слушать. Потом его послали на курсы радистов Осоавиахима, раз он любитель. Потом подал заявление в военкомат, прибавил себе два

года. Проверять не стали, ростом и обличьем он выглядел старше своих лет...

И когда ж перестанет сниться эта проклятая проволока!

Скомандовали подъем. Ребята быстро и бесшумно поднялись. Майор еще раз проверил вещмешки. У Вали вытащил духи. И где она их только раздобыла?

— Излишняя роскошь, товарищ. Откуда у простой деревенской девчонки такая городская вещь? А?

А может, ее и не Валя вовсе зовут. Вот он теперь не Ефимов, а Николаев или попросту Эдисон.

Линия фронта представлялась Сереге очень грохочущей, вздыбленной снарядами, пропахшей пороховым дымом. А была черная густая тишина, и только изредка распарывали ее красные и зеленые светлячки трассирующих пуль. Они появлялись из темноты и исчезали в темноте, словно крохотные кометы.

Майор и старший лейтенант Лужин распрощались с ребятами. Трое разведчиков повели штатских в темноту. Шли долго и молча. Потом разведчики остановились.

— Ну вот. Теперь топайте по компасу. На запад. Чем дальше уйдете до рассвета — тем лучше.

Серегу так и подмывало спросить: а где же линия фронта? Но спрашивать было глупо, и он смолчал.

5

Осень подступила незаметно. Все чаще и чаще хмурое небо опрокидывалось на берлинские крыши дождями. Панели и мостовые тускло блестели. Пузырились мелкие серые лужи. Глухо журчала вода в решетках водосточных люков. На улицах черными поганками вырастали зонтики над головами прохожих. Но было еще тепло, и Павел щеголял в светлом габардиновом плаще и такой же кепке. Их выбрала фрау Анна-Мария в магазине готового платья, что за сквером.

Матильда убралась в пансионат фрау Фогт и приезжала только по субботним вечерам.

Павел начал ходить в школу. Доктор Доппель подарил ему портфель, большой, черный, с латунными застежками и серебряной монограммой — переплетенными двумя «Д». В нем Павел носил учебники, тетради и непременный завтрак — два тоненьких ломтика хлеба, намазанных маргарином и яблочным джемом.

По поводу монограммы было в классе много острот.

— Дубовая дубина!

— Действительно дурак!

Павел притворился тупицей и спокойно разъяснил:

— Два «Д» — значит «доктор Доппель». Он отдал мне свой портфель.

— А собственного у тебя нету? С чем же ты ходил в школу раньше?

— Он истрепался, — выкрутился Павел. Не объяснять же, что у них с братом был один портфель на двоих и они прекрасно обходились, нося его по очереди. — Изодрался. Мы играли им в футбол, вместо мяча.

Тотчас кто-то подхватил портфель, бросил на пол, чья-то нога ударила по нему. Портфель заскользил по полу и шмякнулся в стену под грифельной доской.

Вообще-то школа была похожа на все школы, в которых он учился, — тот же гвалт на переменках, мелкие стычки, возня. И все же она была другой. Где-то в глубине, почти не вырываясь на поверхность, шла необычная странная жизнь, которую Павел пытался понять, но не мог.

Ни с кем из учеников он близко не сходился. Учителя считали его прилежным, но несколько туповатым, соученики — необщительным и задравшим нос из-за своей мамочки и доктора Доппеля.

Никто в классе не знал, что он из Советской России. Доктор запретил ему откровенничать с кем бы то ни было.

— Для твоего же блага, — сказал он, напутствуя Павла в школу. — Умный человек должен уметь не отличаться от других. Окружающие должны быть уверены, что он такой же, как они. Понимаешь? Тогда они перестают контролировать самих себя. И умный может извлечь из этого немалую выгоду. А если они заметят, что ты не такой, как они, видел и знаешь больше, насторожатся. Начнут к тебе присматриваться. А это — только проигрыш, мой мальчик. Только проигрыш!

— А если спросят, кто мой отец? — спросил Павел.

Доппель нахмурился.

— Скажи им, что он пал смертью храбрых за Родину. Ведь это не будет ложью?

Павел представил себе, какими станут лица ребят в классе, если он им скажет: «Мой папа — Герой Советского Союза младший лейтенант Лужин».

— И про маму говори правду: владелица гостиницы для господ офицеров. А что ты родился в России и работал в цирке — им знать ни к чему. Начнут задавать лишние вопросы — придется выкручиваться. Не подводи маму, она в тебя верит.

Павел не собирался подводить маму и не рассказывал о себе в школе не потому, что так велел доктор Доппель. Самому не хотелось. Пусть принимают его за Пауля Копфа. Он — Павел Лужин, артист советского цирка. Мозги у этих ребят наперекосяк. Вот в чем суть. Мысли, разговоры, желания у них стандартны: фюрер, великая Германия, священный долг, мы — немцы — избранная раса! Эрзац-мозги. Он сравнивал здешних ребят со своими ташкентскими друзьями, с ребятами из Гронска. Ржавый, Злата, Толик-собачник, Серега Эдисон... Это же личности — человеки!.. У каждого свое призвание, своя страсть, своя мечта. И главное, в каждом бьется доброе сердце. Не для себя, для всех. Они греют друг друга. И он, Павел, ощущал это тепло. А здесь он чувствует себя брошенным в ледяное неподвижное озеро, покрытое серо-зеленой ряской.

Здесь вырастают Гансы, смотрящие сквозь тебя глазами-ледяшками. И ласковые щуки Доппели, и Гитлеры, и Гиммлеры... А на дне озера живет Вечный Страх. Он здесь настоящий хозяин. Он — всюду, он многолик. Он заставляет учителей говорить на уроках медленно, готовыми круглыми фразами, чтобы никто не смог истолковать какое-либо слово иначе, придать ему иной смысл. Они, наверное, и дома думают и говорят с опаской. Это страх заставляет писать доносы на соседей и отрекаться от собственных родных. Это страх формирует эрзац-мозги.

Вот скрытая жизнь школы, которую Павел не может понять.

Обо всем этом он думает только в своей комнате, заперев дверь. Об этом никому не скажешь. Иногда он ловит себя на мысли: а не поселился ли и в нем вездесущий страх? Ведь он, как микроб, влезает в организм и начинает точить его.

Нет. Он не боится. Просто трудно. Очень трудно.

Ах, как не хватает Петра! Они бы поговорили обо всем перед сном, лежа в темноте, когда не видишь лиц друг друга, а только ловишь неторопливое слово, вздох, смешок, молчание...

Удивительно: прожили бок о бок с рождения, а ведь никогда раньше не задумывался: что они друг для друга? Брат и брат... Никогда не расставались, потому вроде и не отличали особо друг друга. Вместе выходили на манеж, вскакивали на лошадей, крутили сальто-мортале, «арабские колесики», «кульбиты». Поровну делили радость зрительских аплодисментов, и мамины шлепки, и папины нотации. Один портфель на двоих. Тренировки — вместе. Однажды даже болели на пару. Скарлатиной.

А вот увезли в эту проклятую Германию, и так не хватает Петра! Словно часть самого себя оставил в Гронске...

Больше всего класс боялся инструктора по военной подготовке однорукого Вернера. Черная повязка наискось прикрывала его левый глаз. Говорили, что он потерял руку и глаз под Москвой. Его узнавали на слух, он не шел, а впечатывал кованые армейские сапоги в пол, не говорил, а лаял громко, короткими фразами, словно отдавал команды. На его занятиях тянулись, молчали и трепетали.

Павел вместе со всеми с удовольствием разбирал и собирал оружие. Пригодится. И только на практических стрельбах нарочно стрелял в «молоко».

— Копф! Не заваливать мушку! Тверже локоть! Дубина!

— Есть, господин инструктор, не заваливать мушку, тверже локоть, дубина! — звонким голосом повторял старательно Павел.

Раздавался смешок.

— Тихо! — рявкал Вернер, и наступала тишина. — Ты представь себе. На тебя идет русский. Сейчас он тебе влепит пулю. В лоб. Опереди. Целься. Огонь!

Павел аккуратно целился и посылал пулю в «молоко». Вот если бы вместо мишени стоял инструктор Вернер, он бы всадил ему пулю точно в глаз, в тот самый глаз, которым он видел через бинокль Москву. И не промахнулся бы, не зря же он — «Юный ворошиловский стрелок».

— Недотепа! Тупица! Он тебя убил! — взрывался Вернер.

— Русские так хорошо стреляют? — спрашивал Павел с деланым огорчением.

— Русские — трусы! Видят дуло немецкого автомата — закрывают голову! Падают на землю!

— Тогда я еще живой, господин инструктор!

— Заткнись!

Уж Павел знал, как стреляют русские. Его папа в цирке обрезал из «мелкашки» нитку, на которой висели воздушные шарики, и те, под аплодисменты зала, улетали вверх, под самый купол! Был у них такой трюк.

В коридоре второго этажа, возле кабинета господина директора висела большая карта Европы, вся издырявленная иголками с флажками. Инструктор Вернер считал себя большим стратегом и часто подводил класс к карте. Флажки широко раскинулись по просторам России. И только

в центре отодвинулись на запад, дырочки от иголок остались в точках городов, как незаживающие раны.

— Наши доблестные войска ведут бои в самом центре России. В Сталинграде. На юге они продвинулись до Главного Кавказского хребта. Осталось всего ничего. Гений фюрера приведет нас к Баку. Там — нефть. Мы выбросим русских за Волгу. И будем гнать их до самого Урала. Вот сюда. — Вернер тянул руку с указкой на восток, показывая, куда загонят русских. Потом кричал:

— Хайль Гитлер!

— Хайль! — дружно гаркал класс.

— Вопросы?

Кто-нибудь подымал руку.

— А почему мы не пойдем дальше Урала?

— Я не говорил — не пойдем. Я изложил ближайшие перспективы.

— Понятно, господин инструктор.

А Павел смотрел на маленький кружок — Гроиск. Он был по западную сторону флажков. И там были мама, Петр, Флич, друзья.

Последнее время флажки на карте топтались на месте.

— Русских добивают, — разъяснил Вернер.

Наивный Павел спросил:

— Господин инструктор, покажите, до какого места вы дошли?

— Вот, — гордо произносил Вернер. — Почти Москва. — И он тыкал указкой восточнее красных флажков.

У Павла чесался язык сказать: почти Москва. И тут — почти Сталинград, и почти Кавказ!.. Но он молчал. Всякое сомнение наказывалось, как пораженческие настроения. Здесь не говорили правду о войне. Здесь только кричали «Зиг! Хайль!». А всякая неудача на фронте прикрывалась стратегическими соображениями, по которым выравнивалась линия фронта.

В ноябре пошел снег, похолодало. В школе топили плохо. Павел простыл и недели две просидел дома. А когда пришел в школу и взглянул на карту — очень удивился. Немецкие флажки отошли на запад и между ними оказались красные.

Вернер разъяснял.

— Там сильное командование. Сам фельдмаршал Паулюс. Идет перегруппировка войск. Смотрите западнее Сталинграда! Видите? То-то! Русские сами лезут в мешок. Это — победа!

Маленький Вайсман, тщедушный прыщавый мальчик с глазами голодного волчонка, на перемене сказал Павлу:

— Ох, Пауль, не нравится мне этот мешок, в который лезут русские. Говорят, Паулюса окружили. Всю шестую армию.

— Не болтай, — строго ответил Павел.

— Я — ничего, я так... Беспокоюсь.

— А ты успокойся. Фюрер знает, что делает, — также строго сказал Павел.

У кого узнаешь правду? Доктор Геббельс по радио кричит, что все идет по плану, победа близка. А флажки на карте упорно шагают на запад. Красные флажки.

На рождество Отто принес гуся. Ездил к семье брата в деревню. Брат у него воюет. Танкист. А семья живет в деревне. Там тоже туговато с продуктами, но Отто раздобыл гуся. Фрау Элина запекла его в большой чугун-

ной плошке с яблоками и капустой. В гостиной зажгли свечи на маленькой елочке, украшенной мишурой и стеклянными игрушками. Под елочкой были разложены подарки. Всем домочадцам. Павлу досталась красивая самопишущая ручка.

В гостиной на видном месте висел портрет старшего сына доктора Доппеля — гауптмана Вилли. Вилли Доппель был сейчас в армии Паулюса. Доктор и фрау Анна-Мария то и дело поглядывали на портрет. Веселья, о котором долго рассказывала Павлу глупая Матильда, не было. Пожалуй, по-настоящему радовался и дурачился один Павел. Он понял, что у фашистов дела плохи.

Рождественские каникулы — тоска зеленая. Заснеженный город словно замер в каком-то дурном предчувствии. Народу на улицах мало, воротники у всех подняты. Лавки закрыты. Притих Берлин.

После Нового года потянулись нудные дни. Школа. Уроки. Только письма от мамы и Петра отогревали сердце. Хоть и писали они ни о чем: о морозах, о том, что, конечно, скучают по Паулю. Петер вырос, возмужал, а Киндер не растет, все такой же и тоже шлет Паулю привет и мечтает стать генеральской собакой. А потом шли приветы и поклоны доктору Доппелю и фрау Анне-Марии.

Вот только о Фличе ни слова.

Павел читал и перечитывал письма, стараясь вникнуть, понять то, о чем не смогли написать ни мама, ни Петр. Письма вскрывались и прочитывались цензурой, а может быть, и еще кем.

И ответы Павел писал пустые. Все хорошо. Учусь в школе. Все в доме с ним ласковы. Берлин прекрасный город. И только один раз позволил себе вольность. Написал: скоро мы победим и тогда для всех начнется новая жизнь. И приписал для маскировки: Хайль Гитлер!

А в феврале объявили траур. Армия Паулюса была уничтожена. Павел вернулся из школы. Фрау Анна-Мария рыдала в своей спальне. Матильда оказалась дома и тоже сидела в своей комнате зареванная.

— Что случилось? — спросил у нее шепотом Павел.

— Вилли погиб.

— Как погиб?

— Вместе со всей армией фельдмаршала.

— А фельдмаршал? — спросил Павел.

— Сдался в плен.

— Так, может, и Вилли сдался в плен?

— Нет. Папа получил извещение.

Доктор Доппель хмурый вышел из кабинета.

— Это правда? — спросил Павел.

— Иди в свою комнату, Пауль, — приказал доктор. Ему никого не хотелось видеть и ни с кем не хотелось разговаривать.

Павел ушел к себе, заперся и сделал кульбит. Сердце пело. Разгромили их! Разгромили. А там его папа. Может быть, это его папа их разгромил. Конечно, думать так было глупо и несправедливо по отношению к другим, которые громили фашистов, но очень хотелось так думать. Получили фашисты по морде, по харе, по мурлу!.. В поддыхало!..

А перед обедом он стоял вместе со всеми с опущенной головой перед портретом гауптмана Вилли в траурной рамке. И на глазах его блестели слезы. Он научился притворяться, быть таким, каким его хотят видеть ОНИ. Мама была бы довольна.

6

Первые дни после освобождения Гертруда Иогановна чувствовала слабость и сонливость. Даже есть не хотелось. Словно тюрьма выжала из нее жизнь, как выжимают сок из лимона.

Шанце приносил ей трижды в день крепкий куриный бульон, здесь же, у постели, с которой она не вставала, вливал в чашку с бульоном сырое яйцо и не уходил, пока она не выпивала эту смесь, поясняя, что генерал, которого он кормил, прожил бы еще сто лет, потому что лечился именно таким бульоном. Ей-богу, не разорви старого дурака снаряд, он бы еще жил и жил!

Шанце уходил, а она впадала в полусон-полузабытье, словно опускалась на дно глубокого омута. Черная тишина смыкалась над ней, теплая, ласковая. Она убаюкивала, отнимала волю. А в подсознании рождалась мысль, что тишина эта — вечная. И больше ничего не будет: ни тюрьмы, ни допросов, ни Ивана, ни детей — ничего!

Мысль эта, еще не осознанная, уже взывала к жизни. Темнота редела, рассасывалась... И вот уже покачивает ее легкое тело речной сияющий простор, свет бьет в глаза, в грудь врывается воздух.

Гертруда Иогановна открывала глаза, громко и торопливо звала Петера. Ей казалось, что она долго отсутствовала и с мальчиком что-нибудь случилось.

Но Петр сидел возле кровати на низеньком круглом пуфике, а у ног его лежал Киндер.

— Я здесь, мама.

Киндер подымал голову и смотрел на хозяйку преданными добрыми глазами: я тоже здесь, прикажи, я потыкаюсь в тебя носом, или завалюсь на спину, или похожу на задних лапах. Хвост его ласково постукивал по ковру.

Гертруда Иогановна улыбалась в ответ неуверенно.

— Никто не приходил?

Голос тоже неуверенный, слабый, будто болит горло.

— Нет, мама. Никто.

Она и не ждала никого. Ей никто не нужен. Никто и ничто. Только покой, вот так лежать, не думать... Нет, неправда. Она ждет Флича. Она ничего не знает о нем. Ей никто ничего не говорит, а она боится спросить.

Через несколько дней Гертруда Иогановна поднялась с постели, но все еще чувствовала предательскую слабость. Она рада была, что никто ее не тревожил, служба безопасности оставила в покое. Несколько раз по телефону звонил Витенберг. Вежливо справлялся о ее здоровье, спрашивал, не надо ли чего? Предлагал прислать врача. Она объясняла ему, что не больна и врач не нужен. Она просто устала и перенервничала. Такое несчастье! Каждый раз ее подмывало спросить, что с Фличем и Федоровичем? Но она не решалась. Вот если бы начали восстанавливать разрушенный ресторан, она бы спросила, где ее артисты. Ведь надо репетировать. Два оркестранта лежали в госпитале, остальные вернулись в свои части. Собрать их просто. Танцовщиц отправили в Гамбург после долгих допросов.

Мысль о восстановлении ресторана связалась с мыслью о возможности вызволить Флича и Федоровича и стала навязчивой.

Гертруда Иогановна ходила по гостинице с блокнотом в руке, высматривала, где что повреждено. Ее сопровождал Петр. Он ни за что не хотел



отпускать маму одну, даже в коридор. И брал с собой Киндера на поводке. Уж они с Киндером защитят ее в случае надобности. Жаль, пистолета нету!

Постояльцы смотрели на маленькую бледную женщину и идущих рядом долговязого паренька и серую лохматую собаку с почтительным удивлением. Кто не видел раньше хозяйку гостиницы, знал о ней понаслышке. Офицеры лихо козыряли, штатские кланялись. Она снисходительно и строго кивала в ответ.

Постепенно к ней возвращалось спокойствие, а с ним и способность трезво размышлять.

Она обошла верхние этажи. Потом спустилась вниз, на кухню. Шанце показал ей дырку в потолке, прикрытую сверху досками, горку известки и битой посуды во дворе. Возле двери посудомоечной стояла Злата. Девочка показалась Гертруде Иоганновне похудевшей и измученной. В синих глазах таилась печаль.

Гертруда Иоганновна остановилась возле нее.

— Ты здорова?

— Да, фрау.

— Много работы?

— Нет, фрау.

Шанце улыбнулся.

— Она есть... ростот в наверх...

— Растет, — поправил Петр.

— Растет, — повторил Шанце.

Гертруда Иоганновна рассмеялась.

— Расти, синеглазка.

Злату допросили на следующий день после взрыва. Девочка оказалась напуганной и тупой, ничего не знала, ничего не понимала, и ее отпустили. Пусть себе моет посуду!

Накануне к ней пришел Василь Ржавый, привел маленькую Катерину.

— Такое дело, Крольчиха. Ухожу я. В лес.

— Зачем в ле-ес? — протянула Катерина капризно. — И я хочу в ле-ес.

— Дрова запасать, — сказал Василь, присев перед девочкой на корточки. — А дрова большие, целые деревья. Упадет, тебя придавить может. Нельзя тебе в лес. Ты вот со Златой побудешь, а я скоро возвернусь. Ты ведь Злату любишь?

— Люблю-у, — Катерина потянулась к Злате.

Та подняла девочку.

— Ох и тяжелая ты стала! Пойдем, я тебя уложу.

— Погоди, Злата. Времени нет, — остановил ее Василь.

Злата догадалась, что он хочет сказать ей что-то, но не может при Катерине.

— Сходи-ка, Катюня, на кухню. Там в столе, в ящике — сухарики.

Катерина сделала большие глаза.

— Можно погрызть?

— Можно.

Девочка убежала на кухню.

— Я совсем ухожу, — сказал Василь.

— Как совсем? — удивилась Злата.

— В партизаны. Нельзя мне больше здесь оставаться. Захаренок мастерскую закрыл. Взорвали мы твой ресторан.

— Взорвали?



— А ты думала! Вот Катьку некуда девать. В лес не возьмешь. Пускай у тебя побудет.

— Хорошо.

— А ты завтра иди на работу как ни в чем не бывало. Чего они тебе сделать могут?

— Хорошо.

Василь смотрел в ее удивительные синие глаза и слышал биение собственного сердца. Ему казалось: оно так стучит, что и Злата слышит. И от мысли этой деревенел. Он облизнул сухие губы:

— Катерину береги.

Внезапно глаза его потемнели, Злата увидела в них необычную твердость, исчезло шальное мальчишество, и смотрит на нее не Васька Ржавый, с которым плавала взапуски на речке, которого можно было треснуть по шее запросто, Ржавый, который ловко играл в перышки на уроках и старательно списывал домашние задания из ее тетрадки, а другой Василь Долевич, новый, которого и Ржавым не назовешь. Она не могла бы утверждать с уверенностью, что тот Васька лучше нынешнего Василя. Они оба стали неотъемлемой частью ее жизни. Рядом с ним она чувствовала себя спокойно, он был надежным, прочным. Вот уйдет в лес, к партизанам, а как же без него? Неожиданно она поймала себя на том, что ей хочется плакать. Еще чего!..

— И себя береги, — строго сказал Василь.

Они стояли и смотрели друг на друга и не знали, что сказать. Слова теснились в голове, а на язык не лезли. Может, и не нужны они, слова-то?

Злата вспомнила, как в самом начале войны в сад, где возле «пушкинской» скамейки собрались Великие Вожди, пришла Гертруда Иоганновна за близнецами. И когда они уходили, Злата поцеловала Павла и Петра. Василь тогда фыркнул: вот еще, нежности! А она сказала ему: «Ты будешь уходить, я и тебя поцелую...»

— Василь! — произнесла она внезапно осевшим голосом.

Он услышал боль, и нежность, и тревогу. Он понял ее, шагнул решительно, обнял и поцеловал теплые мягкие губы, потом глаза, которые оказались солоноватыми, и лоб, и щеки, и снова губы.

— Цалу-уются! — протяжно сказала Катерина, появившаяся в дверях с сухарем в руке.

Василь повернул к ней лицо, не отпуская Злату.

— Я тебе взаместо папы, а Злата теперь взаместо мамы. Вот побьем фашистов, вернусь, и мы поженимся. Выйдешь за меня?

— Выйду, — сквозь слезы выдавила Злата.

— Ну и хорошо.

Василь подошел к Катерине, поднял ее на руки, поцеловал в висок:

— Слушайся Злату.

Поставил девочку и пошел к двери. Обернулся, посмотрел на них обеих.

— Я провожу тебя, Василь.

— Не надо. Темь на дворе. Я пошел.

И осталась Злата со своей радостью, со своим горем и с маленькой Катериной.

Когда Гертруда Иоганновна вышла вместе с Шанце во двор, Петр задержался возле Златы.

— Как живешь, Крольчиха?

— Как все. От Павла ничего нет?

— Ничего. Но мама говорит — обживается.
— Не сможет он там, — вздохнула Злата.
— Сможет. Павка знаешь какой? Он — кремень.
— А Ржавый в лес ушел, — прошептала Злата.
— Ну да?
— Катьку мне оставил. Вернется — мы поженимся. — Она просто не могла не поделиться этой удивительной, еще не до конца понятой новостью.
Петр посмотрел на нее удивленно, хмыкнул и засмеялся.
— Ты чего? — нахмурилась Злата.
— Да так... Ничего... Мы ж с Павкой тоже хотели на тебе пожениться.
И Злата засмеялась:
— Вот дураки!
Петр не знал, огорчаться ему или радоваться этой неожиданной новости. И он и Павка были влюблены в Злату, даже разговаривали на эту тему не раз. И по-братски решали, что Злата сама выберет одного из них. Им и в голову не приходило, что она может полюбить кого-то третьего: Ржавого, или Толика-собачника, или Эдисона. Остальные особи мужеского пола в расчет не брались. И вот на тебе! Конечно, Ржавый — хороший парень. Свой. Не трус. Верный друг. А все ж обидно!
Петр посмотрел на Злату, будто впервой увидел.
— Взрослая ты совсем. Наверно, когда война, взрослеют быстрее.
— Наверно. Вон ты какой стал. Совсем мужик.
Петр, неожиданно даже для самого себя, взял Златину припухшую от бесконечной возни с горячей водой и посудой руку, склонился над ней и поцеловал.
— Будь счастлива, Крольчиха.
Со двора возвратились Гертруда Иоганновна и Шанце.
Гертруда Иоганновна вздохнула.
— Ну, теперь посмотрим ресторан.
Она долго откладывала эту минуту. Ей не хватало внутренней твердости. Там погибло много ее соотечественников. Она сама готовила эту гибель, потому что они были убийцами. Были фашистами. Они строили виселицы, копали рвы-могилы, расстреливали стариков, женщин и детей. А она была матерью. Они несли смерть, и только смертью можно было остановить их. И все же она отодвигала минуту, когда войдет в зал ресторана. Она — человек, она любит жизнь. И даже смерть убийц не радовала ее. У этих, что были в ресторане, тоже семьи, тоже дети. Она жалела их, ослепленных, оглушенных военными маршами, поверивших лживым словам о собственном величии, опустившихся до презрения к инородцам. А разве русские, белорусы, узбеки хуже? Она жила среди них, как своя среди своих. Она была сестрой в их огромной семье. Разве у еврея Флича меньше благородства, чем у доктора Доппеля? Ах, Флич, Флич, дорогой друг, брат, где ты? Жив ли?.. Надо разбить фашизм, надо уничтожить человеконенавистническую философию, коричневую чуму. Чтобы люди жили в мире. Чтобы никогда никакой Гитлер не посмел внушать: ты — выше соседа, у тебя особая кровь, убей его!
— Идемте с нами, Шанце, посмотрим зал.

С этого дня Гертруда Иоганновна ожила. К ней вернулась ясность мысли, напористость и властность, которую она выработала в себе за год

общеиия с соотечествеииками. Оиа сиова стала для иих любезиой, ио иедоступиой хозяйкой гостииицы. Настойчивой и иемиого жадиой, когда вопрос касался «дела». Оиа иаиесла визит в фииансовый отдел городской управы. Нужиы были средства для восстаиовлеиия ресторана. Средств не было. Ей объясиили, что даже при иаличии средств иегде взять материалы: кирпич, лес, цемеит. Негде взять рабочую силу. Придется подождать до лучших времеи!

Оиа слушала вполуха, иадмеиио глядя перед собой куда-то в простраиство. Оиа дала господииу Тюшииу высказаться, потом молча иаблюдала, как ои старательно утирает взмокшую лысииу иосовым платком. И сказала спокойио:

— Господии Тюшии. Я у вас ие прошу кирпич и лес. Я у вас ие прошу работший сила. Я у вас прошу деиьги. Ферштееи зи? Деиь-ги. И вы мие открывать кредит. Доктор Эрих-Иогаин Доппель, который есть высоко в Берлии, будет делать кирпич и лес. Работший сила мие ие откажет господин комендаит. У меия миого идеи. Но мало деиег. Немецкое комаидоваиие ие потерпит, чтобы офицер вермахта кушаль на коридор. Ои ие есть свииья. Ои должеи иметь отдых от победоиосиых иаступлеиий. И ои будет иметь отдых. Господии Тюшин, вы меия зиаете миого времеии. Я всегда готова для вас лишио сделать любой доброе дело.

Тюшии склоиил лысииу.

— Очень, очеиь вами благодареи, фрау Копф.

Гертруда Иогаииовна улыбиулась сиисходительио. Пусть этот плешивый болваи почувствует, какая за ией стоит сила. Поймет, как оиа увереиа в себе и в том, что ои откроет ей кредит для ремоита ресторана. Хотя силы за ней иикакой ие было. Доппель далеко. И ие так уж оиа увереиа в себе. Но во что бы то ни стало иадо иачать работы в ресторaие. Тогда можио собирать артистов и оиа накоиец выясиит, куда девались Флич и Федорович. Только тогда. Нельзя задавать вопросы службе безопасиости просто так, из любопытства. Ее взаимоотношеиия с господииом Витенбергом еще ие сложились и, похоже, будут посложиее отиошеиий со штурмбаифюрером Гравесом.

— Так иа какой сумма я могу расшитывать, господии Тюшии?

Фииаисист сиова взялся за иосовой платок.

— Все так иеожидаиио, фрау Копф. Я должеи согласовать с господиииом бургомистром. Прикинуть, подсчитать.

— Зиачит, вы имеет, што сшитать, господии Тюшии? — Гертруда Иогаииовиа сиова улыбиулась, теперь уже теплее, как показалось Тюшииу.

— Полагаю, нам удастся помочь вам, фрау Копф. Поскольку вопрос стоит об отдыхе господ офицеров.

— Имеиио так, дорогой господии Тюшии. — Гертруда Иогаииовна поднялась и протяиула Тюшииу руку. — Я ожидаю ваш ответ.

Тюшии взял ее пальцы кончиками своих осторожио, словио трогал хрусталь, и ткиулся в иих сухими губами. А потом двииулся следом, опередил фрау Копф, распахиул дверь и проводил ее до вестибюля.

Ои помиил, как оиа перед войиой скакала иа лошади в цирке. Кто бы мог подумать, что ее ждет такое блестящее будущее! Владелица гостииицы и ресторaиа! Господа иемцы перед ней шапки ломят! Да-а... Не ииаче, как она и до войиы работала иа немцев. Артистка — это только маска, ширма, прикрытие. Придется открыть кредит. Оиа умеет быть благодариой. Какой коиьяк прислала в тот раз!

На улице Гертруду Иоганиовиу ждали Петр и Киидер. Шел мелкий частый дождь. Петр стоял под зоитиком. Увидев мать, ои перешел улицу и, вытяиув руку, прикрыл ее зоитом.

— Не надо. — Гертруда Иогаииовиа ие любила зоитиков. Дождь хлестал в лицо, успокаивал. Кирпич, чтобы заделать дыру, оиа достанет. Разве мало в городе разрушенных здаиий? И старый пойдет, если аккуратио разобрать. Лес? Есть же где-то лес. В крайием случае помогут партизаиы. Оиа иевольио улыбнулась этой виезапиой мысли.

— Ты что, мама?

— Ничего, Петер, так...

А рабочих оиа попросит у Витеиберга. Просто так, спокойио, иахальио, придет к господииу Витеибергу в службу безопасиости и скажет:

«Господии Витеиберг. В тюрьме масса заключеииых. Оии — бездельиики. А безделье развращает. По себе зиаю. — И улыбнется при этом. Добрая немецкая шутка. — Пусть-ка оии поработают для рейха. Разберут стену и заделают брешь в ресторане. Нехорошо кормить господ офицеров в коридоре. Им нужен домашиий иемецкий уют...»

На другой деиь утром оиа позвонила Витеибергу и просила приият ее, если ои не очеиь заият.

Последиие дии всюду ее сопровождали Петр и Киидер. Петр иес портфель с бумагами. Иногда присутствовал при ее переговорах, но чаще отдавал ей портфель и ждал.

В этот раз оиа велела ему остаться дома.

— Я иду в СД. К Витенбергу. Тебе лучше ие ходить туда.

— Почему, мама?

— Не надо.

— А если оии тебя ие выпустят?

— Выпустят, — улыбиулась оиа. — В прошлый раз я им была нужиа, а теперь они мие.

Оиа ушла, а следом через миику пошел и Петр, ведя Киидера иа поводке. Ои решил ждать маму иа улице. Так ему было спокойией.

Витеиберг был в форме. Оиа еще ие видела его в форме и иесколько оробела, ио тут же овладела собой. На шее между петлицами муидира висел чериый крест. На груди — тоже два креста и какие-то зиаки. Оиа иичего ие понимала в фашистских иаградах.

— О-о, — почтительио пропела она. — Вы — штаидартеифюрер. И сколько наград!

Оиа поняла, что ее робость и почтение произвели иа Витеиберга приятиое впечатлеиие.

— Впервые вижу иа вас муидир. Вы просто рождены для иего!

Витеиберг засмеялся. Усадил ее иа стул.

— Вы любите русский чай?

— Если вам угодио.

Ои иажал киопку. В дверях появился иевзрачиый человечек, тот самый, что в прошлый раз сидел за столиком и что-то писал.

— Принесите иам чаю.

Человечек вышел.

— Я пристрастился к русскому чаю в Москве. Когда работал в торгпредстве. Ои бодрит не хуже кофе. Зиаете, когда вас привели из тюрьмы, простите за бестактное иапомииаиие, я ужаснулся. Вы были такой измучеииой, такой жалкой! Еще раз простите... Я поймал себя иа мысли, что,

собственно, ннкогда не сндел в тюрьме н поэтому не могу даже представить себя в вашей шкуре. А не представив, не сопережнв — трудно поиять.

— А вы попробуйте, господнн штандартенфюрер. Посадите себя в тюрьму.

Внтенберг рассмеялся. Он откровенно и с удовольствнем рассматривал ладную фнгуру сндящей перед ним женщнны. Строгую белую блузку, прямую юбку в мелкую серую клетку, чуть тронутые помадой губы, большие серые глаза. Как ие похожа она на самое себя в помятом вечернем платье! Тогда, увидев ее впервые, он усомнился в правднвости доктора Доппеля. Не было в ней ни энергии, нн обаяння, не было гордостн, так отлнчающей немок от всех прочих. Неужелн Доппель ошнбся? Теперь он видел фрау Копф такой, какая она есть. Вероятно, посади его, Внтенберга, в тюрьму, да еще несправедлнво, он бы тоже сиик. А ведь он — образец нордического тнпа! Да, фрау Копф — иемка! Доктор Доппель не ошнбся. Она — иемка.

Невзрачный человечек прниес на подносе большой чайннк, укрытый грелкой-куклой, две чашкн, сахарннцу. Поставил иа стол н вышел.

— Вы разрешнте? — сказал Внтенберг.

— Нет уж, господнн Внтенберг. Разлнвать чай и кофе прнвилегия женщнн. — Она легко сняла куклу с чайннка. Разлила по чашкам чай. Посаднла куклу обратно. — Вам положить сахар?

— Нет. Спасибо. Я пью впрнкуску, как все в Росснн.

— Я тоже, — ответнла Гертруда Иоганиовна. — Я прожнла в Росснн пятнадцать лет. Мой покойный муж Герой Советского Союза младшнй лейтенант Лужнн тоже любнл пнть чай вприкуску, — она добавнла это ие печально, а с легкой грустью: мол, было н прошло.

Внтенберг кивнул и прнхлебнул нз чашкн. И оиа прнхлебнула, с хрустом прикуснв кусочек сахара. Давно она не ощущала такого спокойствня. Сейчас она может спроснть о Флнче н Федоровиче, но не спроснт. Она прншла проснть помощн. У нее есть идея. И нн о чем постороннем говорнть не будет. Вот так, господнн Внтенберг!

Когда она изложнла ему свою ндею, штандартенфюрер растерялся от неожнданностн. Заключеиные нспользовались на работах: расчнстке дорог, на погрузке нлн разгрузке. Это дешево. Но ремонтнровать гостнннцу! Смелая женщнна! И, надо сказать, иахальная.

— Не могу вам ответить определенио, фрау Копф. Ведь вам нужиы спецналнсты: каменщнки, плотннкн, штукатуры, маляры.

— Так арестуйте каменщнков, господии Внтенберг! — восклнкиула Гертруда Иоганновна. — Не могут же офнцеры рейха пнтаться в корндоре!

— Браво, фрау Копф! Вы не боитесь, что я вас заберу на службу в СД?

— Мне не по душе эта работа, господин Внтенберг. Каждый служнт фюреру на своем месте. И я прошу вас, как офнцера, помочь мне. Кроме шуток, ведь могут же средн заключенных оказаться нужные нам специалисты. — Интонацней она подчеркнула слово «нам». — И потом — много военнопленных! Я готова нх кормить, еслн онн будут работать.

— Хорошо, фрау Копф. Я подумаю.

— Спасибо. — Она поднялась. — Не буду больше отннмать у вас время.

— Вы ндете домой?

— Да.

— Тогда я провожу вас. Хочу взглянуть на ресторан вашими глазамн.

Онн вышли на улнцу. Следом два автоматчнка — охраиа штандартен-

фюрера. Гертруда Иоганновна увидела на углу Петра с собакой. Ои двннулся было ей иавстречу. Но остановнлся. И стоял, глядя на мать, которая шла в сопровожденнн офнцера СД н двух автоматчнков. Арестовалн? Сердце его замерло, а потом забнлось учащенно.

А Гертруда Иоганновна, незнакомый офнцер н автоматчикн прнблнжалнсь. На губах Гертруды Иогаиновны застыла улыбка.

— А вот н мой непослушный сыи, господнн штандартенфюрер. Петер.

Петр вскннул руку:

— Хайль Гнтлер!

— Хайль Гитлер, — ответил офнцер, рассматривая долговязого подростка.

— Я велела ему сндеть дома, а он пошел меия встречать. Ты что ж, Петер, не доверяешь службе безопасностн?

Петр покраснел.

— Это не я... Это Кнндер попросился гулять.

И Киидер тявкиул.

7

У Толнка появнлась собака. Всю жнзнь он мечтал занметь четвероногого друга. Роднтелн не позволяли. Держать негде. А теперь он предоставлен самому себе. Сам все решает. Отец на фронте, а мать нн во что не вмешнвается. Полдня простаивает у икон, простоволосая, в старой, еще бабушкиной, кофте, со штопаными локтями, молнтся.

Никогда у иих в доме нкон не было, ннкогда бога не помннали.

Иконы появились в середнне зимы. В то время мать, несмотря на комендантский час, стала по вечерам уходнть к соседям через два дома. Возвращалась чуть не под утро, задумчнвая н какая-то отчужденная. Растаплнвала печь, разогревала то вчерашнюю картошку, то кашу. Масла не было. И мяса не было. Разве что Злата прннесет чего-ннбудь — косточкн, обрезкн.

— Чего ты по ночам ходншь? — спроснл как-то Толик.

Мать поджала губы.

— Я в твон дела не мешаюсь, н ты в мон не мешайся, сынок. Тяжко мне. За великие грехн испытанне послаио, рукн черные антнхрнст иа род человеческнй наложнл. Смиреняя господь ждет. Смнрения. И наступит благодать. Еще за Грншу прошу, чтобы явил мнлость господь, возвериул моего Грншу с войны жнвым.

Толнк даже подумал, не тронулась лн мать умом. Больно странно говорнт н глаза жалостлнвые, беззащнтные н лнцо недвнжное.

Но спорнть не стал. Чего спорнть, еслн сам он не очень понял, о чем речь. Потом уж у ребятншек во дворе узиал, что у соседей через два дома старухн собнраются, чнтают какую-то толстую кннгу, шепчутся н стукают лбамн об пол.

Ладно, пускай себе молнтся!

Собаку Толнк нашел в лесу, когда поспела первая черника. В лес никто не ходил, лншь ребятншкн, которые плавать умелн, переплывалн на ту сторону и шарнлн возле берега. Леса боялись. Переплыл и Толнк. Стояла жара. Редкне сыроежки морщнлнсь, еще не раскрывшнсь. Ягоды чернники отлнвалн сnневой н былн кнсловаты. Насушнть — зимой кнсель будет.

Толик леса не боялся. Это был их лес, каждая тропа хожена-перехожена, каждое дерево ладошкой тронуто. Он добрался до землянки Великих Вождей. Она была цела, хотя стены чуть осыпались и заплесневел бревенчатый потолок. Да крышка старого аккумулятора для радиоприемника стала зеленой. В землянке зимовали мыши. Всюду их следы.

Недалеко от землянки Толик и нашел собаку. Услышал не то стон, не то вздох. Сначала испугался, присел за куст. А потом выглянул и увидел серого волка, он лежал в вырытой во мху ямке. Настоящий волк. Что он делает здесь? И почему не уходит? Или не заметил, что человек рядом?

Толик понаблюдал за волком, тот не двигался. Толик хрустнул веткой. Волк поднял голову и снова опустил ее на мох.

Больной, решил Толик. И поднялся во весь рост. Спросил громко:

— Ты чего?

Волк снова поднял голову, посмотрел в его сторону. У него были круглые грустные глаза, длинная морда с черным носом, острые стоячие уши вздрагивали.

Толик понял, что не волк это, а собака. Что она здесь делает одна, в лесу? Может, бешеная?

— Ты чего? — снова спросил Толик.

Собачий хвост слабо шевельнулся, но собака не вставала, на всякий случай оскалила зубы, приподняв верхнюю губу, и заворчала. Но ворчание было жалобным.

— Больна, что ли? — Он подошел поближе.

Собака не сводила с него взгляда, но не двигалась.

— Ну чего ты? Заболела? Ай-я-яй... Осочки поешь.

Ему не раз приходилось наблюдать, как собаки обегают поляны или заборы, отыскивают траву осоку и начинают, словно овцы, объедать верхушки. И удивительно — другую траву не едят. Инстинкт такой в них заложен.

Толик присел возле собаки на корточки, та все еще скалила зубы, и густая шерсть на загривке стояла дыбом.

Толик не трогал собаку, только рассматривал ее и разговаривал ласковым спокойным голосом. Пусть тоже присмотрится к нему и поймет, что он ей зла не желает. Вроде не бешеная, слюна не течет, хвост подвижен. Что же с ней? Тут он заметил возле паха разлизанное пятно, шерсть была вылизана до белой проплешины, а в середине проплешины зияла дырка, голое мясо.

— Да ты раненая, — удивился Толик. — Кто ж тебя? Из ружья, что ли?

Он вспомнил почему-то собак на площадке возле цирка, свирепых коротконогих, широкогрудых овчарок на длинных поводках, и как солдаты натаскивали их на людей.

— Ты по-русски-то понимаешь? А? — Он подумал, что надо сказать собаке что-нибудь по-немецки и посмотреть, как она воспримет немецкий. Но почему-то не приходило в голову ни одно немецкое слово. И он просклонял глагол «есть»: — Их бин, ду бист, эр ист. — Собака даже ухом не повела, вряд ли их учат склонять глаголы. Надо подать команду. — Хенде хох! — громко сказал он.

Собака оскалила зубы, зарычала и поднялась на передние лапы.

— Это другое дело, — сказал Толик. — А здоровая ты псина. Значит,

бросили тебя твои хозяева. Помирать в лесу бросили. Ошейник сняли и ушли, ошейник-то казенный... Гады!

Ему вдруг так жалко стало собаку, которую бросили умирать в лесу, что даже в носу защекотало, и, не задумываясь, он протянул руку и погладил ее загривок. Конечно, она могла и цапнуть, очень даже просто. Но она не цапнула, густая шерсть на загривке, стоявшая дыбом, вдруг легла на место и стала мягкой и податливой. Собака зажмурила глаза и вздохнула. Толику показалось, что она вот-вот заплачет.

— Ты идти-то можешь? А? Вставай, вставай... — Он несколько раз взмахнул рукой с вывернутой вверх ладонью. — Штейн, штейн, ферштеен?

Собака еще раз вздохнула, поднялась на все четыре лапы. Зад у нее мелко дрожал. Стоять было больно. Толик обошел ее и с другой стороны увидел еще одну разлизанную проплешину. Вероятно, пуля прошла насквозь.

— Стрептоцидом бы тебя посыпать или помазать чем... Как же они тебя бросили, гады?

Толик присел возле собачьей морды, посмотрел в глаза. В них были совсем человеческие боль и тоска, они словно просили: «Не оставляй меня здесь, я слабею, помоги мне».

— Да не оставлю. Видишь ты какой красивый. Эх, не тому тебя учили, псина. Уж не знаю, как тебя зовут?

И хоть говорил он на незнакомом языке, собака поняла его. Она потянулась и лизнула Толика в нос.

— Ишь ты, соображаешь, что к чему. Пойдем. Вперед. Коммен, коммен. — Он прихватил собаку за загривок и потянул.

Она пошла, неуверенно ступая лапами и пошатываясь. Верно, много крови потеряла, ослабела.

— Ничего, ничего. Мы с передышками... Эх, покормить тебя нечем... Коммен, коммен.

Корзинку с черникой он забыл в лесу, не до ягод было. А когда вспомнил о ней, возвращаться не стал. У него — собака, настоящая овчарка. Она ему поверила и пошла с ним. Он ее перевоспитает. Он уже любил ее.

Только к вечеру они добрались до реки. Через мост он вести собаку побоялся. Еще пристрелят немцы. Они вышли к реке ниже поворота, в том месте, где река расширяется и умеряет свое течение. Толику здесь переплыть — раз плюнуть, а собака не переплывет. Лодку бы или плот. Но все, что могло плыть, давно уже собрано и сожжено в печках. А все лодки немцы стащили на один причал, который охранялся солдатами. Собака не спустилась, а скатилась вниз с кручи, взвизгнув от боли, жадно пила воду, а потом растянулась на тонкой прибрежной полоске песка. Толик присел рядом с ней. Вот незадача! Придется плыть на тот берег, искать что-нибудь плавучее и вернуться за собакой.

— Ты полежи здесь, — сказал он, — я сооружу какой-нибудь плотик. От забора доски оторву. Ты не беспокойся. Я вернусь. — Он скинул рубаху и штаны, связал ремешком — привычное дело.

Собака не отводила от него взгляда измученных круглых глаз. Он погладил ее и поцеловал в голову.

— Жди... Эх, не знаю я, как «жди» по-немецки. Леген зи. Битте.

Толик вошел в воду и поплыл.

Но собака не хотела оставаться одна. Она поднялась на лапы, заскулила тихонько и пошла в воду вслед за человеком. Когда Толик оглянулся,

он увидел над водой собачью морду с торчащими ушами. Он подождал, пока собака поравняется с ним. Она плыла медленно, хрипела. Толик подхватил ее за загривок, как хватают за волосы утопающих. Они доплыли до пологого городского берега и, обессиленные, растянулись рядом.

— Ну ты и псина! — сказал Толик.

Собака хотела ответить, но даже вильнуть хвостом не хватило сил...

Дома Толик постелил в углу старый ватник. Сказал:

— Место, место, место... — несколько раз, чтобы запомнила.

Собака не легла, рухнула на ватник. Толик выгреб в тарелку остатки каши из котелка, поставил перед собакой.

— Ешь.

Собака только пошевелила носом, но есть не стала. Закрыла глаза.

— Ладно, поспи. А потом поешь.

Когда вернулась от старух мать, Толик спал, сидя за столом. Он все смотрел на свою собаку, как она спит, и незаметно уснул сам.

Собака открыла глаза и тихо прорычала. Мать испугалась.

— Господи! Толик! Что это?

Спросонья не сразу сообразишь. Снилось, будто он подобрал в лесу собаку... Да нет, вот же она! Лежит на своем месте. Он улыбнулся.

— Это — Серый. — Собственно, он еще не придумал, как назвать пса. Имя пришло само. — Серый, — повторил он.

— Господи! Какой страшный!

— Он не страшный, он раненый. Мы с тобой его вылечим, верно, мам? Он дом сторожить будет.

— Чего сторожить-то!.. Самим есть нечего.

— Да он мало ест, мама. — Видя, что мать недовольно хмурится, добавил: — Он же божья тварь, мама. Его надо пожалеть.

— Делай, как знаешь, сынок. Только гляди, объест он нас. Разве время собак держать!

Утром Серый съел кашу.

У Толика появилась куча обязанностей, Серый заполнил его дни. Прежде всего надо было чем-то лечить пса. Разлизанные раны не заживали, гноились. Ни стрептоцида, ни мази хоть какой-нибудь достать было негде.

Толик сбегал к деду Пантелею Романовичу посоветоваться. Но Пантелей Романович заявил, что никогда не держал собак, а тем более раненых, и как лечить их, не знает.

Толик очень расстроился. До войны он бы сводил пса к ветеринару, в городе даже лечебница была для животных.

Дед Пантелей, видя, как расстроился Толик, пожалел его, слазал в подпол и принес оттуда маленькую бутылочку.

— На... Рану промой...

— А что это, дед?

— Первач... Старого производства... Берег на случай.

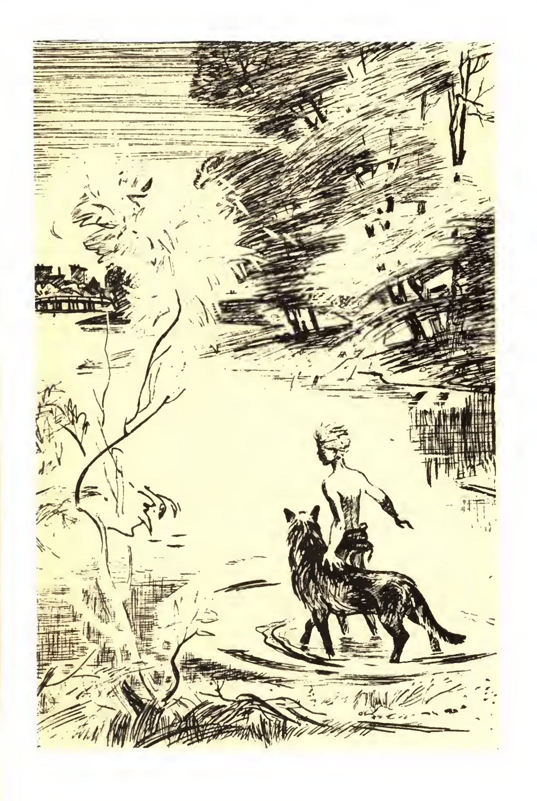
Толик держал бутылочку обеими руками.

— Спасибо, дед... Поможет?

— Какую хошь микробу наповал... Первое средство... Потому и зовется — первач... — Пантелей Романович был уверен в своем средстве.

Придя домой, Толик разорвал ветхую стираную-перестираную простыню на полосы, смочил небольшой клочок этим самым первачом. По комнате поплыл острый запах спирта.

Серый лежал на своем месте. Толик уселся рядом, одной рукой обнял



пса, а другой стал осторожно промывать рану. Серый дернулся и зарычал, не понравилась ему процедура.

— Ничего, Серый, ничего, потерпи. Хочешь поправиться, побегать — терпи. Вот промоем рану, перевяжем и станешь ты поправляться. Мяса бы тебе сырого!

Мать отвела взгляд от иконы.

— И тебе бы мяса какого... Тощий. И не растешь. Василь вымахал, а ты — не растешь.

— Мне еще в школе доктор сказал, что у меня конституция хилая.

— В кого ж? Гриша у нас крепкий. — Она никогда не называла отца — отцом, только по имени.

— Стало быть, в тебя, мам.

— А я разве такая была? — Она подошла к зеркалу, вгляделась в свое осунувшееся, серое лицо с натеками под глазами и вздохнула.

— Да ладно, мам. Вот кончится война, папа вернется — наедимся досыта!

— Услышит господь молитву, услышит... — пробормотала мать.

Серый перестал дергаться, только шкура мелко дрожала.

— Вот и молодец, вот и стерпел. Теперь перевяжу тебя. — Толик стал перевязывать промытую рану, наложив на нее чистый тампон из той же простыни. Повязка держалась плохо. Чтобы Серый не содрал ее и не принялся снова разлизывать рану, Толик надел на него свои трусы.

— Еще чего! — сказала мать сердито.

— Ну, мама... Ты посмотри, как ему в трусах... Хоть сейчас в цирк! — Он вспомнил цирк-шапито, залитый ярким светом, и даже почуял запах лошадей, опилок и еще чего-то. Вот с кем посоветоваться надо насчет Серого — с Петькой или с Гертрудой Иогановной! Уж они-то наверняка знают, как собак лечат.

Но посоветоваться не удалось. Район гостиницы оказался оцепленным. Люди обходили его стороной. По городу шли облавы.

Больше месяца прошло, пока зажили у Серого раны. Трижды в день выводил его Толик во двор. Сперва ребятишки боялись пса. Впрочем, ребятишек во дворе раз-два и обчелся. Взрослые смотрели на Серого недоверчиво и даже неприязненно. Серый обходил двор, тяжело припадая на зад. С трудом делал свои собачьи дела.

На улицу Толик выводить его не решался. Еще нарвешься на старого хозяина!

Постепенно пес ходил все лучше и лучше, но прихрамывал на обе ноги. Может, у него что внутри повреждено?

— Усыпить его надо, — сказала одна из маминых старух.

— Грех, бабушка, даже говорить так. А еще богу молитесь! Вы б помолились, чтобы он скорее поправился.

— Тьфу на тебя! — рассердилась старуха.

А чего сердиться? Это была его собака! Его, и больше ничья! Он любил ее такой, какая она есть! Злата приносила кости и даже кусочки мяса. Так что Серому хватало, да еще перепадало маме и ему. Мать варила эти кусочки, добавляла немного пшена, и получался вкусный суп.

Наконец Толик решился вывести Серого на улицу. К тому времени он сшил великолепный ошейник из толстой веревки и суконных тряпочек. Ошейник не застегивался на шее, а просто морда Серого просовывалась в него. Где же возьмешь застежку? И поводка толкового негде взять.

Вместо поводка — та же толстая веревка, а чтоб было красивее, веревка обмотана пестрой ситцевой лентой.

К центру Толик Серого не повел, много немцев. Прошлись в сторону речки и свернули на улицу Коммунаров. У разбитого каменного дома какое-то движение. На середине улицы стоит автоматчик. У ног его сидит овчарка.

Серый забеспокоился, заскулил тихонько, посмотрел на Толика.

— Пойдем домой, Серый, — он потащил пса за угол. — Чего-то там делается. А чего, мы с тобой не знаем. Но мы узнаем. — Он погладил собачью шерсть. — Ничего не бойся, Серый.

Толик отвел собаку домой и пошел обратно не улицей, а дворами.

Какие-то люди разбирали стену разрушенного дома. Одни работали ломами, другие обстукивали молотками уже выбитые кирпичи, а долговязый парень относил очищенные кирпичи и складывал в штабель на панели. Над местом работы висела кирпичная пыль, затрепанные рубахи и худые лица людей тоже покрыты пылью. Вот почему автоматчик с собакой занял местечко поодаль, на середине улицы. Пыли боится. А может, ломов и молотков?

Толик стоял в подворотне на противоположной стороне и наблюдал. Автоматчик переминался с ноги на ногу. Люди работали не торопясь.

Толик стал присматриваться к долговязому парню, что-то было в нем неуловимо знакомое, как он брал кирпичи и аккуратно складывал их, как шел обратно, опустив руки. Лица Толик никак не мог рассмотреть. Парень двигался как автомат и все время смотрел себе под ноги.

Переминавшийся с ноги на ногу автоматчик крикнул что-то своему невидимому для Толика напарнику. Тот ответил. Автоматчик торопливо повел собаку за собой. Долговязый поднял голову и посмотрел вслед. И тут Толик узнал его, да это ж Серега Эдисон! Провалиться на месте! Как же он тут оказался? Ведь еще в самом начале войны эвакуировался с папиным заводом. И почему их охраняют автоматчики? Арестованные. Как бы перекинуться словечком. Надо же, Эдисон!

Толик вышел деловым шагом из подворотни, будто он тут живет и направляется куда-то по делу. Остановился, сделал вид, что зашнуровывает башмак. Автоматчика с собакой на улице не было, другой стоял далеко.

— Серега! — тихо позвал Толик.

Тот не услышал.

— Серега! — сказал он громче.

Над панелью висела рыжая пыль.

Серега обернулся, ему показалось, что кто-то зовет его. На противоположной стороне стоял мальчишка. Серега стал вглядываться, но мешала пыль. И вдруг мальчишка скрестил руки на груди. Знакомый знак Великих Вождей. Да это ж Толик-собачник! Эдисон тоже сложил руки на груди.

В это время из соседней подворотни вышел автоматчик с собакой. Закричал:

— Арбайтен! Арбайтен!

Серега пошел к кирпичам, искоса поглядывая на Толика.

— Цурюк! Пошель! — крикнул автоматчик Толику.

— Иду, господин офицер, иду, — громко сказал Толик. — Но скоро снова приду! — Это для Сереги, хотя говорил он, обращаясь к автоматчику и слегка кланяясь.

И Толик ушел, не оборачиваясь.

Через полчаса состоялось экстреииое совещаиие Великих Вождей, из которых в иаличии оказались Толик и Злата. Надо было выручать Эдисона. Но как? Арестоваииых было десять человек, охраияли их два автоматчика и собака. А может быть, и виутри здаиия или во дворе был третий. С улицы ие видио. Для чего иемцам поиадобилось разбирать стеиу и долго ли там будут работать — неизвестно. Когда арестоваииых приводят, когда уводят и куда уводят — тоже иеизвестно. Их могли уводить в тюрьму, и в службу безопасности, и в полицию. Впрочем, если бы в полицию, тогда их охраияли бы «бобики».

— Страиио, что Серега в городе. Он же где-то в глубоком тылу должен быть, — удивлялась Злата.

— Факт есть факт. Слушай, меия когда-то твой повар выручил. Может, ои и Серегу... Можешь ему растолковать?

— Растолковать-то могу, а что толку? Надо бы с Гертрудой Иогаииовиой поговорить.

Толик махиул безиадежно рукой.

— Оиа сама из тюрьмы. Я так думаю, что иам иадо напасть иа часовых.

— Тебе и мие, что ли? — удивилась Злата.

— А что?! Граиату кииуть... Трах-тара-рах!.. Арестоваииые врассыпную... Серегу спрячем у тебя. Или у меня. А еще лучше у Паителея Романовича. У иего Петька пересидел, пока Гертруду ие выпустили.

— У деда Паителея?

— Точио. Дед сам проговорился. Я к иему раза два заходил, даже следов Петьки ие заметил. Даже Киидер ие тявкиул. Дед умеет прятать. Так как?

— Чего как?

— Насчет граиаты. Бросим?

— Граиаты иету, — иасмешливо ответила Злата.

— Гм... А если есть?..

— Все равно бросать нельзя. Шумио больио. А иа шум иемцы иабегут. И сами пропадем и Серегу ие выручим. Ржавого иету, Ржавый зиал бы, что делать.

Толик покосился иа Злату. Ишь ты, Ржавого вспомнила — глаза засветились. Страниые люди девчонки. Хотя какая Крольчиха девчоика? Великий Вождь.

— Подумаешь, Ржавый... У меия, между прочим, серого вещества ие меиьше, — слегка обиделся Толик.

— Зато извилиины короче.

— А ты мерила?

— А чего их мерить? И так видио. Да ладио тебе, не дуйся. Это я так, для красиого словца. У тебя мозги тик-так!.. Только гранату нельзя. Осколки не разбирают, где свой, где чужой.

— И нету гранаты, — признался Толик. — Ее где-то стащить иадо. Слушай, ты не помиишь, в том доме двор проходиой?

— Глухарь. Там же Любка жила, круглеиькая такая из седьмого первого.

— Жиргут?

— Ага... Я у иее как-то была. Пошла по привычке дворами, а там — стена. Пришлось обходить.

— Стена высокая? — заиитересоваино спросил Толик.

— Высокая. Там еще склад мебельный был.
— А сейчас там чего?
— А чего там может быть. Он два дня горел.
— Точно. Еще краской пахло. Как подойдешь — чихаешь. Надо стену посмотреть. Пойдем?
— Сейчас?
— А чего откладывать? Со стороны склада посмотрим.
— Ладно. Катюня, — позвала Злата.
Девочка появилась из кухни с тряпичной куклой в руках.
— Я отлучусь вот с Толиком ненадолго. А ты дверь на крюк запри и сама из дому не выходи. Ладно?
— Ладно. А можно я куклино платье постираю?
— Постирай. Только воду не проливай на пол.
Двор склада оказался заваленным горелыми железными бочками. Каменные стены сарая без крыши и широкий зияющий проем ворот были черны от копоти. Стена, выходящая к разрушенному дому на улице Коммунаров, сложена из кирпича и даже оштукатурена, но штукатурка обвалилась. На гребне стены торчали железные ржавые прутья. Между ними когда-то была натянута колючая проволока, кое-где она свисала свернувшимися в клубок ржавыми спиралями. Во дворе склада, сквозь пепел, хлам и мостовую пробивалась сочная трава. До сих пор пахло горелой краской.
— Ну... — обронила Злата, когда они обошли двор.
— Баранки гну... — Толик ткнул бочку башмаком. Бочка загудела глухо. — Гляди-ка, не разваливается. — Он поставил ее на попа. Залез и легонько попрыгал. Бочка ворчала, с боков ее осыпалась рыжая окалина. — Держит, — довольно произнес Толик, вытянул руку и замер на мгновение.
— Ты чего?
— Это я — памятник. — Он засмеялся и спрыгнул на землю.
— Нашел время для шуток! — сердито выговорила ему Злата.
— Значит, так. Слушай план. Бочки подкатываем к стене. На две ставим третью. Залезаем и смотрим тот двор. Если там часового нет, опускаем туда лестницу.
— Какую?
— Еще не знаю. Серега бежит к стене, забирается по лестнице, прыгает на бочки и тикает. Вот так!
— За ним же часовой на улице наблюдает!
— Отвлечем.
— Как?
— Еще не знаю.
— А откуда Серега узнает, что надо бежать к лестнице у стены?
— Сообщим в записке.
— В какой еще записке?
— А которую передадим.
— Как?
— Еще не знаю.
Злата посмотрела на приятеля насмешливо.
— Этого не знаешь, того не знаешь!.. Не план, а тришкин кафтан.
— Это ж наметка, Крольчиха, общий вид. Теперь продумаем детали. Прежде всего подкатим бочки. Помоги-ка.
Он покатил было бочку, но она загремела на камнях.

— Тише ты!

— Кто же ее зиал, что оиа так загремит, — скоифужеиио пробормотал Толнк. — Бери за тот край и покатим потихоиьку, без грохота.

Оии медлеиио подкатили бочку к стеие и поставили ее. Потом подкатили вторую и поставили рядом. Третью пришлось подинмать, она оказалась тяжелой. Потиые лица ребят покрылись копотью, словио оин печиые трубы чистили. Потом Толик влез иа бочки, ухватнлся за край стеиы, подтяиулся.

Двор разбитого дома был пуст. Валялись кирпичн, какне-то гнутые железяки. Из остова дома торчали обгорелые балки. Толнк ухватился за железиый прут иа гребие. Ои держался крепко.

Толнк опустился иа бочку.

— Ну? — тихо спросила Злата.

— Никого. Немцы, иаверио, решили, что через стеиу ие переберешься, и часового не поставили. Пошли.

— Куда?

— Домой.

— Как же мы пойдем такне чумазые? Еще подумают что...

— Пускай думают.

Оии вышли через сорваные с петель ворота н пошли по улнце. Встречиые удивлеиио смотрели иа иих.

8

Серега Эдисои очеиь обрадовался, увидев Толика.

Арестаитов велн из тюрьмы середниой улиц. Вызвали из камеры, постронли во дворе и повели. Вещей велели ие брать.

Ои шел по зиакомым улицам н жадио смотрел по стороиам. Город сннк, обветшал, шумиый и веселый, ои притих, съежнлся. Людей мало, жмутся к стеиам. Смотрят испугаиио иа малеиькую колоиику, по бокам которой шагают автоматчики с собаками.

Прошли мимо обветшалого цирка, с той сторонЫ, где служебиые ворота. Возле вагончиков бродили немецкие солдаты, слышалась чужая гортаиная речь, лаяли собаки.

Серега вспоминл, как оии перелезали через ограду еще до войны: ои, Ржавый, Злата и Толик-собачинк. Смотрелн, как репетируют Лужииы. Где-то теперь ребята? Может, н в городе инкого иет?

Внезапио ои ощутнл иа себе винмательиый взгляд. Подиял голову. На него смотрел мужчииа с иебольшой аккуратиой бородкой, в серой толстовке и широковатых брюках. Сразу ие узнал. Только потом сообразил, что это директор школы, Хрипак. Бородка подвела. Серега даже обериулся, ио автоматчик крикиул:

— Шиеллер, шнеллер!..

Хрипак, зиачит, не эвакуировался, остался в городе. Работает, верно, у иемцев. Или, может, по-старому директорствует? Говорят, иемцы открыли иачальиые школы. Учат ребятишек своей фашнстской грамоте, что ли?

Их привели иа улицу Коммунаров, к разбитому двухэтажиому дому. Он зиал этот дом, когда-то приходил к толстой Любке чиннть приемиик. Верио,

прямое попадание, крыши нет, одни покореженные стены. Если Любка была дома...

Колонну остановили на середине улицы. Подошел мужчина. Серая шляпа в темных пятнах от пота на тулье. Плащ, как показалось Сереге, надет прямо на голое тело.

— Значит, так. — Он ткнул пальцем с черным обломанным ногтем в соседей Сереги. — Ты, ты и ты... берите ломы, отковыривайте кирпичи. Да чтобы не колоть! Кирпичи нужны в целом виде. Ты, ты и ты... — Он ткнул в других. — Молоточками будете отбивать известку, цемент и прочую накипь. Чтобы кирпич стал как новенький. Работа на свежем воздухе укрепляет здоровье. Будете стараться — получите курево, а если барышни не курят — отвалю тульских пряников. — Он засмеялся и ткнул одну из девушек в грудь все тем же черным ногтем.

Она отшатнулась.

— Но-но! Не очень-то, — он кашлянул и приосанился. — Кирпичей надо много. Работы всем хватит. — Он посмотрел на долговязого Серегу. — А ты будешь у меня подъемным краном. Кирпичи будешь складывать в штабель. Вот здесь. — Он ткнул пальцем в сторону, где нужно будет складывать кирпичи. — А заодно и контролером ОТК... Чтоб худые кирпичи в дело не шли! Понял? Баланду привезут. Разгуливать туда-сюда некогда. Кому чего не понятно? Всем все понятно. Ко мне обращаться: господин прораб. А ты можешь просто Сеня, — сказал он девушке, которую ткнул пальцем. И снова засмеялся: — Берите инструмент и приступайте. Днем приду — проверю. Ауфвидерзейн, — сказал он автоматчикам и приподнял пятнистую шляпу. Под ней блеснул на солнце цыплячий пух.

Работа была нетяжелой, но нудной. Пыль висела в воздухе, забиралась в нос, в уши, скрипела на зубах. Глаза саднило, они слезились.

И вдруг — Толик... Даже как-то веселее, что ли, стало. И пыль не так лезет в глаза.

Ему уже казалось, что все Великие Вожди здесь, в городе. И непременно что-нибудь придумают, чтобы вызволить из беды.

В беду они попали случайно. Или, вернее, по собственной глупости. Трое суток шли лесом, ориентируясь по компасу строго на запад. Деревни, хутора и даже одинокие лесные домики обходили стороной. На ночь укладывались в лесу. Костры не разжигали. Ели всухомятку. Валя натерла ногу, морщилась на ходу от боли. Серега стащил с нее сапог, осмотрел натертую ногу, обмотал чистой портянкой, а к подошве привязал веревочкой кусок сосновой коры. Так Валя и ковыляла — одна нога в сапоге, другая — в онуче. Зато боли не было.

На четвертый день, на рассвете вышли на лесную дорогу и увидели неподалеку лошадь, запряженную в телегу. На телеге лицом к ним сидела женщина в пестром платке, накинутом на голову.

Она тоже заметила их. Прятаться не было смысла, и они двинулись к телеге. И только потом заметили троих мужчин под кустом на обочине. Один держал почти пустую бутылку, двое других хрупали соленые огурцы. Одеты они были пестро: клетчатая рубаха, старый, выгоревший пиджак, а у третьего — серый немецкий мундир без пуговиц.

Подошли поближе и увидели прислоненную к стволу дерева винтовку. Две другие лежали на земле.

Партизаны? Полицаи?

— Здравствуйте. Хлеб да соль, — поздоровался Серега.

— Едим да свой, — откликнулся один из мужчин постарше, тот, на котором был мундир. — Далеко собрались?

— Отсюда не видать, — в тон ему ответил Серега.

— Оружие имеется?

Молодой в клетчатой рубашке поднялся с места, подхватил винтовку. Он был толстогуб и краснощек, видно, от выпитого. Маленькие голубые глазки-буравчики сверлили Валю.

— Откуда! — сказал Серега. — Это вы с ружьями, а нам они ни к чему. Мы в город идем, на заработки.

— Издалеча? — спросил старший.

Теперь уже двое стояли с винтовками наперевес. И только он все еще сидел, похрустывая соленым огурцом.

— Из Мокрого Урочища, — ответил Серега.

Мужчины переглянулись, и Серега понял, что они впервые слышат такое название.

— Далеконько, — сказал старший.

— Далеконько, — откликнулся Серега. — Сгорела деревня и скотину не успели вывести.

— Немцы сожгли? — насторожился старший.

— Зачем. Немцы к нам и не захаживали. Сама сгорела. Баню сосед затопил, Зосима Иванович, может, слыхали? Кучерявый. Это фамилие у него такое. Затопил баньку, а сам за веником к сватье пошел. А баня возьми да загорись. А лето нонче сухое. Только сунь огню щепоть...

— Та-ак... История... — промолвил старший, и непонятно было, верит он или не верит. — А в котомках что?

— Известно, еда.

— Ну да? — ответил старший в тон и приказал своим: — А ну гляньте.

Клетчатый и тот, что в пиджаке, отобрали у них котомки, стали развязывать.

Вдруг сзади раздался свист и сильный щелчок кнута по крупу лошади.

— Н-но, милая! — крикнула женщина на телеге с каким-то отчаянием.

Напуганная лошадь дернулась, словно хотела привстать на дыбы, рванулась и с грохотом поволокла телегу по дороге, поднимая легкую серую пыль.

Старший вскочил на ноги.

— Стой! Стой, партизанская сука! Кому говорю — стой!

Клетчатый выскочил с винтовкой на дорогу. Грохнул выстрел.

— Мазила! — заорал старший.

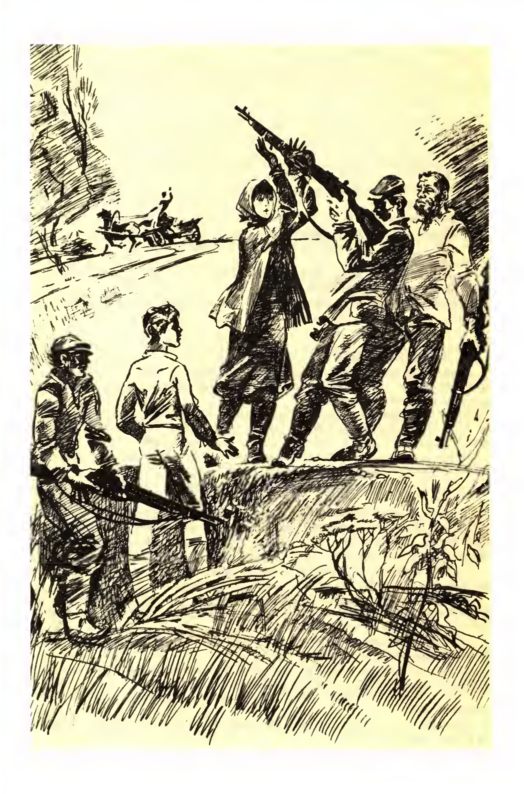
Клетчатый передернул затвор. В пыль, сверкнув на солнышке, вылетела стреляная гильза. Он поднял винтовку к плечу, но в тот момент, когда нажимал курок, Валя толкнула винтовку снизу. Пуля сбила ветку с березы.

— Ты что?.. А?.. — Клетчатый оторопел, лицо его и без того красное начало наливаться кровью, засинело. — Ты!..

— Остынь! — гаркнул старший. — Вяжи этих. Хоть каких привезем, от греха подальше.

Только теперь Серега понял, с кем они имеют дело. Полицаи схватили его и связали руки сзади.

— Эту я сам повяжу, — сказал Клетчатый. — Вы идите. Мы догоним.



— Ну-ну, — ухмыльнулся старший и скомандовал: — Топай.

Тот, в старом пиджаке, ткнул прикладом Серегу между лопаток.

— Да за что, братцы! — заорал Серега в отчаянии. — Мы чего? Мы — ничего. Идем себе. Жрать хотите, так берите! Не жалко.

— Топай, топай.

Сергей шел и все оглядывался. Вали не было видно.

И тут они услышали выстрел. А потом на дороге показался Клетчатый. Он почти бежал, закидывая винтовку за плечо.

Клетчатый догнал их и хрипло попросил тряпицу, кисть была в крови.

— Не девка — тигра. Шлепнул я ее.

Все произошло так неожиданно, так быстро и непоправимо, что Сереге захотелось завыть!

Версты через три они увидели лошадь с телегой. Женщины не было.

— Ушла, — сказал старший. — Всыпет нам Тарасенка.

— Не ушла, — усмехнулся Клетчатый. — Убита при попытке к бегству.

— Думаешь?

— А чего мне думать. Думалка у начальства. Наше дело — сполнять. Пускай проверяют. Лежит в кустах.

Серегу привезли в большое село. Потом дальше в город. Допрашивали, били...

— Арбайтен, арбайтен! — крикнул автоматчик.

Вскоре после полудня из переулка показалась ленивая лошадь. Она шла медленно, обмахиваясь рыжим хвостом. На телеге с резиновыми шинами восседал старик.

Арестанты прекратили работу, каким-то чутьем поняв, что везут баланду. Есть очень хотелось. Серега вытер слезящиеся от пыли глаза. Да это никак сторож из цирка, хромой. Еще один знакомый!

Лошадь подкатила телегу к разбитому зданию и охотно остановилась. Хвост ее беспрерывно летал вправо-влево.

— Та-ак, — сказал старик, не слезая с телеги. — Тут, что ли, зеки?

— Тут-тут... — произнес кто-то торопливо.

Старик, не обращая внимания на автоматчика, достал из-под доски, на которой он сидел, жестяные миски и ложки. Со дна телеги большой солдатский термос. Открыл крышку. Оттуда пошел такой мясной дух, что автоматчик изумленно поднял брови, а пес стал принюхиваться.

— Подходить по одному. Громко называть свое имя-фамилие, — сказал старик. — Чтобы по два раза не соваться. Знаю я вас!

— Найн, найн, — сказал автоматчик, взял ложку, сунул ее в термос, подхватил что-то густое, понес в рот. — О-о!.. Кара-шо-о! — Он схватил миску и сунул ее старику под нос.

— Арестованных объедаешь... Хрен с тобой, жри! — Старик налил автоматчику полную миску.

— Не волнуйтесь, крещеные. Никого не обижу. На всех хватит. Не тюремная баланда. Кулеш! От фрау Копф.

Никто из них не слышал такого имени, но все закивали дружно. Очень хотелось есть.

Арестанты подходили по одному, называли свое имя, и старик наливал им в миски варева до краев, да еще давал по ломтю хлеба. Они садились на груду кирпичей и жадно ели. Они не видели такой пищи давно, наверное,

с тех пор, как иачалась войиа. Оии уже забыли, что бывает такая еда. А в сравиеиии с тюремиой балаидой из брюквы!..

— Николаев, Сергей, — иазвался Серега. Так ои зиачился в документах.

Старик посмотрел на иего виимательио.

— Точио?

— Что ж, я своего имеии ие зиаю?

— А Ефимова среди вас нету?

Серега поиял, что старик ие зря заставил всех иазывать свои имеиа. Тут без Великих Вождей не обошлось.

— А вы сторожем в цирке работали, — сказал ои тихо.

— Точно.

— А я Эдисои.

— То ты Николаев, то Эдисои... — пробормотал старик иедоверчиво. — Держи. — И суиул ему хлеб, завериутый в бумажку.

Серега отошел в стороиу, сел иа кирпичи. Бумажку спрятал в кармаи. Потом передумал, извлек ее оттуда и расстелил иа колеиях. Положил иа иее хлеб. Похлебал из миски. Ои так разволиовался, ие разбирал, что ест. Все его виимание сосредоточилось иа автоматчике. Тот доел кулеш, дал облизать миску псу, бросил ее в телегу и отошел к дальиему углу дома. Автоматчик, что стоял там, торопливо пошел к телеге. Хлебать кулеш.

Серега осторожио сиял хлеб. В уголке бумаги малеиькими буковками было иаписаио:

«Завтра в обед. Как заварится каша. Тикай во двор. На стеие веревка. За стеиой — бочки. Будем ждать. В. В.»

«В. В.» — Великие Вожди.

Серега ие поиимал, что за каша и что за веревка. Ладно, иад этим ои еще успеет поразмыслить. Сердце его пело. Друзья действуют.

На следующий деиь, вскоре после полудия иа улице Коммуиаров случилось происшествие, о котором говорил весь город, кто со смехом, а кто и со злорадством.

Старик привез арестаитам балаиду, только раздал, как иа улице появился мальчишка с серой, прихрамывающей собакой. Собака, увидев служебиого пса автоматчика, вырвалась и, волоча за собой поводок, бросилась иа иего. Они сцепились, рыча, только клочья шерсти полетели. Автоматчик, который держал коиец поводка иавериутым иа запястье, от иеожиданности упал и облил себя горячим супом. На помощь ему бежал второй. Собак растащили. Обеим попало. Мальчишка со страху сбежал. Его собака умчалась за иим. Арестаиты с удовольствием смотрели иа собачью драку и смеялись иад автоматчиками.

А когда восстаиовилось спокойствие, одиого арестаита не досчитались.

Автоматчики растерялись. Поскольку оии отвечают за количество, а не за качество арестованных, оии задержали на улице прохожего и заставили его отбивать из стены кирпичи. А потом отвели в тюрьму. И только там выясиилось, что они возвратили не того.

Город потешался иад немцами.

А беглец, умытый и переодетый, сидел в доме Пантелея Романовича. И Толик был тут же, и Серый — виновник переполоха. Только Златы не было. Она ушла иа работу.

— Мне в лес надо, Толик. У меня дело в лесу.
— Темнишь? — обиделся Толик.
— Радист я, понимаешь? — сказал неожиданно Серега. — Меня в лесу ждут.
— Врешь!
— Когда я врал? — сказал Серега.
Толик помолчал. Потом сказал решительно:
— Дед, надо его в лес вести.
— Дороги не знаю...
— Как же быть?
— Сидите тут... За Шурой схожу... Если она дома.
— Что за Шура, дедушка? — спросил Серега.
— У тебя свои тайны, у нас — свои... — усмехнулся Пантелей Романович и вышел.

Толик гладил Серого и рассказывал, как у кого сложилась судьба в эту трудную годину. Когда Серега услышал, что Злата работает судомойкой у фрау Копф, а фрау Копф не кто иная, как Гертруда Иоганновна Лужина, он даже рот раскрыл.

— Как же так? А я ее мужа видел. Старший лейтенант, Герой Советского Союза. Вот как тебя.
— А говорили, он убит.
— Кто? Лужин?
Вернулся дед с женщиной в пестром платке.
— Вот этот.
Женщина присмотрелась к Сереге.
— Где-то я тебя видала, кавалер.
И он смотрел на нее.
— Вы на телеге сидели. Вас три полицая везли.
— Верно, — удивилась женщина.
— Хлеб да соль, — произнес Серега.
И женщина вспомнила его. Улыбнулась.
— Выручили вы тогда меня, сами того не зная. Висеть бы мне на суку.
— Да сами в беду попали, — сказал Серега.
— Вроде двое вас было.
— Валю застрелил полицай.
— Та-ак... В лес, значит. И издалека идете?
— Из Мокрого Урочища. Сгорела деревня дотла. Баню, вишь, решил истопить сосед, Зосима Иванович Кучерявый. Фамилие у него такое.
Женщина прислонилась к дверному косяку. Спросила неожиданно:
— Кресала, случаем, не имеете?
— Нет, — ответил Серега. — Трут одолжить можем, а кресала нет.
— На что мне трут без кресала, — женщина улыбнулась. — Здравствуй, товарищ. А мы вас уже заждались. Спасибо, Пантелей Романович, что позвали. Только мы здесь не были, разговоры не разговаривали. И ты помалкивай. Толик тебя зовут?
— Толик. Если Ржавого увидите — передавайте привет.
— Не знаю такого, — засмеялась женщина. — Пошли. Я тебя представляла старше, солиднее, что ли!
— Успею состариться, — грустно сказал Серега. — Это Валя наша останется вечно молодой.

9

Гертруду Иоганновну все чаще охватывало чувство тревогн. Оно было необъясннмо. Все шло нормально. Каменщнкн заделывалн стену. Прораб, которого ей рекомендовал сам оберст-фюрер Внтенберг, раздобыл пнломатерналы — доскн, брусья. Прораб не нравнлся Гертруде Иоганновне, не нравнлнсь его пропотевшая шляпа, замызганный плащ н прнтом всегда тщательно начнщенные корнчневые штнблеты. Не нравнлся его то наглый, то вдруг ускользающнй взгляд. Даже фамнлня его не нравнлась — Снсюннн. А самое главное, не нравнлось, что его рекомендовал Внтенберг.

Вместо арестованного адмнннстратора прншлось взять на работу Олену. Ту самую Олену, которая нздевалась над ней в тюремной камере еще в начале войны. Онн рассталнсь тогда смертельнымн врагамн. Потом эта самая Олена убнрала в квартнре у доктора Доппеля. А теперь вот стала адмнннстратором. И тоже по настоянню Внтенберга. Гертруде Иоганновне казалось, что Внтенберг спецнально окружает ее своннм людьмн, как бы берет в кольцо. И кольцо это постепенно сужается. Малейшнй неосторожный шаг, слово — н оно замкнется н стянется петлей. И уж не вырвешься нз нее!

Нервы былн так перенапряжены, что она стала опасаться всего: чьего-то громкого голоса, резкого двнжения, внезапного появлення незнакомого человека. Ей казалось, что сам воздух вокруг нее густеет н пропнтывается какнм-то ядом. Страх — плохой союзннк. Она бонтся за себя, бонтся за Петра. Ннчего не знает о Флнче. Что с ннм? Жнв лн?

Внтенберг нн разу не заговарнвал с ней нн о фокусннке, нн о певце. Ждет, чтобы она заговорнла первая. А она не заговорнт. Она бонтся.

Долго в таком состояннн не протянуть.

Связн с лесом нет, посоветоваться не с кем. И за каждым ее шагом следят. Она не внднт тайных шпнков Внтенберга, но чувствует спнной нх глаза. Иногда на улнце ей хочется взять н обернуться внезапно н увндеть ЕГО, того, кто ндет следом. Но она нн разу не обернулась. Она еще находнт снлы казаться наивной н беспечной, встречать улыбкой Внтенберга, смеяться его грубоватым шуткам. Надолго лн ее хватнт?

После побега арестанта Внтенберг прншел к ней. Сказал без обнняков:

— Однн ваш арестант сбежал.

Она растерялась. Она ннчего не знала.

— То есть, как сбежал? А кнрпнчн? — Это все, что она могла сказать.

И Внтенберг понял, что она действнтельно ннчего не знала. Вероятно, это ее спасло. Потому что Внтенберг смотрел на нее слншком долгнм н прнстальным взглядом.

— Вы прекратнте работы? — спроснла она.

— Из-за одного арестанта, который все равно попадется? — Внтенберг засмеялся. — Нет, фрау Копф. Кнрпнчн у вас будут. И стену заделают.

— Слава богу! — Она действнтельно почувствовала облегченне. Она так вбнла себе в голову, что от ремонта завнснт судьба Флнча н Федоровнча!

Служба безопасностн нскала мальчншку с серой хромой собакой. Но онн как сквозь землю провалнлнсь. Вернее, нскалн собаку. У мальчншкн не было прнмет. А собак в городе осталось немного. Даже к Кнндеру

присматривались какие-то люди, когда Петр сопровождал ее. Слава богу, Киндер не хромал!

Как-то на улице Гертруда Иоганновна встретила надзирательницу из тюрьмы. Та гуляла под ручку с фельдфебелем. Он был в такой же коричневой форме. Видимо, тоже надзиратель. Гертруда Иоганновна остановилась. Ей пришла в голову мысль, что, может быть, надзирательница знает что-нибудь о Фличе.

— Здравствуйте.

Надзирательница со своим кавалером остановилась, бесцеремонно рассматривая Гертруду Иоганновну. Не сразу узнала. А когда узнала — заулыбалась.

— Здравствуйте, фрау Копф! — она обернулась к фельдфебелю. — Это из двести седьмой. Как вы похорошели! Просто чудо! Я была к вам не очень строга. Ведь верно? А котлеты были великолепные.

Гертруда Иоганновна улыбнулась.

— С удовольствием угощу вас такими же. Фельдфебель Шанце тоже будет рад. Зайдете? Ресторан в гостинице «Фатерланд». Спросите меня.

— Как, Густав, придем?

— Если фрау приглашает, — сказал фельдфебель сиплым голосом.

Надзирательница со своим кавалером пришли через день. Гертруда Иоганновна увела их к себе наверх, усадила на диванчик у маленького столика, послала Петера к Шанце за закусками. Надзирательница долго вертела головой, рассматривая письменный стол, шторы, кресла, стены. Она проникалась уважением к этой маленькой женщине, которая металась по камере от стены к стене, как мышь в мышеловке. Уж она-то понаблюдала в глазок! Кресла, шторы, письменный стол казались ей роскошью. Надзирательницы жили по двое, в здании при тюрьме. Простые кровати. Простой стол. Портрет фюрера. Картинки на стенках: киноартисты и просто приятные мужчины из рекламных проспектов и журналов.

— Очень мило, — сказала надзирательница. От нее пахло дешевой пудрой и какими-то острыми духами. Запах наполнил всю комнату.

Гертруда Иоганновна открыла окно.

— Не дует?

— Что вы! Вечер теплый, я вся взопрела.

Ее фельдфебель сидел чинно, спину держал прямо, руки положил на колени. Он явно неловко чувствовал себя в гостях. Еще принесут кучу вилок-ложек, разбирайся, что чем брать! А ведь человеку и надо-то рюмочку шнапса, кружку пива и пару сосисок. Он недовольно покосился на свою подругу.

— Сейчас мы для начала выпьем по рюмочке хорошего французского коньяку.

Гертруда Иоганновна поставила на стол рюмки с плоским дном. Налила в них коньяк.

Фельдфебель оживился. Крашеные усы его вожделенно дрогнули.

— Ваше здоровье, фрау.

— Ваше здоровье, — повторила надзирательница.

Они выпили. Гертруда Иоганновна чуть пригубила рюмку и держала ее, грея в ладонях, как любил делать Флич. Ах, Флич, Флич! Что только не перетерпишь, чтобы узнать, что с ним.

Разговор не клеился. Она снова разлила коньяк в рюмки.

— Ваше здоровье, фрау! — воскликнул сипло фельдфебель.

— Ваше здоровье, — как эхо повторила его подруга.

«О чем с ними говорить? — мучительно думала Гертруда Иоганновна. — О нарядах? Но разве можно говорить о нарядах, глядя на их коричневую форму!.. О литературе? Они же читали только «Майн кампф»... О музыке? О цирке?..»

Выручили Петер и Шаице. ПриHесли закуски. Уставили стол тарелками. Появилась бутылка русской водки. Фельдфебель глядел на нее, как завороженный. Подруга толкнула его в бок: видишь, как нас принимают!

Шанце ушел на кухню, Петер — в спальню. Гости охотно пили и ели. На одутловатом лице фельдфебеля четко обозначились синие прожилки, а кончик носа стал лиловым. Надзирательница порозовела. Засовывая в рот очередной кусок, оиа издавала странный звук «эм-мме-уумм». То ли от удовольствия, то ли по привычке.

— Жаль, что мы с вами не познакомились раньше, — сказала Гертруда Иоганновна, не задумываясь, что звучит эта фраза странно и двусмысленно. — Раньше, до того, как эти мерзавцы партизаны взорвали мой ресторан, у меня было кабаре. Танцевали девочки. Вам бы это понравилось, фельдфебель.

— Девочки — да-а... — промычал фельдфебель.

Подруга поднесла к его носу довольно увесистый кулак.

— А фокусник был — просто чудо! Представляете, наливал в кувшин воду, а доставал оттуда живого петуха.

— Надо же! — воскликнула надзирательница.

— Лучше бы жареного, — просипел фельдфебель и затрясся от беззвучного смеха.

— Между прочим, фокусник этот где-то у вас. Не встречали?

— Он мужчина? — спросила надзирательница. — У меня женский блок.

— Такого мужчину вы не могли не заметить. У вас прекрасный вкус, — польстила Гертруда Иоганновна.

— Да-а... Меня она усекла в первый же день, — кивнул фельдфебель. Шея от выпитого у него ослабла, и голова все время беспорядочно двигалась, словно крепилась к туловищу на шарнире.

— Фамилия его — Флич.

— Фамилия ничего не говорит, — качнулась фельдфебельская голова. — Нужен номер.

— Он необычно одет, — осторожно вдалбливала Гертруда Иоганновна. — В черный фрак с белой манишкой.

— А-а... Фрак... Пиджак с хвостом. Был. Был такой! — воскликнул фельдфебель. — Камера шестьдесят семь. Какая память!.. Верите, бочку выпью, фрау. Как меня зовут — забуду. А номера помню.

— Так-так, господин фельдфебель. Просто чудо, а не память! Значит, он у вас?

— Был... Был... Еврей... Такой... — фельдфебель взмахнул нетвердой рукой над головой, хотел показать прическу арестанта, но покачнулся и облокотился на плечо подруги. — Теперь нету... Отправлен в лагерь.

— В лагерь?

— Всех евреев отправляют в лагерь. Такой порядок... Вы не сомневайтесь, фрау... Всех!

Гертруда Иоганновна почувствовала, как кровь отливает от лица, сцепила руки. Держаться, держаться!..

— Ой, какая вы бледная, фрау! — сказала надзирательница.

— Это бывает, — просипел фельдфебель. — Я тоже от белого краснею, а от красного — белею. — Он опять затрясся от беззвучного смеха.

— Еще у вас сидит дьякон, поп, — Гертруда Иогановна выдавливала слова сквозь зубы. — В малиновой рубахе.

— Номер?

— Откуда ж мне знать, господин фельдфебель.

— Без номера человек не бывает...

— Говорит таким густым басом.

— Нет... У нас не говорят...

— Романсы поет.

— В карцер!.. У меня порядок, фрау.

Гертруда Иогановна поняла, что больше ничего не добьется. Она встала.

— Спасибо, господа, что заглянули. Рада была посидеть с вами.

— Густав, — сказала надзирательница. — Пойдем. Пора. Чудесный вечер, фрау Копф. Мы очень довольны. Все очень вкусно.

Фельдфебель вцепился неуклюжими пальцами в бутылку.

— Фрау не рассердится, если я возьму остатки с собой? На свежий воздух. — Он громко икнул. — Нельзя недопитую... Непорядок.

— Бога ради, господин фельдфебель.

— Густав, — он поднял бутылку над головой и покачнулся. — Попадете в тюрьму, вызывайте меня... Густав.

Они вышли в коридор. Гертруда Иогановна слушала, как удаляются неверные шаги. Потом заперла дверь, прошла в спальню, села на кровать, опустив руки, как плети.

— Что, мама? — спросил встревоженно Петр.

— Флича отправили в лагерь.

— Неплохо набрались, фельдфебель.

— Так точно, господин штандартенфюрер! Выходной.

— Давно служите?

— Всю жизнь при тюрьме, господин штандартенфюрер.

— Пора уже быть обер-фельдфебелем?

— Так точно, господин штандартенфюрер. Жду.

— Фрау Копф угостила?

— Подруга моей подруги. — Фельдфебель ткнул надзирательницу локтем в бок. — Сидела у нее в блоке.

Витенберг улыбнулся.

— Еще смею сказать, господин штандартенфюрер, нет ближе знакомых, чем арестант и тюремщик.

— Да вы — философ, фельдфебель!

— Никак нет! Старший надзиратель.

Витенберг остановил их в вестибюле. Фельдфебелю льстило, что такой начальник обратил на него внимание.

— О чем же вы говорили с фрау Копф?

— Милейшая женщина...

— Фрау спрашивала об арестанте, — вставила надзирательница, она чутьем поняла, чего хочет от них штандартенфюрер. У нее был врожденный нюх на начальство.

— Фамилия арестанта Флич?

— Номер шестьдесят семь, господин штандартенфюрер. Пиджак с хвостами... — Фельдфебель показал бы руками хвосты, но перед начальством надо держать руки по швам. Это он усвоил с детства. Порядок.

— И что вы ей сказали?

— Отправлен в лагерь, — ответила надзирательница.

Штандартенфюрер снова улыбнулся.

— Спокойной ночи, — он покосился на бутылку в руке фельдфебеля и добавил: — И хорошего похмелья.

Предчувствия не обманывали Гертруду Иоганновну. Круг замыкался.

10

— За Гертрудой установлена слежка. Шура видела, как за ней ходят хвосты. Думаю, что под наблюдение взяты все, кто ее окружают, — и Петр, и повар, и служащие в гостинице. Штандартенфюрер Витенберг никому и ничему не верит. Его принцип — нет дыма без огня. Так я понимаю. Он замкнул круг, а Гертруда — в центре. Судя по ее поведению, она ни о чем не догадывается. Вероятно, уверена, раз выпустили, беда миновала. — Алексей Павлович перочинным ножичком сдирал кору с прутика. Прутик был тоненький и гнулся.

Рядом на расколотом вдоль бревне, уложенном на два пня, сидел «дядя Вася». Такие лавочки сооружены почти возле каждой землянки. Лагерь обжит, через болота проложена надежная гать, настил притоплен в воду. Заготовлены дрова на зиму. На высоких соснах сооружены неприметные площадки для наблюдателей. Выставлены секреты и дозоры. Ни суеты, ни крика. Штаб бригады живет размеренной деловой жизнью. Уходят на задания группы. Летят под откос вражеские эшелоны, горят склады, громятся фашистские гарнизоны. Сотни людей собирают сведения о передвижении гитлеровских войск на железной дороге и на шоссе. Можно сказать: ни один фашист не пройдет незамеченным. В определенное время штаб бригады связывается по радио с центральным штабом партизанского движения. Идут шифровки в Москву и из Москвы.

«Дядя Вася» прислушался к тоненькому писку, доносившемуся из землянки. Эдисон работает.

— Значит, контакты с ней исключены?

— Исключены. Любой контакт только расширит сферу слежки. И приведет к провалу. — Алексей Павлович осторожно, чтобы не сломать, достругивал кончик прутика.

— Думаю, пора Гертруду забирать из города.

— Все не так просто, командир. У нее сын, Павлик, в Берлине. В руках Доппеля. Старый нацист знал, что делает. Ему надо, чтобы Гертруда выколачивала деньги из гостиницы и не рыпалась. Пока Павел у него в руках — и Гертруда у него в руках. К тому же в глазах окружающих он добрый наци, обращает мальчишку в свою веру. Вот такой узелок, командир.

— Н-да... Но если Гертруда провалится...

— Павлу все равно не поздоровится. Да и Доппелю, вероятно. Я даже предполагаю, что из тюрьмы ее вызволил Доппель. Нажал в Берлине на

какие-то пружинки. Витенберг вынужден был ее выпустить. И наблюдает. И припрет к стенке и Гертруду и Доппеля вместе с ней. Фашисты, как пауки в банке, командир. Готовы в любой момент сожрать друг друга.

— Выходит, как ни кинь — все клин?

— Выходит.

— Гертруду надо из города забрать, — повторил «дядя Вася». — Она для нас ценный человек. И сделала очень много. Не по-нашему это, своих в беде бросать.

— У меня у самого душа болит. Я ее в эту историю втравил. Между прочим, когда я ей предложил в тюрьму сесть, чтобы ее немцы оттуда вызволили, не задумываясь согласилась. А ведь у нее дети!

— Ты что, Алексей, себя уговариваешь?

— Да не уговариваю, — раздраженно сказал Алексей Павлович. — Я все понимаю, выхода не нахожу!

— Слушай, а ты, часом, в Гертруду не того?.. — лукаво спросил «дядя Вася».

— Эх... Не будь ты командиром, наладил бы я тебе сейчас по шее.

— Ладно, Алексей, не сердись. Это я так, чтобы тебя из равновесия вывести. Спокойный ты больно стал. Помнишь, мы с ней на речке встретились, ее твой дружок привез... Как его?

— Обер-лейтенант фон Ленц.

— Пусть фон Ленц... — «дядя Вася» умолк, поджал губы.

— Ну... — не выдержал молчания Алексей Павлович.

— Не «нукай», не запряг... Как бы ее вместе с сыном снова туда выманить.

— Зачем?

— Засаду устроим. Нападем. Захватим в плен. Пусть тогда немцы по ней плачут. Погибла патриотка великого рейха!.. А? И Витенберг с носом. И Павел цел. И Гертруда с нами.

— Ну, командир!.. — Алексей Павлович загорелся. — В этом что-то есть... Определенно есть в этом сермяга... Есть сермяга... Только как ее из города выманить? Да прямо на засаду?

— Это уж твоя забота. Думай.

Из землянки вышел Серега Эдисон в новеньком ватнике, накинутом на плечи.

— Радиограмма, товарищ командир.

— Иду. А ты думай, Алексей. День тебе на раздумья.

Алексей Павлович кивнул. Спросил Серегу:

— Как, Эдисон, обживаешься?

— Как дома. Половина знакомых. — Эдисон улыбнулся.

— А почему у тебя борода не растет?

Серега покраснел.

— Не знаю, товарищ командир разведки.

— Алексей Павлович меня зовут. Ты ведь с Василем Долевичем в одном классе учился?

— Так точно.

— Василю шестнадцать. А тебе сколько ж?

— Восемнадцать, — все больше краснея, ответил Серега.

— А по правде?

Серега помолчал, подумал, не выгонят же из отряда... Уж раз попал — не выгонят! И сказал:

— Тоже шестнадцать.

— Как же ты в школу радистов попал? Охмурил кого?

— Прибавил два года. Справку с завода принес. Из отдела кадров.

— Да-а, — засмеялся Алексей Павлович. — Лопухи у вас в отделе кадров сидят.

— Нет, — вступился Серега за отдел кадров. — Не лопух он. Просто видит плохо. А я очки газеткой прикрыл. Он поискал, рассердился и спрашивает: «Какой тут год?» Ну, я и прибавил.

— Ладно, Эдисон. Ты мне не говорил, я тебя не слышал. Найди-ка мне дружка своего.

— Ржавого? Есть!

И Серега побежал искать Долевича.

Через три дня из лагеря на особое задание вышел небольшой отряд партизан. Вел его Алексей Павлович. Никто в штабе бригады не знал, куда он направляется и зачем. Впрочем, это никого не удивило. Все рейды начинались так, втихую. Уж потом командир ставил задачу. Чтобы каждый понимал, что надо делать. В группе был и Василь. Напросился. И Алексей Павлович не смог отказать. Обычно командир верил в успех. В этот раз Алексея Павловича одолевали сомнения. Потому что успех зависел не от него. Скорее от штандартенфюрера Витенберга.

Тетя Шура понимала, что даже судомойка у фашистов под наблюдением. Просто так на улице не подойдешь. Злата возвращалась поздно. И как не боится девочка? Тетя Шура решила подождать ее во дворе.

Злата вздрогнула, когда незнакомый женский голос окликнул ее из темноты, машинально прижала к груди узелок с костями и мясными обрезками.

— Тебе привет от Василя, — произнесла невидимая женщина. — Надо поговорить.

— Заходите, — пригласила Злата.

— Хорошо. Только свет не зажигай.

Злата открыла дверь. В дом бесшумно проскользнула темная фигура.

— Запри дверь. У тебя на кухне окно занавешено?

— Кажется.

— Проверь.

Злата прошла на кухню, наткнулась на стул. Стул громыхнул.

— Занавешено.

— Ты обычно свет зажигаешь, когда приходишь?

— Да.

— В комнате?

— В комнате.

Злату удивляли вопросы. Тетя Шура поняла это.

— Не удивляйся, — сказала она. — И зажги в комнате свет. Чтобы все, как обычно. А я на кухне посижу. — Она прошла на кухню.

Злата зажгла в комнате свет. Посмотрела на спящую Катерину. Одеяло почти совсем сползло на пол, она поправила его.

В темной кухне на стуле сидела женщина. Злата не видела ее лица. Слабый свет пробивался через дверь.

— Садись, — сказала женщина. — Разговор у нас очень серьезный. О жизни и смерти.

— Что-нибудь с Василем?..

— Да нет... Василь тебе кланяется. Как ты с Катериной справляешься?

— Нормально.

Злата не видела лица женщины и потому не очень-то доверяла ей. А потом странным казалось, что надо было зажечь свет в комнате и не зажигать на кухне. Откуда эта женщина? Кто? Женщина пошарила по столу, нащупала пакет с косточками.

— Серому косточки?

Про Серого никто знать не должен. Серого ищут. Злате стало не по себе.

— Сами едим. Суп варим.

— Меня зовут тетя Шура, — сказала женщина. Голос у нее был тихий и приятный. — Людей, которые меня послали, ты не знаешь. Кроме Василя Долевича. А Серый у Пантелея Романовича спрятан. Видишь, я все знаю. Даже знаю, что вы с Василем пожениться собираетесь, когда фашистов прогоним.

Уж этого никто, кроме Василя, знать не мог! Значит, Василь ей сказал. Значит, она действительно из леса, от Василя.

— Дело к тебе, Злата. Ты Гертруду Иогановну видишь?

— Вижу. Она на кухню заходит каждый день.

— Разговариваете?

— Так... Здрасте — до свидания. Она же хозяйка, а я посудомойка.

— А ведь она тебя зимой выручила, когда офицерик об кровать стукнулся.

— Вы и это знаете? — удивилась Злата.

— Теперь ее выручать надо. Служба безопасности у нее на шее петлю стягивает. Уходить ей надо из города, а за ней хвосты ходят, шпики, — пояснила тетя Шура. — И Павлик в Берлине.

— Понимаю.

— Хорошо, что понимаешь. Партизаны разработали план. Найди возможность пересказать его Гертруде Иогановне. Это очень важно. Очень.

— Понимаю, — одними губами прошептала Злата.

Они еще долго сидели за столом в темной кухне и шептались.

А после того как тетя Шура ушла в ночь, Злата долго еще не могла уснуть. Многое открылось ей. Она по-новому увидела Гертруду Иогановну. Они были несправедливы к ней. Они в душе ненавидели ее. Она была для них немкой, хозяйкой гостиницы. И с Петькой и Павликом они перестали дружить, сыновьями немки, которая пошла работать к фрицам. Даже то, что она выручила тогда ее и Шанце, было не в счет. Она выручала себя. Ей было бы плохо без повара. И она не хотела скандала.

Завтра она найдет возможность поговорить с Гертрудой Иогановной наедине. Так, чтобы ни одна живая душа не узнала об этом.

Но поговорить наедине с Гертрудой Иогановной ей не пришлось. Она успела только шепнуть ей:

— Вам привет от Алексея Павловича. Он просил починить замок его чемодана.

Она видела, как ресницы Гертруды Иогановны дрогнули.

— Шанце, давайте посмотрим меню. И выясним, что у нас с посудой. —



Гертруда Иогановна сказала это повару по-немецки. Злата ничего не поняла. Они ушли в каморку повара.

Вот тебе раз! Может, она сказала что-нибудь не так? Да нет, точно, как велела тетя Шура. Злата растерялась, но тут ее позвал Шанце. Она пошла в его каморку. Гертруда Иогановна сидела у стола. Шанце прислонился к двери.

— Что ты должна мне сказать? — спросила Гертруда Иогановна по-русски.

Злата покосилась на Шанце.

— Можешь при нем. Его не надо бояться.

Злата начала сбивчиво передавать все, что говорила ей тетя Шура.

— Не торопись, Злата. Еще раз, — попросила Гертруда Иогановна.

Она слушала молча, опустив веки. Только один раз задала уточняющий вопрос. Потом встала, потерла ладошкой покрасневшую щеку.

— Спасибо, Злата. Вы все ошень хорошие люди, ошень храбрый народ. Передай, я все сделаю. Если только получится.

Она поцеловала Злату в лоб. Шанце открыл дверь.

— Если так будет продолжаться дальше, я буду разорен! Конечно, тарелки это всего пфенниги. Но из пфенниги складываются марки! У меня не так много марки, чтобы кидать пфенниги! — Лицо Гертруды Иогановны пылало яростью. Она вышла, ни на кого не глядя. Поварихи испуганно проводили ее взглядами.

— Попало тебе, Злата!.. — пожалела одна из них девочку.

— А ну ее! — воскликнула та и залилась слезами. — Вечно... придирается... — Она плакала по-настоящему, слезы лились по щекам и приносили облегчение. Она передала все, что велели. Она спасала Гертруду Иогановну. Фрау Копф. Нет, товарища Лужину.

Гертруда Иогановна заболела. Второй день лежала с мокрым полотенцем на голове. Пила крепкий кофе, от которого сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

Киндер лежал возле кровати. Пахло лекарствами. Шанце ходил печальный, нос его свешивался на подбородок.

Штандартенфюрер счел нужным нанести больной визит.

Он пришел днем, в предобеденное время. Петр подвинул кресло к кровати.

— Чем это пахнет?

— Мятные капли, — ответила Гертруда Иогановна.

— Помогает?

— Ах, господин Витенберг, я так устала с этим ремонтом, с продуктами. Ведь раньше о продуктах заботился доктор Доппель. А теперь все свалилось на меня. А я всего-навсего слабая женщина. Когда я работала в цирке, упала с лошади. Расшиблась. И с тех пор бывают эти ужасные приступы головной боли.

— Но что-то должно помогать, фрау Копф?

— Только воздух. Я задыхаюсь в этом каменном мешке. Между нами, я ненавижу город. После победы я куплю домик в деревне и буду разводить цветы. Фюрер очень любит цветы. Ах, голова просто раскалывается! В прошлый раз, когда у меня разболелась голова, обер-лейтенант фон Ленц, друг покойного штурмбанфюрера, вывез нас на природу, к речке. Ах, какая

это была чудесная прогулка! Я чувствовала, как силы вливаются в меня! Мальчики наловили рыбы, мы сварили уху. Это был незабываемый день!

— Вы хотите, чтобы я вас вывез к речке? — улыбнулся Витенберг.

— Что вы, господин Витенберг! Без вас тут весь город разнесут! — Она поднялась на локте, внезапно ей пришла в голову отличная мысль. — Послушайте, господин Витенберг, хотите сделать доброе дело, дайте мне машину на денек. Мы с Петером съездим к речке, на то же место. Грибы!.. Любите грибы в сметане?

— Гм... Не очень. Впрочем, редко доводилось есть грибы, да еще в сметане.

— О-о!.. Шанце большой спец по грибам! Ей-богу, господин Витенберг. Ведь есть же у вас сердце! Дадите нам пару солдат, таких, что разбираются в грибах. Петер захватит удочки. Дорогу я помню.

— В лесу опасно, фрау Копф. Партизаны активизировались.

— А, ерунда! С господином фон Ленцем мы ездили в такое место, где партизанам делать нечего. Там ни наших войск, ни населения нету.

Витенберг не знал, что и думать. Врет или ей действительно надо на природу?

— Когда бы вы хотели поехать?

— Вы даете машину? — обрадовалась Гертруда Иогановна.

У нее какая-то цель. Какая?

— Возможно, — сказал Витенберг. — Так когда вы хотите ехать?

— Когда дадите машину. Завтра, послезавтра, через неделю... Чем скорей, тем лучше.

Так. Ехать ей все равно когда. Значит, определенной цели у нее нет.

— Хорошо. Я постараюсь что-нибудь придумать. Может быть, даже сам поеду с вами. Не мешает поразмяться.

— Буду только рада. Я ничем не угощаю вас, хороша хозяйка! Хотите крепкого чаю по-русски?

— Спасибо, фрау Копф. Поправляйтесь.

— Не забудете за делами про свое обещание?

— Нет. Я всегда все помню.

Он откланялся. Она откинулась на подушку, сняла сырое полотенце со лба. Она сделала все. Оставалось только ждать.

Витенберг дал машину через два дня. С Гертрудой Иогановной, Петером и Киндером ехали два автоматчика и тот самый молоденький унтер-штурмфюрер СС, который пришел в артистическую сразу после взрыва.

Шанце принес целую корзину провизии и шнапса. Автоматчики косились на белую салфетку, которой было прикрыто все это богатство, словно мысленно старались проникнуть сквозь нее и угадать содержимое.

Подошел штандартенфюрер.

— Вы довольны, фрау Копф?

— О, господин Витенберг. Довольна, это не то слово. Я счастлива! Женщине так немного надо! Хороший кавалер. Хорошая охрана. И свежий воздух!

Она не знала, что штандартенфюрер дал указание молоденькому унтер-штурмфюреру: в случае возникновения острой ситуации пристрелить фрау Копф. Он не такой простак, как она думает, и если это ловушка, то первой в нее попадет фрау.

Машина тронулась. Унтер-штурмфюрер сидел рядом с шофером.

Автоматчики зажали Гертруду Иогановну и Петра с двух сторон. Киндер лежал у ног.

— До свидания, мой штандартенфюрер, — Гертруда Иогановна, улыбаясь, помахала рукой.

Проехали шлагбаум на мосту. Сожженную деревню.

— Вы никогда здесь не бывали? — спросила Гертруда Иогановна унтер-штурмфюрера.

— Нет.

Он был не очень-то разговорчив.

— Поезжайте потише. Скоро поворот налево.

Шофер снизил скорость.

«Вот по этой же дороге ехал Пауль», — подумала Гертруда Иогановна.

— Кажется, здесь.

Влево уходила грунтовая дорога с наезженной, но заросшей колеей. Машину затрясло на ямах. Справа и слева двигались навстречу деревья, нестройно, как усталые войска.

Наконец дорога уперлась в речку. Речка текла неторопливо, в ней отражались плывущие в небе облака. День, похоже, выдался славный. Березы тронуты осенним багрянцем. Боже, как хорошо! Как хорошо жить!

Все вышли из машины. Автоматчики озирались. Унтер-штурмфюрер прислушивался и зачем-то нюхал воздух.

Журчала вода, трогая нависшие ветви ив. Пахло прелым листом, рекой и грибами.

— Вот здесь мы прошлый раз ловили рыбу! — воскликнул Петр.

Гертруда Иогановна подошла к нему, улыбаясь, обняла за плечи, сказала по-русски:

— Как только начнется стрельба, ложись на землю.

Петр даже не понял, о чем говорит мать, посмотрел на нее. Она улыбалась. Повернула голову к молоденькому унтер-штурмфюреру.

— Жаль, что нельзя поваляться на траве. Земля сырая.

— Да.

Унтер-штурмфюреру показалось, что рядом хрустнула ветка. Он обернулся. Грохнул выстрел. Пуля шлепнула его в лоб. Он упал, не понимая, что произошло...





Часть третья

МЕДНЫЕ ТРУБЫ

1

Страниое что-то творнлось с пнсьмамн. Сначала мама перестала пнсать. Месяца трн, а то н четыре не было от нее нн строчкн. Потом прншло пнсьмо, напечатанное на машннке. Оно по содержанию было похоже на приходнвшне раньше. Даже слова вроде те же. А новостей ннкакнх. Ннкакнх. Потом опять перерыв, н опять машннопнсное. Хоть бы сообщнла, что прнобрела машннку!

Павел аккуратно посылал ей письма, хотя н у него новостей по сутн не было. Не обо всем напншешь.

Берлии изменялся. Особенно это стало заметно после Сталннграда.

Бывало, фрау Анна-Марня выводнла Павла н Матнльду на прогулку. Как выводят собачек, когда хотят нми похвастаться. Расчесывают шерстку, подвязывают бантики, выбнрают ошейннкн понарядней.

Онн торжественно шлн по прямой веселой улице. Слева от Анны-Марнн Матнльда, справа — Павел. Шажкн у Анны-Марнн мелкие, нетороплнвые, свежее лнцо озарено наглухо прнклеенной улыбкой, сверкают белые, ровные зубы — гордость дантнста. Матнльда непрнметно стронт глазкн встречным мужчинам. Павел почтнтельно поддержнвает фрау под руку. Добрая бюргерская семья!

И навстречу двигалнсь такне же добрые бюргерскне семьн.

Двери множества лавок н лавочек открыты настежь. Подобострастно улыбающнеся владельцы предлагалн сытым, довольным, угоревшим от победных труб покупателям брюссельские кружева, норвежскую сельдь, фраицузскне коньякн, голландскнй сыр, украннское сало. Нарядные дамы украдкой гляделнсь в толстые стекла внтрнн: переливалнсь лионскне шелка, русские меха, воздух пропитывался ароматом парнжскнх духов. Почта

завалена посылками, доблестные воины слали любимым награбленное добро.

И ничто не могло нарушить добротной жизни берлинской улицы.

Женщина в черном с опухшими от слез глазами? Война. Смерть за фюрера — высшее благо.

Провели еврея под конвоем? Чем меньше евреев — тем чище.

Промчались полицейские машины? Порядок прежде всего! Ничто не могло стереть улыбки с лиц берлинских обывательниц.

Слово «победа!» было самым модным.

Из витрин бодро глядел с портретов фюрер.

Стояло лето сорок второго года.

Потом сталинградский траур. Счастливое время для Павла.

Город тощал на глазах, ветшал, словно покрывался коростой.

Лавки закрылись. На дверях висели тяжелые замки. Улицы опустели. По ним торопливо шли угрюмые, озабоченные берлинцы. На улыбающегося человека подозрительно оглядывались. И даже во взгляде фюрера на портретах исчезла бодрость.

Доктор Доппель стал запираться в своем кабинете.

Фрау Анна-Мария ходила по дому на цыпочках, прижимала палец к губам, делала большие глаза и произносила шепотом, словно выпускали воздух из велосипедной шины:

— Тс-с-с... Отец работает.

Да уж, задала ему работку Красная Армия. Всем им задала работку!

В газетах появились извещения о судах над саботажниками, о приговорах за отказ от работы.

Значит, кто-то сопротивляется? Кто-то не боится? Кто-то не верит ни в новое оружие, ни в выравнивание линии фронта?

Павел научился читать газеты. Научился в потоке лжи и откровенной фашистской пропаганды улавливать, угадывать правду.

Даже в школе произошли перемены. Со стены в коридоре исчезла карта военных действий. Господин директор велел перенести ее к нему в кабинет. Одноглазый Вернер притих. Кроме автоматов и пистолетов появилась на вооружении школьников новинка. Называлась фауст-патрон. Никто не знал, как и чем он стреляет, этот патрон. Просто Вернер показывал, как целиться и на что нажимать. Снарядов не было.

А однажды в класс не явился маленький Вайсман. Он отсутствовал три дня. На четвертый пришел осунувшийся, сникший, молча положил потрепанный портфель на стол.

— Болел? — спросили ребята.

Он не ответил.

Первым уроком была геометрия. Господин Функ, высокий, лысый, со старушечьим лицом, изборожденным морщинами, был немного глуховат.

— Вайсман, — сказал он громким раскатистым голосом, — вы отсутствовали три дня. Потрудитесь оправдаться.

Вайсман встал. Уши у него горели, как два подожженных фитиля.

— Я... Я не мог...

— Потрудитесь...

— Папу забрали гестаповцы.

— Гм... — Функ пошевелил губами. — Очевидно, он плохой немец.

— Нет... Он воевал... — звонко сказал Вайсман.

— Гм... Дезертировал с фронта?

— Он был ранен! — крикнул Вайсман.

— Не кричите, я не глухой, — поморщился Функ. Он, как многие глухие, не любил, когда говорили громко.

— Папа был ранен! — снова крикнул Вайсман. — Его отпустили домой. А теперь снова хотели отправить на фронт. Он им прямо сказал: «Вы — здоровые дубы, идите в этот ад и умирайте за своего фюрера сами».

— Но это же — бунт! — прошептал Функ.

Ребята зашумели.

И тут тщедушный Вайсман крикнул сквозь закипавшие слезы:

— А почему бы вам, господин учитель, не взять автомат и не пойти на фронт?

— Но я стар, — промямлил Функ.

— А мой папа болен! Болен!.. Он один остался в живых из целой роты. Понимаете? Один! Все погибли! Папа сказал: еще год и не останется ни одного солдата, ни одного! — И Вайсман заплакал.

Функ взял его за плечо и вывел из класса. Все были подавлены этой сценой. И только кто-то на задней парте сказал:

— Врет он все. Мы победим!

Но ему никто не ответил.

Функ вернулся в класс один. Вайсман больше в школе не появлялся. Павлу было жалко Вайсмана, он бы сходил, навестил его, но не мог, не имел права.

Потом начались бомбежки. На месте разрушениых домов быстро разбивали чахлые скверики. Будто ничего не было: ни дома, ни жильцов. Берлин озеленялся.

Фрау Анна-Мария падала в обморок, как только объявляли тревогу. Ее приходилось уносить в подвал, в бомбоубежище, на руках.

Глупая Матильда гасила в комнате свет и, отодвинув штору, выглядывала на улицу. Ей было интересно увидеть, как рухнет какой-нибудь дом. А что бомба может попасть в ее дом, она и мысли не допускала.

Доктор Доппель вывез семью в маленький городок недалеко от Берлина. Здесь не бомбили, но городок словно оцепенел от страха. Жители почти не появлялись на улицах, только по утрам у единственной открытой лавки выстраивалась молчаливая очередь за картофелем, да изредка по гулким щербатым плиткам панелей стучали деревяшками инвалиды.

Окно комнаты, в которой жил Павел, выходило на мощенную серой брусчаткой площадь, где высился кирпичный собор, потемневший от копоти, времени, дождей и ветров. Шпиль собора так высоко уходил в небо, что, если смотреть на венчающий его крест, начинала кружиться голова. А возле собора, прямо против Павликова окна, расставив ноги на тяжелом каменном постаменте, стоял рыцарь, закованный в латы. На голове — тяжелый рогатый шлем, лицо прикрыто решетчатым забралом, правая рука в железной перчатке держит опущенный долу меч, словно рыцарь только что отрубил чью-то голову или вот-вот подымет меч и отрубит.

Павел возненавидел железного рыцаря. Он был для него олицетворением тупой, жестокой силы. Меч в его руках был карающим без суда. И устремленный в небо собор за его спиной не взывал о милосердии, а благословлял рыцаря на кровь.

Фрау Анна-Мария объяснила Павлу и Матильде, что в рыцаре, которо-

му поставлен памятник, билось доброе сердце, он защищал немецкую землю от врагов, давным-давно, сколько-то веков назад. Матильда посмотрела на рыцаря и хихикнула. Павлу даже показалось, что она состроила ему глазки, как любому встречному мужчине. А сам он вдруг увидел виселицы на заснеженной площади Гронска и длинное тело клоуна Мимозы, ногами в рваных носках почти касающегося дощатого настила. А вокруг шагают фашисты — потомки рыцаря с добрым сердем. Ему мучительно захотелось плюнуть в прикрытое забралом лицо. Но он сдержался.

Доктор Доппель каждый день отлучался в Берлин, возвращался поздно. Почти не разговаривал.

Павел ждал писем. А писем все не было.

И вот — хлопотливые сборы, семья уезжает. Куда?

Вопреки установившемуся правилу — не задавать вопросов — Павел спросил за ужином:

— Мы возвращаемся в Берлин, господин доктор?

— С чего ты взял?

Павел пожал плечами.

— Мы переезжаем, а писем из Гронска нет.

— Будут, — бодро сказал Доппель и как-то странно посмотрел на Павла, будто хотел убедиться, что за столом сидит тот самый мальчик, которого он привез в Берлин из России.

Он кривил душой. Он знал, что писем не будет, а те, напечатанные на машинке, сочинил сам. Гертруда погибла или попала в плен.

Что делать с Паулем? Теперь, когда рухнуло «дело», он не очень-то и нужен в доме. Правда, он дисциплинирован и предан, со временем его можно будет использовать. Верный человек всегда пригодится. Но времена тяжелые. Русские вот-вот перейдут в наступление. Не исключено. Фронт выровняли так, что от завоеванной территории остался пшик. Рейх разваливается. Сырье ушло из-под рук. Промышленность сидит на голодном пайке. А если русские ворвутся в Германию?.. Что за странная мысль! Ужасная мысль. Прочь ее, прочь!..

Доктор Доппель провел рукой по глазам, словно снимая невидимую пелену.

— Ты что, Эрих? — встревожилась фрау Анна-Мария.

— Ничего, устал.

Фрау Элина принесла тушеное мясо с картофелем. Мяса было очень мало, картофель сладковат.

— Мястофль, — произнесла она.

— Спасибо, фрау Элина, — произнес Доппель и добавил хмуро: — Мы едем в союзное государство, в Словакию.

— Там, наверное, ужасная грязь! — поморщилась фрау Анна-Мария.

— Твой дом будет оазисом в пустыне, — улыбнулся доктор, улыбка была вялой. — Там есть сад и розарий. И нет бомбежек, которые так действуют тебе на нервы.

— А офицеры там есть? — спросила Матильда.

— Тебе еще рано думать об офицерах, — назидательно произнес доктор.

— А я и не думаю, пусть они обо мне думают.

«Законченная дура», — подумал Павел.

...И вот поезд тянется неторопливо, а за окном одинаковые черно-белые коровы пасутся на одинаковых, словно по линеечке расчерченных лужай-

ках. Подстриженный, приглаженный мир, населенный одинаково подстриженными, приглаженными людьми. Запрещена фасонная стрижка, запрещена завивка волос у женщин, дети сидят без игрушек — запрещено их производство.

Солнце прижалось к горизонту.

— Отто, — не поворачиваясь и не отводя взгляда от окна, позвал Павел, — как вы думаете: это — красиво?

Отто потянулся, встал, шагнул к окну, удивился:

— Красиво, надо полагать. Пейзаж.

— Как вы думаете, Отто, туда дойдут письма?

— Почта есть везде... Я получил письмо от брата через два месяца после извещения. Ты не бывал в Орле?

— Где? — не понял Павел.

— В городе Орел.

— Нет.

— Он там и погиб, мой брат. Он был танкистом. Я всегда завидовал танкистам: топать не надо, броня от пули прикрывает. А он сгорел живьем. А потом пришло письмо от мертвого. Выходит, танкисты ездят в собственных гробах.

Павлу стало жутковато от его неторопливых рассуждений. Представил себе брата Петра горящим в танке. Да он бы сокрушил это купе, этот вагон, эту выстриженную землю! Разве можно об этом спокойно?

— Брат был человек тихий. Крестьянин. Теперь вот земля перешла мне. У него трое ребятишек мал мала меньше. Разве одной Гретхен управиться? И Гретхен мне в наследство. Хоть женись, — Отто подмигнул. — А я уж и забыл, как лошадь запрягают. Я — городской. С Гретхен я управлюсь, а землю продать придется. — Он засмеялся.

Не человек, животное какое-то. Даже не животное. Киндер — собака, а заплакал бы. Машина, механизм. Павел неожиданно вспомнил дрессировщика Пальчикова, как он сидел на конюшне, положив голову мертвого медведя себе на колени, тогда, после первой бомбежки.

— Отто, и вам не жалко брата?

— Жалко. Хороший был мужик. Тихий. Да ведь на всех слез не хватит. Война она и есть война, — назидательно сказал Отто. — Фюрер землю обещал, наделы на Востоке. Кто выживет — заживет в свое удовольствие!

— Вам нужна земля на Востоке?

— Да как тебе сказать... Я в земле копаться не люблю. У меня свои обязанности: учесть, подсчитать. Будет достаток — перепадет и мне. А уж я буду стараться: учитывать и подсчитывать.

Отто внезапно встал и вытянулся. Дверь купе откатилась. Вошел Доппель. За его плечами виднелись два полевых жандарма.

«Нюх у него на начальство», — удивился Павел и тоже встал.

— Этот юноша — Пауль Копф, — сказал Доппель.

Один из жандармов кивнул и обратился к Отто:

— Пожалуйста, документы.

Он внимательно прочел удостоверение, снова кивнул, возвратил обратно.

— Благодарю. Можете следовать.

Жандармы ушли.

В дверях появилась Матильда. Она посмотрела на отца, на Отто, на Павла, капризно скривила пухлые губы.

— Пауль, развлек бы меня. Все-таки я — дама.

— Садись, Матильда, — сказал Павел покровительственно. — Покажу фокус.

— Фокус! Обожаю! — Матильда плюхнулась на диван.

— Развлекайтесь, дети. Отто, пройдите ко мне.

Они вышли из купе.

— Оставили нас одних, — прошептала Матильда.

— Ну-ну, без книжных штучек! Я тебе не граф! — прикрикнул на девушку Павел.

— Фи!.. Показывай фокус.

Пауль достал из кармана советскую трехкопеечную монету. Он сберег ее, ту самую монету, которую подарил Флич. Положил на тыльную сторону ладони.

— Вот.

— Ну и что? — разочарованно спросила Матильда.

Павел усмехнулся.

— Монета-то живая!

И монета медленно двинулась, перешла на пальцы. Нырнула под них, перешагнула на ладонь.

Матильда следила за ней, как завороженная. Глаза ее округлились.

— Как ты это делаешь?

— Я ничего не делаю. Такая монета.

— Дай я попробую.

— Пожалуйста.

Монета легла на Матильдину руку и лежала там неподвижно.

— Ну что ж она? — разочарованно спросила Матильда.

Павел пожал плечами и вдруг сказал голосом фрау Анны-Марии:

— Матильда, ты опять съела все печенье.

Девушка от неожиданности вздрогнула и зажала монету в кулак.

— Отдай-ка, — сказал Павел и отобрал у нее монету.

— А как я, можешь?

Павел произнес голосом Матильды:

— Я вовсе не думаю об офицерах. Это они пусть обо мне думают. А я их держу в голове.

Она рассмеялась.

— Ну, Пауль, ты и верно артист! Хотя на меня и не очень-то похоже.

Поезд дернулся несколько раз, замедлил ход и остановился возле длинной деревянной платформы. Горели фонари — здесь не было светомаскировки. По платформе сновали люди, какой-то солдат тащил тяжелые чемоданы, следом шел гауптман. Не шел, а вышагивал прямой как палка. На груди и на шее висели кресты. В левом глазу сверкало стеклышко монокля.

— Какой душка! — воскликнула Матильда. Он показался ей похожим на графа из книжки. Настоящий прусский офицер старинного рода.

Павел посмотрел в окно и обмер. Мимо проходил Фридрих фон Ленц. Тот самый, что возил их за город на прогулку: маму, Петьку, его и Киндера. Они тогда наловили рыбы в реке и варили на костре уху в солдатском котелке.

Павел рванулся к двери.

— Я сейчас.

Он промчался мимо удивленного Ганса и выскочил на платформу.

Может быть, фон Ленц что-нибудь знает про маму? Но того уже на платформе не было. То ли он сел в вагон, то ли ушел в здание вокзала.

— Вы что, Пауль? — спросил Ганс, появляясь в дверях вагона.

— Знакомого увидел. Офицера, — растерянно ответил Павел.

— Пожалуйте в вагон. Поезд может тронуться.

Павел еще раз огляделся и поднялся по ступенькам обратно.

— Ты чего сорвался, как сумасшедший? — спросила его Матильда, когда он вернулся в купе.

— Я его знаю. Он жил у нас в гостинице.

— Кто?

— Ну, тот офицер с моноклем.

— Вот как? — спросил появившийся в дверях Доппель. — И как же его зовут?

— Фридрих фон Ленц. Только тогда он был обер-лейтенантом.

— А сейчас гауптман, — вставила Матильда. — Гауптман Фридрих фон Ленц. Звучит, как музыка.

— Помолчи, — строго сказал Доппель. — Что-то я не припомню офицера с такой фамилией.

— Он жил у нас в гостинице. Друг штурмбанфюрера Гравеса. Может быть, он что-нибудь знает о маме?

— Пауль, надо уметь сдерживать свои порывы. Может быть, офицер даже не помнит твою маму. Столько воды утекло! Только поставишь его в неловкое положение. Как, ты сказал, его зовут?

— Фридрих фон Ленц.

На станции три раза ударили в колокол.

Поезд дернулся. Медленно двинулось назад станционное здание. Дежурный в форменной фуражке. Группа жандармов...

Поезд вползал на территорию протектората Чехии и Моравии.

Павел долго не мог уснуть, все ворочался на мягком диване.

Отто храпел в своем углу. Ганс сидел у окна, облокотившись на столик. Занавеска была отдернута, и он смотрел в темноту своим замороженным взглядом. Поезд часто останавливался, Павла так и тянуло встать и тоже взглянуть в окно, а еще лучше пройти в тамбур и открыть дверь. А вдруг фон Ленц выйдет на какой-нибудь станции?

Но Павел научился скрывать и свои желания и свои чувства, научился быть немцем. Наконец сон взял свое.

...Мимоза выходил на ярко освещенный манеж.

— А вот и я!

И смешно сгибался пополам...

Потом выбежала Мальва. За ней — Дублон.

Надо прыгнуть, а ноги как ватные... Дублон бежит мимо, удивленно косит круглым темным глазом: что ж ты?..

Надо прыгнуть... Прыгнуть... Что с ногами? «Мама!» — кричит Павел. Нет, не «мама» — «муттер». Даже во сне он помнит, что кричать надо по-немецки...

Он проснулся, поезд стоял. Не было ни Отто, ни Ганса. Он торопливо натянул бриджи, застегнул пуговки под коленями, сунул ноги в башмаки. Выглянул в коридор. Никого. Куда все подевались? Он открыл дерь в тамбур. Там стояла Матильда в халатике поверх длинной ночной рубашки.

— Ты чего тут? — спросил Павел.

— Так интересно! — воскликнула Матильда. — Сперва была стрельба, потом взрывы. Мама потеряла сознание, мы думали — партизаны.

— Какие партизаны? — удивился Павел.

— Не знаю. Папа не велел высовываться из вагона. Он пошел туда.

— Куда туда?

— В соседний вагон. Ну, такая была стрельба, такая стрельба!

Павел открыл наружную дверь, но у двери стоял Ганс.

— Сидите в купе! — строго сказал он.

Павел и Матильда ушли в купе и стали смотреть в окно. На маленькой станции было пусто и тихо, ни души.

— Кто же там стрелял? — спросил Павел.

— Мне холодно, — сказала Матильда жалобно.

— Иди оденься.

Матильда замотала головой.

— Боюсь пропустить чего-нибудь.

Они проснулись от грохота разрывов. Поезд еще шел. Доктор Доппель долго прислушивался. Фрау Анна-Мария побелела и затряслась от страха.

— Надо посмотреть, — сказал доктор.

— Не надо, — быстро ответила жена. — Тебя убьют.

— Кто? — криво усмехнулся Доппель. — Это наш протекторат.

— Партизаны... — У фрау Анны-Марии стучали зубы.

— Глупости. — Доктор оделся и выглянул в коридор. — Я прихвачу Отто и Ганса.

Он открыл дверь соседнего купе. Павел спал. Отто вскочил сразу. Отличная выучка. Ганс только повернул голову.

— Идемте, — сказал Доппель.

Они пошли в соседний вагон. Дверь из тамбура в коридор не открывалась. Что-то мешало. Ганс услужливо поднажал, протиснулся в образовавшуюся щель.

— Тут покойники.

Пахло пороховым дымом. На полу коридора в нелепых позах лежали два эсэсмана. В дальнем конце коридора тоже кто-то лежал. Из ближайшего купе вышел крупный мужчина в штатском с револьвером в руках.

— Кто такие?

— Доктор Эрих-Иоганн Доппель.

— Документы.

— Позвольте.

— Не позволю, — он обернулся к двери купе, сказал что-то неразборчиво. Оттуда тотчас появились еще один штатский и обер-штурмфюрер СС.

— Пройдите в купе, — мужчина говорил властно.

Доппель, Отто и Ганс двинулись в купе.

— Один. Остальным остаться на месте.

Доктор Доппель вошел. Стекло окна в купе было разбито. Ветер развевал занавески. В углу на диване сидел, съежившись, солдат, возле него два раскрытых чемодана. Вещи в них перерыты и лежали мятыми горками.

— Документы.

Доппель достал из внутреннего кармана пиджака паспорт и протянул мужчине в сером костюме.

— Оружие.
— Нету.
Мужчина бесцеремонно ощупал его карманы. Потом внимательно рассмотрел паспорт.
— Что вы здесь делаете?
— Слышал стрельбу.
— Ну и что? Вы всегда бежите на выстрелы?
— Но позвольте, что, собственно, происходит?
— Здесь вопросы задаю я. Присядьте. Так что вы делали в этом вагоне? Где вы едете?
— В соседнем.
— Один?
— С семьей.
— Куда?
— В Словакию.
— По делам?
— Я не могу вам ответить на этот вопрос.
— Мне вы должны отвечать на любой вопрос. Обер-штурмбанфюрер Шлифман, — представился он, сердито сдвинув белесые брови.
— Простите. По делам. Особое поручение партайгеноссе Бормана.
— Что за люди с вами?
— Мои подчиненные.
— Вам кто-нибудь знаком из едущих в этом вагоне?
Доппель посмотрел на солдата.
— Нет.
Шлифман впился в Доппеля взглядом, потом чуть прищурился.
— Фридрих фон Ленц. Вам ничего не говорит это имя?
— Гм... Имя я слышал. Если не ошибаюсь, он несколько дней жил в нашей гостинице в Гронске.
— В Гронске?
— Да.
— Что вы делали в Гронске?
— Комиссар рейхскомиссариата Остланд.
Шлифман кивнул.
— А где сейчас Фридрих фон Ленц?
— Представления не имею.
— Кто-нибудь из ваших людей его тоже знал?
Доппель подумал о Пауле. Ведь это парнишка увидел фон Ленца и хотел расспросить его о своей матери. Не хотелось бы впутывать его в эту странную историю. Гестапо — учреждение серьезное. Прилипнут — не отклеются.
— Нет, — сказал Доппель. — Никто.
— Вы разговаривали с ним? Он не сказал вам, куда направляется?
— Нет.
— Не сказал?
— Мы не разговаривали. Я его просто не знаю.
— Понятно. Не смею вас больше задерживать. Спасибо.
Доппель встал.
— И все же, господин обер-штурмбанфюрер, что произошло? Может быть, я смогу вам помочь? Почту за долг.
— Господин доктор, фон Ленц не совсем тот, за кого себя выдает.

— Выдает? — растерянно спросил Доппель.

— Если бы он был на самом деле тем, за кого себя выдает, он бы не поднял стрельбу и не бросил гранаты.

— Гранаты?

— Уложил пятерых. Объясните, зачем офицеру вермахта держать под рукой гранаты?

— Надо полагать, вы его прикончили? — уверенно сказал Доппель.

— Прикончим. Далеко не уйдет.

И обер-штурмбанфюрер посмотрел на разбитое окно.

Павел и Матильда прильнули к стеклу. Из соседнего вагона выносили эсэсманов и складывали у вокзальной стены.

Дверь купе открылась.

— Задерните занавески! — резко произнес Доппель. Он стоял в дверях хмурый, брови сдвинуты.

— Но папочка... — попробовала возразить Матильда.

— И марш из купе. Мне надо поговорить с Паулем.

Матильда вышла.

— Пауль, никогда и нигде не произноси имя фон Ленца. Его ищет гестапо. Ты его никогда не видел и о нем никогда не слышал.

— Что случилось, господин доктор? Его убили? — Павел невольно посмотрел в окно, — среди трупов, лежащих у стены, не было ни одного в форме вермахта.

— Он выпрыгнул в окно.

— На ходу?

— Очевидно. Но его найдут. И возьмутся за всех, кто его знал. Ты можешь очень сильно подвести маму.

— Понимаю, господин доктор.

— Никогда не видел и никогда о нем не слышал, — повторил Доппель.

2

Дом стоял на маленькой узенькой улочке, которая упиралась в гору и превращалась в тропинку. Был он в два этажа, от улочки его отделяла каменная стена и палисадник. От глухих железных ворот, крашенных густой зеленой краской, к дому вела короткая каштановая аллея, выложенная серыми плитками. А вдоль стены высажены подстриженные кусты роз. Цветов еще не было, но на тонких колючих стеблях набухали бутоны. Над широким каменным крыльцом на двух толстых аляповатых колоннах покоилась плоская крыша, железо выкрашено той же густой зеленью. А возле самого крыльца стояла фигурка человечка в синей курточке, зеленых штанах и желтых башмаках с загнутыми носами. На голове красовался желтый колпак с кисточкой, глаза подкрашены синькой, на щеках румянец, улыбающийся рот чуть не до ушей полон белых зубов.

Человечек поразил Павла. Он был вырезан из целого куска дерева и раскрашен масляной краской. Вероятно, перед приездом хозяев его подновили.

Позже, когда Павел освоился с маленьким городком или большой деревней, он даже не знал, как правильнее, за многими оградами и заборами

видел он фигурки — деревянные, гипсовые, даже грубо вырубленные из камня, потемневшие от времени и дождей.

За домом сад — вишни, черешни, груши. Стволы окопаны, на влажной земле розоватый снег лепестков. В углу сада — огород, из грядок торчит веселая зелень. А в другом — площадка, посыпанная мелким желтым песком: то ли для крокета, то ли еще для чего. Павел облюбовал эту площадку для утренней зарядки. Здесь ему никто не мешал, можно между упражнениями посидеть на плоском камне или поваляться на травке.

Впрочем, его никто в доме не тревожил. Доктор Доппель уезжал куда-то с Отто и возвращался поздно. Фрау жаловалась, что плохо спит на новом месте, и выходила из своей комнаты только к обеду или ужину. Завтрак фрау Элина относила ей в постель. Матильда не в счет. По утрам дрыхнет. Днем читает романы или качается в гамаке. Утро принадлежало Павлу, и он был очень рад этому. Иногда возле площадки, где он то крутился, то ходил на руках, возникал Ганс. Но Павел решил не обращать на него внимания, пусть себе глядит, не заморозит. Однажды он застал Ганса на площадке, тот пытался встать на руки, опираясь ногами в стену, и каждый раз сползал на землю мешком.

Павлу стало смешно. Он сунулся в кусты и зажал рот рукой, но Ганс успел заметить его, поднялся на ноги и, кажется, впервые посмотрел своими льдинками не куда-то сквозь, а прямо в лицо. Взгляд показался Павлу собачье-грустным.

— Не получается, — вздохнул немец.

Павлу внезапно стало жаль его. Не такой уж он и вредный! Типичный чересчур исполнительный немец.

— Это же так просто! — Павел встал на руки и пошел вокруг площадки. Влажная от утренней росы земля приятно холодила ладони, к ним прилипали мелкие песчинки.

Ганс смотрел на него, чуть приоткрыв рот. Потом глаза его остыли, он кивнул и направился к дому.

Павел упражнялся с большим удовольствием, взмокший, тяжело дыша, валился на траву и блаженно закрывал глаза. Знакомая усталость! Ничего, что ноют мышцы, это потому, что он проспал два года, два страшных немецких года. Он потерял форму. Но не потерял кураж. Не-ет!.. Он и сам не мог бы объяснить, что разбудило его. То ли сад, который сразу напомнил ему яблони у школы в Гронске, они тоже были в цвету, когда с Петькой впервые пришли к школе. То ли сознание, что он уже не в Германии и Красная Армия совсем недалеко, за Карпатами.

Он делал упражнения, вслушиваясь в собственное дыхание, которое становилось все ровнее, и ему казалось, что рядом дышит Петр, стоит только повернуть голову — и вот свисают знакомые вихры, на порозовевшем от прилива крови лице сверкают светлые, как у мамы, глаза. Губы растянуты в улыбке.

Вот бы Матильда увидела их сразу, его и Петра! Ну и поморочили бы они ее дурную голову! И фрау Элина не знала бы, кому она наложила картофеля, а кто еще не получил. И Ганс разрывался бы на части, чтобы уследить сразу за двумя одинаковыми!.. Да-а... Скоро, скоро накостыляют им!.. Придет Красная Армия. И они опять соберутся вместе — папа, мама, Петр... Флич непременно выкинет какой-нибудь фокус. Фокусы у него всегда в запасе. Он их достает из кармана, из уха, из воздуха...

Павел поднялся с травы. Ничего, что ноют руки и ноги. Это проходит.

Каждый раз, когда начинали тренироваться после болезни или долгого переезда, первые дни ныли мышцы. А сейчас он — после болезни, после переезда длиною в два года. Но он наберет форму. Может быть, надо будет выйти на манеж, когда придет Красная Армия. Он должен быть готов.

И еще одна мысль жила в нем: может статься, что и за ним погонятся гестаповцы, и ему, как фон Ленцу, придется прыгать в окно на ходу поезда или переходить по тонкому бревнышку над пропастью, да мало ли какие приключения могут выпасть на его долю! Надо быть готовым ко всему. Мысли этой он еще не осознал, но она жила в нем подспудно под ворохом других мыслей.

Павел сделал несколько кульбитов, встал на руки, постоял на одной, потом на другой. И увидел двух человек. Они стояли на головах, опустив руки по швам, упирались головами в ветки дерева. Павел улыбнулся. Люди кажутся очень странными, если на них смотреть, стоя на руках.

Он встал на ноги. Старик и паренек. Откуда они здесь взялись? Ага, у старика в руках лопата, на голове короткополая, выгоревшая на солнце шляпа, поверх светлой рубашки — жилет, на ногах рыжие, пропыленные сапоги. Парнишка точно такой же, только уменьшенный и вместо шляпы на голове широкая солдатская пилотка. В руках — большие садовые ножницы. Садовники? Стоят и смотрят, словно на диковинку. Надо быть вежливым.

— Гутен та-аг! — поздоровался Павел, чуть растягивая «а-а», как истые берлинцы.

Старик приподнял шляпу.

— Добры день.

Это было так неожиданно, что Павел растерялся.

— Вы... вы говорите по-русски?

Старик и паренек переглянулись. Павел не заметил, что спросил по-русски.

— Найн, пан газда[1], — сказал садовник, положил лопату на плечо, как ружье, и пошел в глубину сада.

Паренек двинулся следом, обернулся и показал Павлу язык.

Как же это он спросил по-русски? Услышал бы доктор... Но ведь и садовник поздоровался совсем по-русски. Сказал «добрый день».

Надо будет познакомиться с ними поближе. За ворота не пускают. Хоть здесь поговорить. А может, и за ворота пустят? По установившемуся порядку он ни разу и не пытался выйти на улочку.

Если забраться на чердак — все местечко видно. Крыши из черепицы, серой дранки. На окраине — то ли заводик, то ли фабричка. Два корпуса, тонкая железная труба день и ночь коптит небо. Когда с той стороны дует ветер, пахнет сгоревшим углем, как на железнодорожной станции. А дальше — горбатые горы, низкие, сглаженные временем, словно улеглось стадо больших неведомых зверей. И лес на их спинах, как густая шерсть. Не похож на гронские леса, а все же лес. И душа принимает его, как что-то свое, родное. И тянет туда.

На следующее утро Павел только начал зарядку, как заметил над каменной стеной три головы. Одна принадлежала вчерашнему пареньку, на уши была натянута широкая пилотка. Другая была светленькая и светилась на солнце, третья стрижена и от этого оттопыренные уши казались не-

[1] Хозяин *(словац.)*.

естественно большими. Разглядеть он их толком не успел, потому что головы скатились со стены, как три колобка.

Тогда Павел сам решил залезть на ограду, взглянуть на незнакомцев. Он подпрыгнул, ухватился за шершавый край и, подтянувшись на руках, лег животом на прохладную стену. С той стороны под ней на корточках сидела троица и, видимо, совещалась: слышался шепот. Слов не разобрать.

— Добрый день, — сказал громко Павел.

Три испуганных лица повернулись к нему. Ребята отпрянули от стены. Светлая голова принадлежала девочке в вылинявшем ситцевом платье в горошек, поверх которого надета синяя кофта, явно великоватая ей. Девочка худенькая, кофта свисала с плеч, рукава закатаны. Стриженый, с большими ушами мальчик низкоросл и бос. Вчерашний знакомец казался самым старшим из них.

Павел разглядывал их с любопытством. Так непохожи они на берлинских мальчишек, засунутых в форму гитлерюгенда. Вот такие всегда вертелись возле цирка, в любом городе. И то же неуемное любопытство в глазах и настороженность. Наверное, готовы и подраться. Эх, Петьки нету! Показали бы они сейчас свой коронный номер — драку на двоих с бросками через голову!

Ребята стояли и глазели на Павла, как на диковинку. А может, он и в самом деле был для них диковинкой?

— Ну, чего глазеете? Глаза лопнут. Тебя как зовут? — обратился он к парнишке в пилотке.

Они не поняли немецкого. Девочка прыснула, заткнула рот кулаком и отвернулась.

— Немец, — произнес ушастый.

Паренек в пилотке ткнул его в бок.

— Пофайчить маш?[1]

— Чего? — спросил Павел.

Девочка снова прыснула в кулак.

— Пофайчить... раухен...[2]

Павел понял: просит закурить. Помотал головой: нету, мол.

Парнишка в пилотке пренебрежительно сплюнул сквозь зубы.

«Слезу, — решил Павел. — Потренируюсь. Пускай глядят».

Он спрыгнул на землю, побежал по кругу площадки, согнув руки в локтях.

Три головы возникли на стене. Пускай глядят. Павел прошелся арабскими колесиками, сделал кульбит, второй. И все — с удовольствием, словно на манеже. Была публика, а что может быть приятнее для артиста! Он прокрутил сальто, но приземлился неудачно, шмякнулся.

— Удрел са![3] — воскликнула девочка испуганно.

— Ние, — сказал ушастый. — Встане! [4]

Павел встал, отряхнулся и засмеялся. И три головы над стеной засмеялись.

— Все. Представление окончено. Приходите завтра. — Он помахал ребятам рукой и направился к дому. А когда обернулся — голов над стеной уже не было.

---

[1] Есть покурить? *(словац.)*

[2] Курить *(нем.)*.

[3] Ушибся *(словац.)*.

[4] Нет... Подымется *(словац.)*.

И на другое утро их не было. Павел даже на стену забрался. Никого. А жаль — все-таки публика!

У доктора Доппеля были гости. Павел видел их, когда Ганс открыл железные ворота, впуская большой черный автомобиль. Из него вышли трое мужчин — высокий в черной сутане держал в руках черную плоскую шляпу. Он был настолько худ, что казалось — снять с него одежду, а под нею — скелет, как в кабинете биологии. Бледные, ввалившиеся щеки, глубоко запавшие глаза и белая лысина подчеркивали это сходство. Павел даже прислушался, когда патер шагнул к крыльцу, не раздастся ли стук костей. Следом из машины вышел офицер в незнакомой форме с большой кокардой на фуражке. Кокарда ослепительно блеснула на солнце. Офицер козырнул вышедшему их встречать Доппелю. Третий, маленький, круглый, в светлом клетчатом пиджаке, с фашистским значком на лацкане, в серых брюках гольф и коричневых крагах, делающих и без того толстые икры еще толще, все время улыбался какой-то плутовской улыбкой, искоса взглядывая по сторонам. Павлу показалось, он выискивает: что бы такое стащить? Все постояли с минуту на крыльце, обмениваясь первыми любезностями. Так что Павел их прекрасно разглядел. Потом ушли в дом.

В комнату без стука влетела Матильда.

— Пауль, видел? Какой мужчина!

— Ты о патере? Можешь изучать устройство скелета. Вернешься в Берлин, фрау Фогт будет довольна. Это — берцовая кость, это — коленная чашечка.

— Да ну тебя!.. Вечно ты со своими глупостями! Я про генерала!

— О! Он генерал?

— Чуть ли не военный министр или что-то в этом роде. Мама велела нам быть готовыми. Они останутся к обеду.

— А кто тот, толстенький? У него вид человека, который или украл или собирается украсть.

— Не знаю. Они приехали из Братиславы. У папы с ними дела.

— С попом?

— Оставь, Пауль. Нельзя смеяться над служителем бога! Очень почтенный патер.

Павел посмотрел в окно.

— В горы хочется...

Матильда захлопала ресницами.

— Что там делать? Там же партизаны.

— Какие партизаны?

— Обыкновенные. Бородатые. С автоматами. Папа сказал, что они тут все партизаны. Никому доверять нельзя. Тут все шатается, в этой Словакии.

— Словацкая республика — союзник Германии, — назидательно произнес Павел.

— Географию я и без тебя знаю. Ты лучше посоветуй, что надеть, какое платье?

— Спроси у муттерхен.

— Мне интересна мужская точка зрения.

— Тогда спроси у Ганса.

— Тоже мне мужчина! — фыркнула Матильда.

— Вон идет садовник, — кивнул на окно Павел. — Могу познакомить. Он большой специалист по нарядам.

— А ну тебя! — Матильда надула губы и выкатилась из комнаты.

На аллее, ведущей от ворот, действительно показался садовник. Он шел медленно, чуть горбясь. Из-под короткополой шляпы выбивалась седая прядка. На этот раз он держал на плече не лопату, а короткую косу, но тоже, как ружье. «Наверное, был солдатом», — подумал Павел. Садовник остановился возле автомобиля. Внимательно посмотрел на него, чуть склонив голову набок. Казалось, что он сейчас откроет дверцу и усядется за руль.

— Добрый день, — сказал Павел.

Садовник поднял голову, посмотрел на Павла и улыбнулся. У него не хватало передних зубов. Потом молча поклонился и пошел в сад.

Павел тоже решил прогуляться. До обеда далеко, а слушать Матильдины глупости охоты нет. Ведь непременно прибежит: то тесемочку завяжи, то пуговку застегни. Шла бы к своей муттерхен с этими просьбами, так нет, непременно прикатится к нему. Знает, что ему тошно от ее тесемочек и пуговочек.

Павел спустился вниз и вышел через черный ход, вернее, вторую дверь, которая вела прямо в сад.

Окно в кабинете доктора Доппеля было открыто, оттуда слышались тихие голоса. Садовник стоял внизу, пошевеливая опущенной косой. Он явно прислушивался к голосам наверху, лицо было напряженным, застывшим. Увидев Павла, он двумя махами скосил траву у стены дома и направился в глубину сада.

Павел понял, что помешал ему, и подосадовал на себя. Знал бы, ни за что не вышел в сад. Пусть себе подслушивает. Уж наверняка не на пользу Доппелю!

Он двинулся следом за садовником.

Садовник стал обкашивать траву между вишнями.

Павел остановился, молча смотрел, как тот работает. Садовник снял шляпу, утер лоб рукавом рубахи.

— Вы извините, — сказал Павел. — И не бойтесь, я им ничего не скажу.

— Я не понимаю немецкий.

Павел усмехнулся:

— А слушали.

— Я — словак.

— А русский понимаете? — спросил Павел по-русски. Даже сердце сжалось, столько не говорил по-русски, заставлял себя думать по-немецки, чтобы не проговориться даже во сне. Старался быть немцем, как велела мама. Очень старался. Чтобы с ней и с Петром ничего не случилось там, в Гронске.

Садовник посмотрел на Павла внимательно, произнес, подбирая русские слова:

— Молодой пан другой раз говорит на русский. Русский немножко знам. Я был в Руссии. В Сибирь. В тот война. Военнопленный.

— Белочех, — сообразил Павел.

Садовник улыбнулся.

— Там оставлял свои зубы. Офицер стукнул винтовкой. Мы хотели домой, в Словакию.

— А дрались с нами, — укоризненно произнес Павел.

Садовник посмотрел на Павла озадаченно. Может быть, он забыл русский и плохо понял? Чехословаки не дрались с немцами.

— Нет. Немножно с большевиками. Немец — нет... Нет...

— Вы совсем не понимаете по-немецки? — спросил Павел.

— Очень чуть-чуть...

— А там?.. — Павел кивнул на дом.

Садовник нахмурился.

— Думал, будут говорить словацки. Высокие паны... Может, что доброе скажут?

Нет, он подслушивал у окна неспроста. Сказала же Матильда, что здесь никому доверять нельзя. Все — партизаны.

Но ведь видел же он на вокзале в Братиславе штурмовиков в черной форме. Глинковские штурмовики. Кто такой этот Глинка? Вроде Гитлера у них, что ли? А у нас Глинка — композитор. Михаил Иванович Глинка. «Иван Сусанин». Иван тоже был партизаном. Завел врагов в лес.

— Как вас зовут, дедушка? — спросил Павел.

Старик не удивился. Только глаза у него стали печальными.

— Соколик Ондрей, — ответил он, вздохнув.

— А меня Павел.

— Пауль?

— Павел. — Он решился. — Я — русский. Я из России. Из Советского Союза. — Ах, как сладко, как гордо звучит: я — из Советского Союза!

Дед Ондрей Соколик, садовник, решил, что ослышался, не понял. Мало он знает русский, ох, мало. Молодой пан говорит что-то, а ему слышится бог знает что! Видано ли дело, чтобы у важного немца, от которого только и жди пакости, в доме молодой пан из Советского Звезу[1]. Ослышался или не так понял.

— Пан Павел, просим...[2] — пробормотал он обескураженно.

Павел только рукой махнул. Не поверил! Да и кто поверит, чтобы немец на глазах превратился в русского? И не докажешь ничем.

— Вы никому не говорите, что я — русский. Нельзя. Я тут хуже пленного, понимаете?

— Пленный понимаю. Я был пленный... Понимаю.

— Да не пленный я, дедушка. Увез меня доктор Доппель из России. Понимаете?

Ну вот, то — пленный, то — не пленный. Странный парнишка, а может, он того? Спятил?.. Хотя говорит по-русски, как русский.

— Мой старший, Якуб, — солдат. На Руссии, — сказал дед Ондрей на всякий случай, чтобы молодой пан не подумал чего.

— Разве словаки воюют с Советским Союзом?

— Хей!..[3] Война... Суха трава... Тяжко робить... Косить... — Он снял шляпу. — До видения, пан. — Закинул косу на плечо, как ружье, и ушел.

Ах, досада какая! Не понял дед, ничего не понял. А может, притворился, что не понял? Боится? Не верит? Скажи Ганс, что он русский, — Павел не поверил бы. Да-а... Как в сказке — шкура лягушачья!

[1] Союза (*словац.*).

[2] Пожалуйста (*словац.*).

[3] Да (*словац.*).

3

Гертруда Иоганновна соскочила с коня, похлопала по теплой, лоснящейся шее. Конь повернул к ней морду, покивал и тихонечко всхрапнул раздутыми ноздрями. Ему понравился этот легкий всадник с уверенной и ласковой рукой. Он был общим, конь, штабным, и кто только не седлал его, когда приходила надобность. Попадались такие, что и сесть толком в седло не умели, скакали рядом на одной ноге, засунув другую в стремя. Таких конь не слушался, на рысь не переходил, хоть плеткой его огрей, плелся неторопливо шагом, а то и вовсе останавливался и тянулся губами к сочной придорожной траве. Конь слыл упрямым, но не вредным. Всадников не сбрасывал. Может быть, поэтому и предложили Гертруде Иоганновне для поездки на лесной аэродром именно его. Все-таки женщина!

И пришлось всю длинную дорогу и «дяде Васе» и Алексею Павловичу трястись на своих одрах, чтобы не отстать. Конь в руках Гертруды Иоганновны оказался послушным и даже резвым. Знала она какое-то заветное слово, не иначе.

Две подводы с тяжелоранеными отстали. Дожидаться не имело смысла. Подводы сопровождал небольшой конвой, да и бояться некого. Немцы в эти места давно уже носа не кажут. Отвадили их раз и навсегда. Здесь — советская власть, советские законы. А вдоль границ района стоят вооруженные силы — партизанские отряды, готовые дать отпор хоть целой фашистской дивизии. Пусть только сунутся!

Гертруда Иоганновна полюбила и эти места, и людей. Она чувствовала себя нужной, причастной к великому бою с фашизмом, и к весеннему севу, и к осенней уборке урожая, когда вместе со всеми выходила копать картошку, тягать морковку и брюкву. Партизаны относились к артистке доброжелательно, но несколько настороженно. Она казалась им замкнутой, отчужденной.

Гертруда Иоганновна сменила прическу, попросту коротко остриглась. Стрижка омолодила ее, и появившаяся в волосах седина казалась неестественной.

Петр совсем отбился от рук. Жил в землянке у подрывников Карусельна, изучал какие-то шашки, заряды, мины. Несколько раз уходил с группами на задание. Не могла ж она ему запретить драться за свою землю, хотя и считала, что он еще мал. И когда он уходил, места себе не находила, сердце болело. Павел бог знает где! А тут еще Петр... Но она терпеливо ждала и только умолкала в эти длинные дни и ночи ожидания. Автоматически переводила захваченные у фашистов документы, не вникая в их суть, потому что мысли были заняты сыновьями. И Иваном, о котором она тоже ничего не знала.

Сколько веселых и смелых не вернулись с заданий, погибли в коротких стычках, подрывали склады, пускали под откос эшелоны врага ценою собственной жизни! А сколько падает на поле боя, засевая землю страшным посевом — кровью. Прорастут горькие всходы, горькие всходы. Но вырастут мир и покой. Не могут не вырасти.

Она думала о своих сыновьях, о муже, о себе, о цирке, о довоенной жизни, вспоминала милые, смешные и грустные мелочи. И старалась не вспоминать недавнее: гостиницу «Фатерланд», службу имперской безопасности, выпуклые глаза штурмбанфюрера Гравеса, лису Витенберга. Пережить это второй раз не хватило бы сил. Она была переводчицей в штабе

партизанской бригады, переводила бумаги, переводнла показания пленных. Она помогала перевязывать раненых в санчасти, чнстила на кухне картошку, колола дрова, стнрала и штопала рубахи. Она готова была делать здесь все, потому что это был ее мнр, ее товарнщн.

И даже не замечала, что в длинные днн н ночи ожиданнй, когда она становилась молчаливой, мрачнел и Алексей Павловнч. Он не смог бы определнть своего отношення к Гертруде Иоганновне, любовь — не любовь, разве в этом дело? Он чувствовал себя как бы настроенным на одну с ней волну. Ее грусть передавалась ему, ее ожнданне становнлось его ожнданием. Удивительная женщнна!

Аэродром был оборудован на лесной поляне, в месте трудно доступном для посторонннх. Прншлось немало потрудиться, расшнрнть поляну, спилнть деревья, выкорчевать пнн, разровнять землю. Пожалуй, нигде так не ощущалось еднНство Москвы н партнзанского края, Большой землн н каждого далекого села, как здесь, на аэродроме. Только что не было здания аэровокзала да не внсело распнсание рейсов. Радно — тоже связь, голоса, цнфры, точки-тире. Но здесь саднлись самолеты, н нз них выходилн живые людн, недавно еще шагавшие московскнми улицами, говорнвшие с москвичамн, деловнто здоровались, разгружали оружие, боепрнпасы, амуннцию, продовольствне. Прнвозилн газеты, корреспондентов, представнтелей Центрального штаба. Забирали раненых, прощалнсь и взлетали в черное небо, чтобы, пройдя над лесамн н полямн, над неумолкающнм гулом фронта, прнземлнться в Москве. И выходнло, что вот она, Москва, рядом, прекрасная н вечно жнвая. Она не спнт, она думает о тебе.

Возле самого аэродрома нх остановил паренек во флотской тельняшке, поверх которой на плечн накннута пятнистая простыня — коричнево-зелено-желтая, чем выкрашена, не поймешь. Ремень автомата через шею, на немецкнй манер.

— Стой! Дальше прохода нет!

— Я — командир брнгады «дядя Вася».

— Значения не нмеет, — строго сказал паренек. — Прошу спешиться. — Он сунул в рот согнутый указательный палец и свистнул четырежды.

— Много свнстншь, — сердито пронзнес «дядя Вася».

— Сколько положено. Вышестоящее начальство — четыре звонка.

— А ннжестоящее? — полюбопытствовал «дядя Вася».

— Два.

— Почему не трн?

— Трн — командир корабля. То есть начальннца аэродрома.

— Скажн! — уднвился «дядя Вася». — И ты командира бригады дальше не пустишь?

— Так точно.

— В чужой монастырь со свонм уставом не суются, — сказал Алексей Павлович н засмеялся.

Они спешнлнсь.

— Как фамнлня?

— Старшнй матрос — партизан Федор Клюква.

— Старший матрос? — уднвнлся «дядя Вася».

— Так точно. Меня, товарнщ командир бригады, со службы ннкто не списал. Счнтаю себя призванным, — ответил Клюква с достоинством.

— Ну, нзвннн, если что не так, — кнвнул «дядя Вася».

Из кустов появнлась женщина в черной юбке, солдатской гимнастерке

и кирзовых, изношенных сапогах. На плечах точно такая же рябая простыня завязана тесемками у шеи.

— Товарищ командир бригады, аэродром в полном порядке.

— Здравствуй, товарищ Колокольчикова. Как жизнь? — «Дядя Вася» с видимым удовольствием пожал ее руку.

— Нормально.

— Вижу. Это что за нововведение? — он потрогал простыню.

— Маскировка. Нет-нет — рама летает. Никакого резона нету себя обнаруживать. — Колокольчикова с любопытством поглядывала на Гертруду Иоганновну. Больше года действует партизанский аэродром, и больше года она отсюда не отлучалась. И команда у нее надежная, никакой работы не боится. Днем и ночью наготове кучи сухого хвороста — поджечь только. Днем и ночью зорко следят за округой, за лесом, за небом. Скучновато, конечно, зимой снег разгребать, осенью под дождями мокнуть, летом на солнышке потеть. Но все понимают, что́ для партизанского края аэродром!

— Ну, верно... — одобрил «дядя Вася» и весело прищурился на Клюкву. — Слышь, старший матрос, какой же ты флотский чин дашь Колокольчиковой?

Клюква шутки не принял. Ответил серьезно:

— Вообще-то на флоте женщин не держат, а по характеру — не меньше как капитан-лейтенант, товарищ командир бригады.

— Слыхала, Колокольчикова?

— А мне что капитан, что лейтенант, — засмеялась Колокольчикова.— Милости прошу к нашему шалашу. — Она сделала широкий приглашающий жест рукой.

«Дядя Вася» и Гертруда Иоганновна двинулись вперед, ведя на поводу лошадей.

«Шалашом» оказалась добротная землянка. Место для нее выбрано так, что кроны деревьев прикрывали ее сверху. Неподалеку от землянки виднелась сложенная из камней печь, возле хлопотала немолодая женщина в черном глухом платье и черном головном платке. Из печки вился и рассеивался в листве тонкий светлый дымок.

— Летний камбуз, — сказала Колокольчикова.

— Что? — не понял «дядя Вася».

— Камбуз, говорю. По-простому, кухня.

— Ну, заморочил тебе голову старший матрос Клюква.

— Кокой меня обзывает, — засмеялась женщина у печи. — А я как есть куфарка.

«Дядя Вася» заглянул в землянку.

— Осторожно, у нас там трап в четыре ступени, — предупредила Колокольчикова.

«Дядя Вася» только головой покачал: ну Клюква!

Прибывших накормили отварной картошкой, заправленной салом, напоили чаем из каких-то одной «куфарке» ведомых трав. Чай был приятный, пах мятой.

Солнце накололось на верхушки деревьев, когда подкатили отставшие подводы. Их поставили возле самой поляны в кустах.

Кто-то тихонько стонал, кто-то скрипел зубами, сдерживая боль. Двое были в беспамятстве. Врач переходила от одного к другому. Успокаивала.

— Потерпи, родной. Всего ничего осталось. Вот придет самолет,

погрузитесь, а там — Москва. Там такие профессора, мертвых оживляют, а вы — живые, слава богу, еще вернетесь. Повоюете!

Когда зашло солнце, один из раненых умер, тихо, словно не хотел тревожить товарищей. Так же тихо его отнесли в сторонку.

Гертруда Иоганновна плакала. Она все время думала о Петре, который остался в лагере, о Павле, о котором нет известий, об Иване, который воюет. А может быть, вот так же его отнесли в сторонку и положили на землю?

Подошел Алексей Павлович, осторожно взял ее руку в свою. Рука у него была горячей, тревожной.

— Не надо, Гертруда Иоганновна, нельзя. Им горше, чем нам.

— Да... да... — Она шевельнула припухшими губами. — Да... — утерла глаза.

В черном небе высыпали звезды.

— Еще луна выползет, — сердито сказала Колокольчикова и скомандовала: — По местам, хлопцы.

Три тени скользнули на поляну.

Глаза привыкли к темноте. Гертруда Иоганновна отчетливо видела стволы деревьев, дальний край поляны. Белые бинты раненых голубовато светились, как лесные гнилушки.

Откуда-то сверху донесся легкий гул. Она подумала, что ветер прошел по верхушкам деревьев. Но ветра не было.

И в ту же секунду Колокольчикова громко крикнула:

— Зажигай!

Три костра одновременно вспыхнули на поляне, вспыхнули сразу ярко, затрещали, политые чем-то горючим.

Гул нарастал. И вот из черного неба вывалился черный силуэт самолета, пролетел над поляной, исчез за лесом, как огромная ночная птица.

— Всем стоять на местах! — крикнула Колокольчикова.

И все остались стоять на местах, потому что она была тут хозяйкой, начальница партизанского аэродрома, она, и больше никто.

Самолет появился с другой стороны, совсем над верхушками деревьев. Казалось, вот-вот сшибет их и рухнет сам.

— Чумаков! — прокричала Колокольчикова. Она уже узнавала летчиков по почерку, по манере садиться.

Самолет остановился в дальнем краю поляны. К нему побежали от костров тени. Помогли развернуться носом к поляне.

— Пошли на разгрузку-погрузку! — скомандовала Колокольчикова, и все бегом бросились за ней.

И Гертруда Иоганновна побежала. И «дядя Вася». И Алексей Павлович... Только раненые и доктор остались.

В фюзеляже раскрылась дверца, опустилась короткая металлическая лесенка. Выскочили летчик и стрелок-радист.

— Здорово, Колокольчикова! — Чумаков облапил начальницу. — Принимай груз.

— Как долетели?

— Постреляли малость. Ну, да мы воробьи и раньше стреляные. Раненых много?

— Есть.

Приходилось громко кричать, потому что моторы ревели, их не глушили. Мало ли что!

— Скоро закроем ваш аэродром! — крикнул Чумаков.
— Что так?
— Похоже, пешком сюда пойдем.
— Дай-то бог! — крикнула Колокольчикова.
Между тем команда ее быстро принимала от стрелка-радиста какие-то тюки и ящики, относила в сторону в лес.
Чумаков подгонял:
— Давай быстрей, ребята. Раненых подносите. Ночь коротка.
Сначала погрузили раненых. Потом поднялись по лесенке кто улетал. Стрелок-радист втащил лесенку, закрыл дверь.
— Готов!
«Как в метро», — подумала Гертруда Иоганновна. Она сидела между врачом и Алексеем Павловичем. Было тесно. Оглушительно взревели моторы. Самолет дернулся, побежал по поляне. Казалось, вот-вот врежется в летящие навстречу стволы. Но внезапно взмыл и пошел над лесом. Появилось неприятное ощущение, будто желудок куда-то проваливается.
— Который раз лечу, а привыкнуть не могу! — прокричал Алексей Павлович прямо в ухо Гертруде Иоганновне.
Она повернулась к круглому окошку. Внизу было темно и жутко. Не поймешь, что там: лес, поле, а может быть, уже ничего, летим вверх и кругом только небо!
Она никогда еще не летала, и то ли от ночного мрака, то ли от тесноты не было никакого ощущения полета. Скачешь на лошади и то — летишь! А тут только тошнота и встряски, будто небо все в ухабах, как проселок в лесу.
Вскоре внизу появились отдельные вспышки, в стороне — горящее строение. Все казалось нереальным.
— Фронт! — крикнул Алексей Павлович.
Гертруда Иоганновна совсем прилипла к окну. А вдруг там, внизу, Иван? Как будто она могла увидеть его...
— Не страшно?
Она покачала головой. Некогда бояться.
А потом снова неслась внизу черная ночь, казалось, не будет ей конца. Врач встала, наклонилась над ранеными. Отпрянула.
— Еще один...
Ах, война распроклятая!

На аэродроме их встретил молодой человек в военной форме. На плечах красовались золотые погоны с четырьмя маленькими звездочками и красным просветом. Гертруда Иоганновна слышала, что в армии ввели погоны, но видела их впервые.
— Прошу в машину.
«Дядя Вася» оглянулся на самолет. Там выгружали раненых. Прямо к самолету подошли санитарные машины.
— Не тревожьтесь, товарищ генерал. Все сделают. Медицина.
«Дядя Вася» удивленно посмотрел на него.
— Я не генерал.
— Генерал, товарищ генерал, — скупо улыбнулся военный. — Приказ видел.
Они сели в «эмку». Машина побежала сквозь ночь.

— Как Москва? — спросил Алексей Павлович.
— Живет.
— А куда мы сейчас?
— Приказано в гостиницу.

Гертруда Иоганновна так устала, что уснула, склонив голову на плечо Алексея Павловича, а тот боялся пошевельнуться, чтобы не потревожить ее.

Она даже сон видела, что идет по Москве, а кругом люди, шумно.

А когда проснулась — увидела за окошком улицу Горького. Шли редкие прохожие. Светало. Так она и проспала самое главное — въезд в Москву. Да что ж это она, в самом деле? Столько мечтала об этом дне там, в фашистском аду, столько ждала его. И вот — проспала.

Она беспомощно улыбнулась и приникла к окну.

Алексей Павлович понял ее.

— Ничего. Еще наглядитесь.

Машина спустилась по улице Горького вниз. Подкатила к подъезду гостиницы «Москва».

Их разместили на разных этажах. Гертруда Иоганновна оказалась на десятом. Номер был огромный, с двумя кроватями, большим шкафом, трельяжем, письменным столом, ванной. «Весь штаб можно разместить. Побольше землянки», — подумала она и открыла окно. И тотчас в комнату ворвался шум города. Москва жила, Москва дышала. Внизу по Манежной площади бежали маленькие автомобильчики, по тротуарам шли крохотные человечки. Москвичи, не пустившие фашистов в свой город, в ее город, в наш город! Ей хотелось крикнуть: «Здравствуйте, москвичи! Здравствуй, Москва!» Горло перехватило. Она отошла от окна, послонялась по комнате. Сейчас бы вещи разобрать! Но вещей не было. Все — на ней.

Она подошла к зеркалу. Как давно не видела себя в зеркале! На нее глянула худощавая стриженая женщина с легкой сединой в волосах. На похудевшем, обветренном лице глаза казались огромными. Гимнастерка ладно обтягивала фигуру. Гимнастерки ее размера в бригаде не оказалось, ей выдали большую, она сама перешивала ее. Хотя бы губы подкрасить! Обветренны, потрескались. Она провела языком по губам и ощутила их грубость. Косметики не было никакой. Девчата рыскали по всему лагерю, собирая ее в дорогу, но так ничего и не нашли.

Она посмотрела на свои сапоги. Да, далеко им до лакированных туфелек! Но вид вполне сносный... Нет, неловко появляться в таком виде на московских улицах.

Посмотрела на укрытые пестрыми покрывалами постели. Спать завалиться? Военный сказал, что свободны до тринадцати ноль-ноль. Как же можно в Москве спать! Нет! Нет-нет... Бог с ним, с внешним видом. Не голая. Война. Она надела перед зеркалом пилотку, кокетливо, чуть набок. И решительно пошла вниз.

Москва обняла ее шумом улицы, сочными гудками автомобилей. Она вышла к Большому театру, постояла возле входа в метро. Но войти не решилась. Не было денег. Ни копейки. Потом медленно пошла мимо ЦУМа, по Кузнецкому вышла к площади Дзержинского. Потом шла какими-то незнакомыми переулками. И сама не заметила, как оказалась в тихой улочке возле Управления цирками. Сердце забилось. Может быть, здесь знают что-нибудь об Иване? Зайти? А не рано? Да нет. Сколько она уже ходит по Москве!

Она вошла. В тесном коридоре было шумно. Сновали незнакомые люди с какими-то бумагами. Гертруда Иоганновна остановилась, стала всматриваться в лица, отыскивая знакомое. Потом подошла к двери с табличкой: «Сектор кадров». Вздохнула глубоко, умеряя волнение.

За столом сидела полная седая женщина в очках. Стекла увеличивали глаза, они казались неестественно большими и черными. В комнате за другими столами еще сидели люди, но Гертруда Иоганновна видела только седую женщину. И никак не могла вспомнить, как ее зовут.

— Здравствуйте...

— Здравствуйте. Слушаю вас. — Черные глаза смотрели сквозь стекла прямо.

— Я — Лужина... Не помните меня?

— Лужина?.. Позвольте... — Женщина сняла очки, глаза стали маленькими и беспомощными. Она потерла переносицу. — Позвольте... — Очки водрузились на место, глаза увеличились и потемнели. — Лужина?.. — Теперь женщина смотрела удивленно.

— Да.

— А вы разве... Вас выпустили? По нашим сведениям, вы были арестованы в начале войны органами, — сказала женщина неприязненно и поджала губы. — Вас выпустили?

Гертруда Иоганновна растерялась. Что ответить? Говорить правду нельзя. Не время. Она уже пожалела, что пришла сюда.

— Как видите... Я хочу узнавать, нет ли у вас каких-нибудь известий о моем муже, артисте Лужине Иване.

— Отдел кадров частным лицам сведений не дает, — решительно произнесла женщина за столом.

Гертруде Иоганновне показалось, что за стеклами очков сверкнула молния.

— Простите... — Она повернулась и вышла.

Как обидно! Как тягостно! Лица встречных в коридоре расплывались. Она кусала губу, сдерживая слезы.

Не помнила, как дошла до гостиницы. В вестибюле второпях она наткнулась на какого-то генерала.

— Простите...

Генерал схватил ее за руку, сказал сердито:

— И не подумаю. Бегают тут как оглашенные. Генералов толкают!

— «Дядя Вася»! Господи! — воскликнула Гертруда Иоганновна, сложила ладошки и прижала их к подбородку.

Наверное, у нее был очень смешной вид, потому что генерал-майор в новенькой форме с орденами на мундире не выдержал роли строгого генерала и рассмеялся.

— Ну как? — спросил он, бросив взгляд по сторонам, не слышит ли кто этого глупого вопроса.

— Очень!..

— А сапоги, скажу тебе по секрету, жмут маленько. Куда? — спросил «дядя Вася», заметив, что Гертруда Иоганновна хочет уйти. — Сейчас машина будет. А вот и Алексей Павлович.

Тот тоже был в форме. На золотых погонах два просвета и две большие звездочки.

— А я в таком виде... — Гертруда Иоганновна прижала руки к груди, словно хотела прикрыться ими.

— Вид самый нормальиый, — сказал «дядя Вася».

В вестибюль вошел молодой воеииый, что встречал их иа аэродроме, козыриул:

— Машииа у подъезда, товарищ геиерал-майор.

— Едем.

В иебольшом зале иа клубиых стульях, сбитых в ряды плаиками, сидели мужчииы и женщины, воеиные и штатские. Оии прибылн из фашистских тылов в столицу, в Цеитральный штаб партизаиского двнжеиия, чтобы решить иеотложиые вопросы, скоордииировать с армией свою борьбу в тылу, посоветоваться.

В зале стоял шумок. Потом ои стнх. Все встали, потому что в зал вошел Маршал Советского Союза, которого вся страиа зиала в лицо.

— Президиум Верховиого Совета Союза Советских Социалистических Республик поручил мие, дорогие товарищи партизаны и партизаики, вручить вам боевые награды, ордеиа и медали за ваш самоотвержеииый героизм, с которым вы бьете фашистов, как говорят у иас иа Руси, в хвост и гриву! Что я с большим удовольствнем и сделаю, дорогие мои соратиики.

Потом вызывали к длиииому столу, покрытому красиой бархатиой скатертью, партизаи и партизаиок и вручали им иаграды. Вместе со всеми Гертруда Иогаииовна хлопала в ладоши и счастливо улыбалась. Оиа ие зиала этих людей, но оии были такими же, как те, что уходили иа задаиия в ее лесу, в ее бригаде. Ну точно такими же, только очеиь взволиоваииыми.

— Лужиша Гертруда Иогаииовиа.

Оиа ие сразу сообразила, что вызывают ее, и повернула лицо к сидящему рядом Алексею Павловичу. Тот улыбиулся:

— Ну что же вы!..

Она встала, одериула гимиастерку и пошла к столу. А люди кругом смотрели иа иее и хлопали ей. Оии ие зиали Гертруду Иогаииовиу, но оиа была такой же, как оии и их товарищи. И Гертруда Иогаииовиа чувствовала это. Оиа остаиовилась у стола перед Маршалом.

А Маршал смотрел иа иее и улыбался. Потом сказал:

— Наслышан, иаслышан... Рад позиакомиться.

— Награждается орденом Красиой Звезды, — раздалось рядом.

Маршал протяиул ей красиую киижечку и малеиькую коробочку. Оии легли иа ее ладоиь. Надо сказать то же, что говорили все, ио оиа забыла, что иадо сказать.

— Вторым ордеиом Красиой Звезды, — прозвучало рядом. — И медалью «Партизаиу Отечествениой войиы первой степеии».

И еще две коробочки легли иа первую. Оиа подхватила их обеими ладонями, чтобы ие уроиить.

— Спасибо, товарищ маршал, большое спасибо... Я... Я всегда... — Оиа повериулась лицом к сидевшим и хлопающим людям. Увидела улыбающегося Алексея Павловича и «дядю Васю» и еще миого-миого светлых родиых лиц. На мгиовеиие ей показалось, что она видит Флича, и Федоровича, и клоуиа Мимозу, и своих мальчишек. И Злату... Всех.

Оиа иабрала в легкие воздуха и сказала отчетливо и громко, чтобы все оии слышали, все:

— Служу Советскому Союзу!

4

— Не надо забывать, что именно мы, немцы, дали самостоятельность словакам.

Гости — патер, генерал и толстый с бегающими глазами — согласно кивнули. Вопреки привычке есть молча, доктор Доппель все время говорил. Павел прислушивался, присматривался, пытаясь понять, о чем речь. Но суть ускользала. Продолжался разговор, начатый в кабинете, а начала Павел не слышал. Когда ушел садовник, он пробрался под окно кабинета. Но окно оказалось закрытым.

— Вы недооцениваете коммунистов, — продолжал доктор. — Да-да, не усмехайтесь, господин пастор, коммунисты не придут к вам исповедоваться. У них — свой бог, классовая борьба.

— Мы уничтожили классы! — воскликнул толстый. — У нас в Словакии нет классов. Мы — единый словацкий народ! Единый! И мы не позволим ни коммунистам, ни социал-демократам, никому разрушить наше единство. Мы, словаки, строим свое национальное государство. Общенациональное!

— Ваше стремление мы понимаем, и фюрер поддерживает его. Но вы недальновидны. Вы сейчас подобны глухарю на току. Тот тоже поет и в это время слышит только сам себя. А между тем мы имеем сведения, что коммунисты, социал-демократы и другие, как вы изволили выразиться, ищут общий язык. Если они найдут его, вам придется туго.

— У нас армия, — важно произнес генерал.

— Среди солдат есть те же коммунисты, социал-демократы и прочие.

— Святая церковь направит свою паству, — сказал патер, молитвенно сложив ладони.

— Не сомневаюсь, — наклонил голову Доппель. — И все же в Словакии неспокойно.

— Вы имеете в виду партизан? — сморщил нос толстый. — Кучки уголовников. Ждут обоз пожирнее, чтобы ограбить. Сидят в горах, жрать нечего. Или перемрут с голоду или сами придут, с поднятыми руками. В Словакии это не пройдет. Словакия не Россия.

Доппель покосился на Павла. Павел неторопливо резал мясо, глядя в тарелку.

— Я имею в виду коммунистов...

— Коммунисты у нас вот... — Толстый сложил пальцы решеткой и сквозь них посмотрел на всех по очереди плутовским взглядом. — Вот. Вместе с вашим Марксом, — и он хихикнул, довольный тем, что уязвил Доппеля.

— Маркс был евреем, — отпарировал Доппель.

— Тем более. У нас в Словакии этой проблемы нет!

— Святая церковь не допустит, — патер снова сложил молитвенно ладони.

— Армия выполнит свой долг, — произнес генерал.

Доктор Доппель нахмурился.

— Все это прекрасно, господа. Но должен предупредить вас: пока на свободе хоть один коммунист — нельзя успокаиваться. А если сюда, не дай господь, придут русские — Словацкому государству конец. Вспомните, коммунисты всегда были против словацкой самостоятельности. Вот почему вы должны, господа, вы обязаны помочь нам, немцам, разгромить русских. Это в ваших интересах, господа.

«Придут русские, придут, — злорадно подумал Павел. — Вы еще повертитесь, господа!»

Матильде было скучно. Все это — политика! Политика ее не интересовала. Она бросала на генерала долгие взгляды. Поймав их, генерал начинал перекладывать с места на место вилку и нож или вертеть в пальцах хрустальную рюмку.

Павла это отвлекало. Он не все улавливал в разговоре за столом, но одно понял: в самые ближайшие дни штурмовики и полиция пройдут «с частым бреднем». Что это такое «с частым бреднем»? Немцы передали словакам какие-то списки. Поскольку словацкие тюрьмы переполнены, они готовы, в порядке дружеской помощи, предоставить словакам места в своих лагерях. Словаки, в свою очередь, должны увеличить поставки Германии. Даже если для этого придется подтянуть собственные ремешки. Доктор так и сказал. Это в общих интересах.

Когда гости распрощались и уехали, Доппель, провожавший их, вернулся в столовую.

— Спасибо, Анна, — поцеловал он руку жены. — Все было прекрасно! — И добавил: — Как мельчают люди!

Утром садовник косил между деревьев траву. Павел поздоровался. Постоял рядом. Спросил, как бы между прочим:

— Скажите, пан Соколик, что такое «частым бреднем»?

— Просим?.. — Старик явно не понял.

— Ну, бредень... сетка такая...

— Сиеть?.. О!.. Хитать рыбы!.. Ловить...

— Ловить... Да... Вчера они говорили, что полиция и штурмовики пойдут «с частым бреднем». Я понял. Они будут ловить рыбу. По спискам.

— Рыбы?.. — Старик пожал плечами. — Что есть «спискам»?

— Немцы передали им списки... Списки.. — Павел вытянул левую ладонь и стал на ней писать воображаемым карандашом.

Лицо Соколика напряглось, морщины сбежались у глаз.

— Имя. Фамилия, — сказал Павел. — Соколик Ондрей.

— Понял, — старик кивнул. — Мено а приезвиско. Я есть Соколик Ондрей. Мено а приезвиско.

— Вот. Список. — Павел снова стал писать на ладони, повторяя: — Мено а приезвиско, мено а приезвиско... — И добавил шепотом: — Коммунистов.

Морщины от глаз разбежались по щекам.

— Похопил [1]... — Садовник посмотрел на Павла внимательно. Взгляд острый, испытующий. Павлу он показался вдруг потеплевшим. — Понял... Часты сиеть... Хитать рыбы... Спасибо, приятель...

Павел повторил:

— Список. Мено а приезвиско...

— Спасибо. Ты скуточны [2] русский. Спасибо. Мой внук — Янко. Просишь меня. Деда Ондрей.

Павел понял, кивнул.

---

[1] Понял *(словац.)*.

[2] Настоящий *(словац.)*.

— Список. Регистер, — старик задумчиво подвигал губами, словно жевал что-то. — Рыбы будут уйти. От часты сиеть.

Несколько дней садовник не появлялся. Павел не знал, что и подумать. И ребята не появлялись.

Матильда валялась в гамаке с книгой в руках. Вокруг нее вилась оса. Матильда отгоняла ее рукой, и гамак при каждом движении вздрагивал под ее крупным телом.

«Сеть для рыбы. Частый бредень», — подумал Павел. Сходить бы в городок, разыскать садовника. Он не знает даже, где тот живет. В какой стороне — у гор, у заводика, у шоссе?

— Графиня, вас не утомила война с осой?

— Я ее боюсь.

— А она тебя боится... Давай вылезай из гамака, пройдемся.

Оса уселась на Матильдину ногу, и Матильда так сильно хлопнула ее со страху книжкой, что вскрикнула сама.

— Теперь синяк будет.

— Хуже... — мрачно сказал Павел. — Сейчас налетят ее подруги. И от тебя останется половина.

И в самом деле рядом зажужжала оса.

— Ой!

Павел взял Матильду за руку и потянул из гамака.

— Вставай, вставай, пока цела...

— Спасибо, маркиз, вы спасли мне жизнь! Я этого никогда не забуду.

— Пройдемся?

Матильда развела толстыми руками, разом показывая на деревья, кусты, цветы.

— Где?

— По городу, — предложил Павел.

Глазки Матильды вспыхнули светлыми огоньками.

— Верно?

— Ну, я ж тебя приглашаю.

Она сделала глубокий реверанс.

— Благодарю, маркиз.

— Только если ты будешь заглядываться на встречных мужчин, я накостыляю тебе по шее.

Ах, как он знал эту толстуху!

Она оглядела себя.

— Подожди. Я только переоденусь.

— И спросись у муттерхен.

— У нее сегодня мигрень.

Матильда побежала в дом и вскоре появилась в воздушном бежевом платье, которое необыкновенно толстило ее.

— Как я гляжусь?

— Великолепно! — воскликнул Павел. — Как облако дыма из большой трубы!

— Из тебя никогда не выйдет настоящего светского кавалера, — вздохнула Матильда. — Идем!

— Ворота заперты.

— Я велела Гансу отпереть.

Из дверей дома вышел заспанный Ганс. Посмотрел на парочку и усмехнулся.

— Ненадолго, молодые люди. Вернетесь — позвоните.

— А чего там делать долго? — проворчал Павел, делая вид, что идет безо всякой охоты, из-за Матильды.

Они вышли за ворота. Улочка, посыпанная плоскими камешками, сбегала вниз и была пуста. Ни души. Полдень. Кому охота вылезать на жару?

— Возьми меня под руку, — попросила Матильда.

— Ну да!.. Ты, как печка.

— Но я могу упасть!

— На землю, не на небо, — засмеялся Павел.

Они двинулись вниз. Позади раздался непонятный грохот. Оба обернулись. И Павел увидел знакомую троицу, по-лошадиному топая, ребята сбегали сверху, придерживая маленькую тележку на четырех колесиках с деревянными бортами. Тележка была доверху набита хворостом. А железные обода колес гремели на камнях.

Павел обрадовался, но виду не подал, следил, как они приближаются. Матильда заткнула уши.

— Т-р-р-р... — крикнул внук Соколика, когда они поравнялись с Павлом и Матильдой.

Тележку остановили. Все трое уставились на Матильду.

— Матильда, ты имеешь успех у туземцев, — сказал Павел. — Теперь они будут рассказывать, что видели неземную красоту. — И добавил пословацки: — Добры день.

Матильда снисходительно улыбалась. Этот, в солдатской шапке, если его отмыть и переодеть — парень хоть куда!

— Добры день, — ответил Янко.

— Як дедушка Ондрей? Здоров ли? — спросил Павел.

Янко кивнул.

— Дедко одишнел до дедины.

Павел не понял.

— До дедины, — пояснил Янко, прогудел паровозом и, согнув руки в локтях, задвигал ими, подражая паровозу.

Спутники его засмеялись.

— Понял... Уехал.

— До дедины, — повторил Янко и посмотрел на Матильду. Матильда состроила ему глазки. Янко снял пилотку.

— До виденья, пани. — Он что-то сказал товарищам, и тележка загремела дальше.

— На каком языке ты с ними говорил? — спросила Матильда.

— Сам не знаю, — ответил Павел. — Идем. — «Дедина, дедина... Вероятно, где жили деды... Может, деревня — дедина?»

Тележка быстро удалялась и свернула на боковую улицу. Павел остановился на перекрестке. Ребят в боковой улице уже не было. «Живут где-то здесь», — подумал Павел.

Через центр городка проходило асфальтовое шоссе. По нему двигалась колонна грузовиков. Над ними висел синий вонючий дым. По обеим сторонам шоссе тянулись одноэтажные и двухэтажные дома за зелеными палисадниками, отгороженными от шоссе высокими вязами и липами. Тень от деревьев лежала на панели причудливыми кружевами и не давала прохла-

ды. Внезапно дома отодвигались, образуя площадь. Здесь были ресторан, магазин, в витрине которого была выставлена обувь, кофточки, висело духовое ружье на фоне пестрой материи. Дальше какие-то маленькие лавочки, кафе. И в самом конце — бензоколонка.

Матильда хотела зайти в магазин, но поперек открытой двери стояла палка. Обед.

— Какой убогий городок! — поморщилась Матильда. — Хочу в Берлин.

— Соскучилась по бомбежкам? — ехидно спросил Павел.

— Там хоть люди, — сказала Матильда.

— Везде люди.

В боковой улочке над всеми домами возвышался костел, а за ним — кладбище, огороженное невысокой стеной с сохранившейся кое-где штукатуркой.

— Зайдем, — предложил Павел.

— Это же кладбище!

Павел двинулся к открытым воротам. Матильда побрела следом. Кладбище уступами взбиралось на холм. У могильных памятников кое-где стояли черные квадратные фонарики.

Среди богатых мраморных надгробий попадались убогие холмики, обложенные дерном, с деревянными или железными крестами. Даже в смерти люди не были равны. Возле одного холмика стоял вырезанный из жести, распятый на кресте Иисус, у ног его лежали привядшие букетики цветов.

— Пойдем, Пауль, — тихо сказала Матильда.

Надписи, надписи... На словацком, на немецком... Латынь... И вдруг: «Рабъ Божий Михаил Ивановъ Костылевъ. Мир праху твоему». По-русски. Надпись стерта, плита покосилась.

Кто он, этот Михаил Иванов Костылев? Павел пожалел, что нет у него в руках цветов. Он бы положил их на могилу неизвестного Костылева.

— Русский, — сказал Павел и вздохнул.

— А рядом — немец, — произнесла Матильда.

— Вот именно. В одной земле.

Они двинулись к воротам. Павел думал о матери и брате. Почему нет писем? Может быть, они погибли? Ведь война ж! И папа погиб? И остался он один-одинешенек на свете? Похоронят, как этого Костылева на чужбине. «Раб божий Павел Иванов Лужин. Мир праху твоему».

Ужасно, как кладбище действует! Он покосился на Матильду. Матильда смотрела куда-то вбок, щуря от солнца глаза. Павел взглянул туда же. Неподалеку возле могилы стояли двое солдат, тихо переговариваясь. К ним шел старик. Павел узнал Соколика. На нем был черный пиджак, в руках кепка и цветы.

Соколик поравнялся с солдатами, сказал им что-то, почти не останавливаясь, и пошел дальше.

Как же так? Ведь Янко сказал, что дед уехал в какую-то деревню?

Солдаты направились вниз к воротам. Павел пригляделся. Не может быть! Но эта прямая спина, гордая посадка головы. Гауптман фон Ленц. Монокля нет. И форма... Обмотки на ногах. Грубые башмаки. Гауптман — и вдруг рядовой словацкой армии.

Солдаты исчезли за воротами. Фон Ленц это был или не он? Просто похожий?

— День добры, — сказал Соколик, подходя и утирая рукавом вспотевший лоб. — Чи панство спацирует?

— Хей... День добры, пан Соколик. Вы не уехали на дедину? Я видел Янека.

— Ано. Я уехал на дедину.

— Мне знаком один из тех солдат.

Соколик покосился на Матильду.

— Непознам тых вояков. До виденья.

— До виденья, пан Соколик.

Старик пошел к воротам.

Знает он этих солдат. Только вид делает, что не знает.

— О чем ты с ним говорил?

— Ни о чем, — ответил Павел. — Забавный старик. Идем.

Они спустились к воротам и вышли на улицу.

До чего же похож солдат на фон Ленца! Если бы не Матильда, он бы подошел. Может быть, фон Ленц, если это, конечно, он, знает, что с мамой? Слишком долго нет писем.

Вечером вернулись из Братиславы Доппель и Отто. Наскоро поужинав, они заперлись в кабинете доктора. Потом Отто прошел в свою комнатку под лестницей. Павел бывал там. Комнатка маленькая. Под оконцем стол с пишущей машинкой. У стены — узкая койка, застланная серым ворсистым одеялом. В углу — стоячая вешалка. Шинель, плащ и на плечиках штатский костюм. Павел заметил, что здесь Отто редко надевал форму, все ходил в штатском.

Из открытого окошка послышался стрекот пишущей машинки, словно в саду поселилась большая цикада.

Павел прилег на постель и снова подумал о маме. Мама тоже стала писать письма на машинке. Наверное, удобнее. Никогда не пробовал. Надо будет завтра попросить, чтобы Отто показал, как на ней стучать. Завтра воскресенье, а по воскресеньям ни доктор, ни Отто никуда не уезжают. У них в цирке тоже была старенькая высокая черная машинка с золотой надписью «Ундервуд». Ее прозвали «вундеркинд». Печатал на ней собственноручно директор Григорий Евсеевич. Он печатал, не глядя на клавиши. Пальцы бегали сами. И мама, наверное, научилась печатать, не глядя на клавиши. У нее удивительно живые пальцы.

Павел вслушивался в глуховатое стрекотание машинки и не заметил, как уснул.

И проснулся он от стука. Только стук был монотонным и совсем глухим. За окном мокрые листья, за ними серое небо. Дождь. Вот оно что!.. Барабанит по железу... Придется делать зарядку в комнате. Горе, а не зарядка. Развернуться негде! Он спустил ноги на коврик, потянулся, хрустнули суставы. Да-а... Занудное впереди воскресенье. Деваться некуда. В саду не посидишь: дождь. Хорошо, если доктору не взбредет в голову затеять «воскресную проповедь». Любит он поупражняться на домашних в красноречии. Заведет часа на два — о долге, о национальной совести, о величии и задачах. Все повернет на свой, на фашистский лад.

Встать бы да сказать: «Господин доктор Эрих-Иоганн Доппель! Я — русский и у меня есть свой долг: давить вас, фашистов, уничтожать. В этом моя совесть и моя задача. И не думайте, что ваши речи западают мне в моз-

ги. Вы можете их вышибить, но не перевернете. За два года я так научился вас ненавидеть! Если бы не мама и не Петр, которые тоже вас ненавидят, я бы давно уже сбежал к партизанам! В Советский Союз! На фронт!»

Но он вынужден будет сидеть в гостиной или в кабинете доктора среди его душных кактусов и слушать высокопарные слова о долге, национальной совести, о величии и задачах. Хайль Гитлер! Чтоб он сдох!

Мама! Я терплю все ради тебя!

Он сделал несколько упражнений без обычного удовольствия. То ли дождь, то ли мысли о маме мешали. Потом вышел и спустился по лестнице на руках. Благо никто не видит. И доктор, и фрау, и Матильда-жиргут еще дрыхнут.

Павел открыл дверь в сад, вдохнул влажный воздух. У самого входа образовалась прозрачная лужица, капли били по ней, вздувая легкие пузыри, которые тут же лопались. Дождь стучал по листьям, по земле, по переполнившейся водой пожарной бочке.

Сходить к Отто? Он встает обычно рано. Написать письмо маме на машинке.

Он постучал в дверь под лестницей.

— Да!

— Доброе утро.

— Чего уж тут доброго, — ворчливо ответил Отто. Он сидел на койке и брился, глядясь в осколок зеркальца, прислоненный к пишущей машинке. С лица на шею сползала мыльная пена, образуя фантастический белый воротник. — Заходи. Слышал, на фюрера покушались?

— В каком смысле?

— Бомбу подложили. Фюрера бог спас.

Павел смотрел на Отто во все глаза. Потом спросил:

— Партизаны?

— Какие, к черту, партизаны! Генералы. Целый заговор.

— Немецкие генералы?

— Турецкие, — сказал Отто, отирая лезвие бритвы о кусочек газеты. — Сами фронт развалили, а кидаются на Гитлера. Сукины сыны! А ты, наверное, был бы рад, если б фюрера кокнули?

— С чего вы взяли, Отто? — оторопело спросил Павел.

— Да нет, я так, от злости... Полночи письма печатал. Очень доктор встревожен. Он ведь чуть не всех тех генералов, что бомбу подкладывали, знает. Самому фюреру написал: мол, мой фюрер, бомбу подложили в сердце Германии и что сталось бы с Германией, если бы мерзавцы достигли своей гнусной цели! Не щадите, мой фюрер, врагов! Все немцы с вами! — Он вздохнул. — Вот такие дела.

Отто вытер лицо и шею смоченным в воде кончиком полотенца, сложил бритву, сунул зеркальце в стол. Павел молча наблюдал за ним.

— Послушайте, Отто, а что было бы, если бы фюрера... того?

— А черт его знает! Наверно, запросили бы мира. Русские-то к самым границам рейха подошли.

Павел подумал:

— Нет. Русские не пойдут на мировую.

— Почему?

— Они же нас бьют! Мы же не говорили о мире, когда наступали. А теперь они не захотят слушать. Они раздолбают весь наш рейх.

— Да ты говоришь, как этот... как его... пораженец! Смотри, Пауль.

— Я знаю русских. Они доведут дело до коица, — увереиио сказал Павел.

— Ничего... Фюрер обещал новое оружие.

— Да... Коиечио... Отто, можио я иапечатаю маме письмо?

— Садись, колн охота. Стучн. Дело ие хитрое. Хотя я первое время все ие туда тыкал, ие в ту букву.

Павел уселся иа стул, рассмотрел клавиши, где какая буква.

— Сейчас я тебе лнст заложу.

Отто вставил в машнику лист бумаги, щелкиула каретка.

— Вот так переведешь, когда строчка коичится. А я пойду умоюсь. — Ои взгляиул иа окио. — Льет и льет.

Отто взял полотеице и ушел. Павел иашел нужиую букву н стукиул по клавише. Рычажок щелкиул. Бумага передвииулась. На ией осталась сиияя буква.

«Здравствуй, мама! Давио от тебя иет писем. Почему? Что случнлось? Я жив, здоров. Мы уехали нз Берлииа в союзиое государство — Словакию. Здесь горы и вообще краснво...»

Вериулся Отто.

— О! Ты делаешь успехи. Смотри-ка сколько иастукал! Давай, давай...

«В Берлиие случилось большое иесчастье. Геиералы чуть ие убнли нашего фюрера. Сегодия идет дождь. Это иебо плачет. Что бы ин случнлось— мы победим! Хайль Гитлер!

Всем от меия привет.

Целую тебя. Твой сыи Пауль».

Пнсьмо вышло коротким, куцым. Ои ие знал, о чем пнсать. Да и машника подводила. Столько времени уходило на поиски букв! Вроде вот она, рядом, а хлопиешь ие по той. Морока! А все же он иаписал письмо.

— Завтракать пора, — сказал Отто. — Доктор ие любит, когда опаздывают. Впрочем, ему сегодия ие до тебя. И ие до меия. Пойду в пивиушку. Давио ие сидел за кружкой пива. Компаиию ие составишь?

— Матильду пригласите.

— Опасио, — засмеялся Отто. — Ее иадо сладким угощать. Пошли.

— Я сейчас. Письмо отиесу к себе.

Павел подиялся в свою комиату, положил письмо иа стол. Дождь стучал по подокоииику. Удивительио, как все пнсьма, иапечатаииые иа машинке, похожн одио иа другое. Вот письмо, которое иапечатал ои, собствеииоручио. А похоже иа письмо от мамы...

Ои открыл ящнк стола и достал мамииы пнсьма. Положил рядом со своим. Уднвительно! Даже «f» и «а» скошеиы так же, а иад «i» сбита точка, иету ее. А иа других машииках есть! Как же это?

И вдруг страииая мысль пришла ему в голову: да оин же написаиы иа одиой машиике! И мамины письма, и его. Вот оии лежат рядом. Бараиу поиятио. Выходит, мама печатала свои письма иа этой машнике? Но мама в Гроиске, а машиика была в Берлиие.

Павел в смятении смотрел иа письма. Может быть, машники одииаковые? Почерков одинаковых и то ие бывает, а людей больше, чем пишущнх машииок. Зиачит, мамины письма печаталнсь в Берлние. Отто?.. Доппель?..

Его бесстыдио обмаиули. Зачем? Что случилось с мамой? Надо спросить Доппеля прямо, виезапио. Чтоб ие отвертелся. Доппель скользкий, как угорь. Надо припереть его к стеие. Заставить сказать правду.

Павел посидел еще мииуту у стола. И все глядел иа письма. Да. Одии и те же буквы. Одии и те же!.. Ои взял письма, сунул в кармаи и пошел в столовую. Ои припрет Доппеля. При всех. Не отвертится!

За большим круглым столом, каждый на своем месте, сидели доктор Доппель, иапротив иего фрау Аииа-Мария, по левую руку Матильда, по правую Отто. Место Павла возле Матильды.

Когда ои вошел, Доппель иичего не сказал, только поджал губы.

— Прошу прощеиия, господии доктор. Доброе утро. — Павел сел иа свое место. Письма жгли кармаи, ему казалось, что ои ощущает жжеиие иа иоге. Так бывает, когда отсидишь иогу или иеудачио свалишься с лошади. Нога иа время иемеет и по ией бегут «мурашки».

Не обращать виимаиия. Пройдет. Что это фрау смотрит страиио? Вероятно, у меия лицо... Делаем спокойиое лицо. Удивительно! Сидят, как будто иичего ие случилось! А ведь писали фальшивые письма!

Фрау Элина прииесла поднос с тарелками:

— Яшицасой...

«Яичиица с колбасой».

Павел любит яичиицу с колбасой, но сегодия ие протолкиуть ее в глотку. Сухо во рту. Ои иалил из графииа холодную воду. Выпил залпом целый стакаи.

Доктор покосился иеодобрительио. Страииый какой-то сегодия мальчишка. Взгляд иапряжеииый. Вероятно, его потрясло покушеиие на фюрера. Всех оио потрясло. У Аииы-Марии дрожат руки. Кажется, оии дрожат у иее вообще последиее время. Возраст. Вот Матильда спокойна. Даже если обрушится иебо, оиа будет спокойиа. Замуж пора. Бежит время, бежит, давио ли сучила толстыми иожками в детской кроватке!.. Сейчас фюрер примется за геиералов. Гиммлер, вероятио, потирает руки. Там, в Германии, свой «частый бредень». Главное — отмежеваться, если хочешь выжить. Хорошее письмо ои послал фюреру, хорошее, продумаииое. Даже если фюреру его ие передадут, иепремеиио доложат. Фюрер любит верность и умеет ее цеиить.

Павел выложил иа стол иесколько листков бумаги.

— Удивительная вещь — письмо.

Доктор вздрогиул и посмотрел иа Павла. Что ои зиает о письме фюреру?

— Вот письма моей мамы, — звоико сказал Павел. — А вот письмо, которое я иапечатал утром.

Ах, ои о своих письмах. У каждого свое.

— Что? — рассеянно спросил доктор Доппель.

— А то, господии доктор, что все письма иапечатаны иа одиой машинке.

— Как это? — удивилась Матильда.

Доппель перегляиулся с женой.

— Мама не писала этих писем. Оии иапечатаиы иа вашей пишущей машинке. Их написали вы. И я прошу, иет, требую, чтобы мие объясиили... Что с мамой? Где письма от мамы? — Голос Павла, звеиевший, словио иатяиули связки, дрогиул.

— Может быть, мы поговорим об этом ие за столом? — произнес доктор тусклым голосом.

— Нет, сейчас! — упрямо сказал Павел.

— Милый, у меня, кажется, разыгрывается мигрень. — Фрау Анна-Мария стала подыматься со стула, чтобы уйти.

— Сидите, — приказал Павел.

И она села на место, растерянно глядя то на мужа, то на Пауля.

— Хорошо, — сказал Доппель тем же тусклым голосом. — Эти письма действительно писал я. Раз уж обнаружился этот мой невольный обман, я скажу тебе правду, мой мальчик. У тебя нет больше мамы и нет брата. У тебя никого нет, кроме нас. Мы — твоя семья. Мы спасли тебя от гибели, от ужасной участи, которая постигла твою маму.

Павел чувствовал, как медленно и неудержимо пробирается в сердце щемящий холод и становится трудно дышать.

— Что с мамой? — спросил он, с трудом ворочая язык.

— Она была прекрасной, благородной женщиной! Умной и работящей. Ты не знаешь, что ресторан в Гронске взорвали. Я не рассказывал тебе.

— И мама...

— Нет. Она осталась невредимой. И это было чудом. С новой энергией, так присущей ей, она взялась за наше общее дело. Она восстановила ресторан. Но партизаны ненавидели ее. Буквально охотились за ней. Они напали на нее и скорее всего убили.

Павел смотрел на доктора в упор:

— Убили?

— М-м-м... Точно нельзя утверждать. Трупы не найдены. Вообще ни одного трупа. Только сгоревшая машина. Но даже если они забрали ее в плен вместе с нашим офицером, что ждет ее? Она — немка. Она сидела в советской тюрьме. Она работала для офицеров рейха. Бедная Гертруда, какая трагическая судьба!

— И Петя был с ней?

— Да. И Петер. Я не хотел тревожить тебя, мой мальчик. Прости меня за то, что я не смог тебе сказать правду. У нас разрывалось сердце. — Доппель смотрел на жену.

Фрау Анна-Мария печально кивнула.

— Это ужасно. Сначала потерять отца, потом мать и единственного брата, — тихо договорил Доппель.

Павел был оглушен... Он ничего не понимал. Желтый глаз яичницы смотрел из тарелки. Вокруг кусочки колбасы, словно сгустки крови... «Сначала потерять отца...» «Сначала потерять отца...» Мама... Мама сказала, расставаясь, что папа жив. Они подделали указ в газете. Доктор подделал. Павел в этом не сомневался.

— Значит, маму захватили партизаны? — тихо спросил он.

— Увы, мой мальчик. Жестокость партизан известна всему миру. Мы очень скорбим вместе с тобой, мой мальчик. Но ты — настоящий немец. Ты переживешь горе. И пусть оно наполнит твою жизнь ненавистью и благородной целью. У тебя еще будет возможность отомстить!

Если это правда, что маму захватили партизаны, а не немцы, мама жива. Мама боролась. Мама не такая немка, как эти. И Петька с ней... Если маму захватили партизаны... А если немцы? Служба безопасности? Если Доппель врет?

— Простите. Я уйду.

Павел поднялся и, ни на кого не глядя, пошел к двери.

— Пусть побудет один, — услышал он голос фрау Анны-Марии.

...Мама не может быть мертвой... Мама не может быть мертвой...

Павел лежал ничком на кровати, зарывшись мокрым лицом в мокрую подушку. Он наплакался, он не удерживал слез. Он не оплакивал маму. «Мама не может быть мертвой», — повторял он себе. Мама всегда живая. Всегда. Он плакал потому, что сдали нервы и по подоконнику печально стучал дождь. Он вспоминал ярко освещенный манеж и маму, скачущую на Мальве. Мамины руки, мамину улыбку... Мама не может быть мертвой. «Гертруда Иогановна Лужина. Мир праху твоему». Нет! Чушь! Мама у партизан. И ресторан взорвала она. Уж это-то без сомнения. А потом ушла к партизанам. Доппель врет.

Когда он выплакался, затих и получил возможность поразмыслить надо всем, что он сегодня узнал, родилась новая мысль: он свободен! Он жил в этой лживой семье и притворялся послушным немецким мальчиком, потому что так велела мама. Ради ее спокойствия, ради Петра. Теперь они у партизан. Он — свободен. Он не должен и не хочет оставаться здесь. Только в одном доктор прав: у него еще будет возможность отомстить!

Незадолго до обеда в дверь постучали.

Павел не ответил, все еще лежал, уткнувшись лицом в мокрую подушку. Вошла Матильда. Он догадался, потому что комната наполнилась приторным запахом духов. Скрипнул стул. Села. Что ей надо? Молчит. Откормленная дура.

— Пауль, я не знала. Я бы тебе сказала, честное слово.

Ишь, тихая какая!

— Пауль, не надо... Слышишь? Я тоже весь день проревела.

Он молчал.

— Лучше бы они фюрера убили, чем твою маму.

Вот дура! Павел резко повернулся на кровати.

— Мама жива. Мама не может умереть!

— Не кричи, пожалуйста, на меня. Я ж не знала...

— У вас все, все держится на обмане! — зло сказал Павел.

Матильда смотрела на него жалостно.

— Ты теперь уйдешь от нас, — сказала она тихо. — А я к тебе привыкла. Я тебя даже чуточку люблю.

Павел насторожился.

— С чего ты взяла, что я уйду?

— Уйдешь... — печально кивнула Матильда. — Я тебя знаю. Ты настоящий мужчина. Ты — загадочный русский.

— А ты дура.

— Мы все дуры. Мы не умеем думать. Мы умеем только ждать и плакать. Мы ждали Вилли, а он не вернулся. Теперь уйдешь ты — и не вернешься.

— Что это на тебя накатило?

— Скучно жить, маркиз... Очень скучно... Все воюем, все ждем, все плачем. А зачем? Зачем, Пауль? — Она подождала ответа, но не дождалась. — Ты уйдешь в свою Россию?

— Никуда я не пойду. Отстань.

— Скажи что-нибудь моим голосом... — попросила она.

«Вот навязалась!» — подумал Павел, но почему-то без зла. Не вредная она, Матильда, просто глупая. И вероятно, несчастная. А кто в этом доме счастлив? И он сказал Матильдиным голосом:

— Я к тебе привыкла. Я тебя даже чуточку люблю.

Матильда улыбнулась, два раза хлопнула ладошками, потом залезла под лифчик и достала тоненькую пачечку марок. Положила на стол.

— Это я копила.

— Зачем?

— Не знаю. Надо копить. Все копят... Возьми. На дорогу...

Она покраснела, словно совершила что-то неприличное.

— Нет, ты определенно... того. — Павел покрутил у виска пальцем.

Матильда улыбнулась.

— Какая есть. Примите, маркиз, уверения в нашем совершенном почтении. Я папе не скажу, ты не бойся. — Она замолчала, глядя Павлу в глаза, и неожиданно добавила: — Найди свою маму, Пауль.

И ушла, оставив после себя удушливый запах духов. А потом дождь вытянул и этот запах из комнаты. Павел смотрел на тоненькую пачечку денег и думал, что жизнь полна неожиданностей и Матильда, выходит, не такая уж дура. И мысль эта была приятна.

Он умылся и вовремя спустился к обеду. Фрау Анна-Мария сидела печальная, как и подобает в такой печальный день.

Доктор Доппель ничего не сказал. Лицо его было спокойно, хотя выглядело усталым. «Мальчишка смирился с потерей», — удовлетворенно подумал он.

Отто с удовольствием поедал шницельклопс. Война. Столько народу убивают. Вот и его брат сгорел в танке. Придется продавать землю.

У Матильды чуть припухли глаза. Доппель нет-нет да бросал на нее взгляды. Чувствительная девочка, сентиментальная, как все мы, немцы.

Павел ел, ни на кого не глядя. Аппетита не было, но он заставлял себя есть: одного куража мало. Надо иметь силы.

Бежать он решил на рассвете.

5

Только начало светлеть небо над мохнатыми спинами гор, когда Павел, чтобы не разбудить Доппеля и его домочадцев, выбросил в окно плащ и башмаки, вылез наружу, шагнул босыми ногами по холодному карнизу на крышу крыльца. Железо чуть прогнулось, щелкнуло гулко.

Павел замер на секунду. Прислушался. В доме было тихо. Тогда он лег на живот, спустил вниз ноги, нащупал толстую колонну и сполз по ней.

Дождь кончился еще вечером, но земля и воздух были влажными, над садом прозрачной, голубоватой кисеей висела утренняя дымка, вот-вот готовая лечь росой на листья и цветы.

Павел подобрал плащ и башмаки и направился вокруг дома к площадке, где делал зарядку. Там он перекинул вещи через каменную стену и перелез сам. Все было продумано заранее, каждый шаг.

По ту сторону стены он надел башмаки. Павлу казалось, что он один не спит во всем городке. Он быстро дошел до перекрестка, на котором давеча свернула свою тележку троица, и медленно побрел по тихой туманной улице, присматриваясь к зеленым, еще спящим палисадникам, к старым домам с яркими наличниками и блестящими черепичными крышами. Где-то здесь. Прошуршало невдалеке, верно, по шоссе прошла машина. Пропел тоненько петух. Звуки были таинственными, чуть приглушенными. И все вокруг казалось зыбким, нереальным, словно попал в какой-то

сказочный мир. Это от голубой дымки. Надо во что бы то ни стало найти садовника. Или Янека. Спросить не у кого, да и если бы было у кого — опасно. Надо исчезнуть бесследно для Доппеля: он, вероятно, будет искать, обратится к властям. Вон у него какие были в гостях! У них и полиция, и жандармы, и шпионы — фашисты. Надо найти пана Соколика. Он поможет. Он чем-то напоминал Павлу деда Пантелея Романовича, который приютил их в Гронске.

Павел добрел до конца улицы, дальше было поле. Тогда он перешел на другую сторону и двинулся назад. Он понимал, что это опасно, если кто-нибудь смотрит в окошко, удивится, что паренек бродит ни свет ни заря. Но другого выхода не было. Влажная прохлада лезла под рубашку. Он надел плащ. И в этот момент ему повезло. За низким забором в чистом дворике, возле деревянного крыльца без навеса он приметил тележку с блестящими железными обручами на колесах. Провалиться на месте, если это не та самая тележка, в которой ребята везли с гор дрова! Павел окинул взглядом улицу. Никого! Толкнул калитку — не заперта и даже не скрипит. Осмотрел тележку, вроде — та. Что дальше? Постучать в дверь? Или поцарапаться в окошко?

Он мысленно не раз представлял себе, как стучится в темное окно, его впускают, снабжают оружием и переправляют в горы к партизанам... Теперь все это ему кажется наивным. Ну, разбудит он Соколика, а тот скажет, чтобы шел домой. Скажет, что знать не знает никаких партизан... Да-а, все просто, когда воображаешь!

Он решил никого не будить, а где-нибудь присесть и подождать, пока хозяин не выйдет. А может, это и не его дом? Может, здесь живет кто-нибудь из ребят и тележка не Янека, кого-нибудь из его приятелей?

Небо над горами стало совсем голубым, а горы еще мохнатее, и с них, словно старая шкура, сползали вниз светлые пятна тумана.

Павел поежился, завернулся плотнее в плащ и сел на тележку. Хорошо, что он прихватил плащ. Он бы с удовольствием ушел вовсе голым — эту одежду покупала ему фрау Анна-Мария еще в Берлине. Но голым далеко не уйдешь. Он выменяет ее у Янека на что-нибудь попроще, в чем легче ходить в горах. Нет, с Янеком меняться нельзя. Янко наденет его гольфы и пиджак и тут же его схватят. Откуда? Где взял? Эх, жаль, берет не прихватил!

Дверь дома неожиданно открылась без скрипа и в проеме появился Соколик в рубахе, мятых брюках и калошах на босу ногу. Он почему-то не удивился, увидев сидящего на тележке молодого пана, а только молча кивнул и ушел, оставив дверь открытой.

Павел вошел за ним. В маленьких сенях без окошка было темно, пахло сеном. Открылась другая дверь и Павел вслед за стариком вошел в просторную комнату с причудливой, словно топором рубленной мебелью. На окнах висели ситцевые занавески. Дверь в другую комнату занавешена рядном. Пол устлан домоткаными половиками.

Павел заволновался, разомкнул губы:

— Добрый день.

— Раненько, молодой пан, с солнышком. Зецен зи зих, — пригласил он сесть по-немецки.

Павел сел на грубый некрашеный стул возле такого же стола.

Старик громко сказал:

— Янко! За́спишь! — И сел напротив. — Случилось что?

— Я ушел от них совсем. Навсегда. Понимаете? Убежал. Больше не могу. Я не немец, я — русский. Я их ненавижу. Понимаете? Мне надо в горы. К партизанам. У меня папа офицер Красной Армии, Герой Советского Союза. Зовут меня Павел Лужин. — Он вспомнил словацкие слова: — Мено и приезвиско мои — Павел Лужин. Понимаете?

— Понимаю, — старик пошевелил губами, обдумывая что-то, и внезапно сказал по-немецки: — Откуда ж ты знаешь так хорошо немецкий, если ты русский?

— Моя мама родилась в Берлине. А мы жили в Советском Союзе. Работали в цирке. На лошадях.

— То-то я смотрю, ты на руках ходишь! А как же ты к пану Доппелю попал?

Павел стал, волнуясь, рассказывать, как увез его в Германию Доппель. И как он все терпел ради мамы и брата. И вот узнал, что мама у партизан... И убежал. Теперь можно не притворяться.

Соколик слушал внимательно. Потом произнес неопределенно:

— Интересная история.

— Но вы же тоже знаете немецкий! — с обидой воскликнул Павел.

— Я работал в Германии. Здесь работы не было, многие уходили на заработки.

Из соседней комнаты появился заспанный Янко, увидел Павла, удивился.

— Накладай товар, — строго сказал Соколик.

Янко вышел во двор. Павел видел в окошко, как он подкатил тележку к входной двери.

Соколик поднялся, прошлепал к буфету, поставил на стол миску с хлебом, принес из сеней крынку молока.

— Уж не знаю, как с тобой быть...

— Меня искать будут, а если найдут...

— Документы-то у тебя есть хоть какие?

— Откуда? Только денег немного.

— Да-а... Лет-то тебе сколько?

— Семнадцать.

Соколик кивнул. Поставил на стол стаканы. Разлил в них молоко. Разломил хлеб.

В дверь заглянул Янко.

— Дедко, поможте.

— Пойдем поможем, — сказал Соколик Павлу.

Павел вышел вместе с ним в сени. Наружные двери были открыты. В сенях лежали небольшие мешки и ящик. Янко подхватил ящик, вынес и поставил на тележку. Дед понес мешок, Павел — другой. Мешок тугой, но мягкий.

— Му́ку го́ре, — велел Янко Павлу.

Тот понял, положил мешок сверху. Тележку укрыли брезентом. Вернулись в дом. Молча выпили молоко. Янко аккуратно завернул хлеб в холстину, сунул за пазуху.

Павел ждал, что скажет Соколик.

— Сме ту, — раздалось от дверей. И Павел увидел знакомых девчонку и мальчишку, которые так же удивленно, как и Янко, когда появился из комнаты, пялились на него.

— Ладно, — сказал Соколик. — В городе тебя сразу поймают,

раз такое дело. Пойдешь с ребятами. В горы. Они тебя передадут кому надо.

Павел заулыбался радостно, но тут же вспомнил, что идти надо мимо дома Доппеля.

— Мне той дорогой нельзя.

— А я тебя другой отведу, — сказал Соколик.

Он о чем-то пошептался с внуком. Янко кивал и все время посматривал на Павла. Потом ребята впряглись в тележку и покатили ее по улице. А Соколик повел Павла в другую сторону. В конце улицы они свернули к горам. Начался неприметный подъем, место казалось ровным, а идти стало труднее. Справа и слева потянулись огороды, потом кусты. Подъем становился все круче. Стали попадаться деревья. Внезапно вышли на тропу, которая выбегала из малинника, усыпанного краснеющими ягодами, поворачивала и круто шла вверх, в лес. Тропа была каменистой, вся в выбоинах, видно, часто по ней ходили.

— Тут и подождем, — промолвил Соколик и присел возле дерева на корточки.

— Дедко Ондрей, а вы коммунист? — спросил Павел.

Соколик вздохнул.

— Нет... Записан в социал-демократы... Да ты не думай, мы тоже против фашистов. Как объявили Словацкую республику, все радовались. Шапки в небо бросали. Нет рабочих и буржуев, нет крестьян и помещиков. Все словаки — братья! Заживем одной семьей. Тогда только коммунисты против были, так их за это по тюрьмам посажали. А теперь все поняли, что коммунисты были правы. Не могут овцы с волками в одном дому ужиться. Людаки продали Словакию Гитлеру. Гонят словаков воевать с русскими. А нам русские — братья. Народ обнищал, все к немцам увозят. Как же! Союзники! А верхушка — Тисо там, Мах и прочие — руки греют на нашей беде. Маленький мы народ, мирный, но жизнь любим. И за жизнь — постоим! Это я тебе к тому говорю, чтобы ты понял, к каким людям идешь, на какое святое дело. Если в народе гнев закипел — ни слезами, ни кровью не залить. — Соколик, прищурившись, посмотрел Павлу в лицо. — А ты коммунист?

— Коммунист, — не задумываясь, ответил Павел. — Беспартийный, конечно, но коммунист. У нас все коммунисты!

— То-то вас и не сломил Гитлер, — удовлетворенно произнес Соколик. — Я кое-кого из ваших коммунистов знаю. Крепкой жилы люди. Не свернут. — Он прислушался. — Вроде, ребятишки.

Из-за поворота появилась троица с гремящей тележкой. Остановились, переводя дыхание.

— Не понахлай на гору, — сердито сказал старик, подымаясь, протянул руку Павлу и добавил по-русски: — Хорошей дороги, Павел. Не поминай этим... лихом. Гитлер капут!

6

Словакия кипела. Словакия готовилась к восстанию.

Вместо фальшивого глинковского лозунга: «За бога и народ!» коммунисты бросили лозунг: «Смерть фашизму! Свободу народам!», объединили всех антифашистов в один могучий кулак и создали в подполье Словацкий Национальный Совет.

По дорогам и горным тропам мотались усталые связные. Передавали распоряжения, согласовывали действия, сдерживали особо нетерпеливых: ждите сигнала, еще не время, не давайте немцам предлога вступить на Словацкую землю. Они стянули войска к границам. Будьте терпеливы и бдительны. Готовьтесь, вооружайтесь, учитесь воевать. Свобода не придет сама, ее надо будет брать в смертельном бою. За Карпатами — Красная Армия. Она идет нам на помощь.

Восстание зрело. Фашистская власть шаталась. Народ вышел из подчинения. Распоряжения властей не выполнялись.

Словацкий Национальный Совет готовился взять власть в свои руки.

Президент Тисо обратился к немцам: помогите, выручите, спасите!

Это было прямое предательство. Немцы начали оккупацию Словакии.

Павел навсегда запомнит ночь на понедельник 28 августа. Весь день отряд двигался по горам. Наверное, сверху он выглядел огромной пестрой змеей, тут и там сверкающей оружием. Оружия не хватало, да и управляться с ним не все еще умели. Отряд медленно спускался с гор. Партизаны устали. У Павла тоже гудели ноги. Но он ни за что бы не признался в этом. Он чувствовал себя бойцом, хотя в руках была пока что палка. Оружие будет!

Ночью партизаны вошли в местечко. Никто не оказал им сопротивления. Солдаты и даже жандармы присоединились к отряду, который расположился на площади. Часть отряда двинулась к тюрьме. Освободить политических заключенных, коммунистов.

Драться не пришлось. Охрана открыла ворота.

А утром городок украсился флагами, сине-бело-красными, как ленточки на шапках партизан, и алыми. На площади с грузовика раздавали партизанам оружие. Павлу досталась русская винтовка и три десятка патронов. Затвор был густо смазан рыжим маслом. Павел вынул затвор и стал протирать его носовым платком. Винтовку он знает, не зря же занимался в кружке юных Ворошиловских стрелков. И немецкий автомат попадется — тоже не спасует, учили в немецкой школе.

— Оэй, русс, — обратился к нему сосед, который тоже получил винтовку. — Сет шёз ля комман ля демоите? Ж'ан соре бьен тире, ме комман села се демоит?[1]

Павел не понял французского, а француза понял. Взял его винтовку, медленно освободил затвор, вынул, вставил обратно.

— Мерси, камарад!

Удивительно, как все они в отряде научились понимать друг друга. Это, наверное, потому, что все думают одинаково и об одном и том же.

Протирая затвор, Павел все время озирался. Когда входили в городок, прошли мимо дома Доппеля. Дом выглядел мертвым: ни звука, ни огонька. Может быть, Доппель и отсюда увез семью? А может, просто отсиживаются за закрытыми дверьми? Доппель — враг. То, что было добром для него, оборачивалось злом для других.

В толпе промелькнул Янко. Павел радостно замахал рукой:

— Янко! Эй! Янко!

Янко стал озираться, потом увидел Павла и подошел к нему.

— Добрый день, Павел!

— Добрый день. Вот! — Павел показал винтовку.

---

[1] Как эту штуку разбирать? Стрельнуть-то я стрельну, а вот как разобрать? *(Франц.)*

Янко огляделся и приподнял подол рубашки. На животе под ремешком торчал пистолет. Оба засмеялись.

— Як дедко Ондрей? — спросил Павел.

— Добре.

— Не уехал на дедину? — сощурился Павел.

— Не...

— А где Любица и Милан?

— Ту...

Павел вспомнил, как путешествовал с троицей по горам, помогая тащить тележку. А на тележке-то были продукты для партизан. Ребята передали продукты ожидавшим их «дровосекам». Те освободили тележку и понесли мешки и ящик дальше в горы. С ними ушел и Павел. Не легкое дело каждый день тащить в горы тележку!

Янко с завистью посмотрел на сине-бело-красную ленточку на пилотке Павла, которую ему выдали в отряде. Павел хотел было снять ленточку, но отдал вместе с пилоткой. Просиявший Янко отдал ему свою.

На грузовик поднялся командир отряда, а с ним еще двое. Один небольшого роста в очках, в немного мешковатом пиджаке. Другой в военной форме.

— Друзья! — Командир отряда поднял руку. — Будет говорить член Словацкого Национального Совета.

Лица всех обратились к грузовику. Тот, что в очках, сделал шажок вперед. Люди на площади зааплодировали, зашумели. Человек в очках заулыбался. И когда площадь стихла, сказал:

— Содруговья! Братья! Вот и пришел наш час, час нашего восстания!

Он говорил уверенно и страстно. Каждый раз, когда вспоминал Советский Союз и Красную Армию, по площади катились овации. Павел не все понимал, но главное понял: поднялся народ, единственный подлинный хозяин своей земли, своего труда, своего счастья. Гитлеровцы вторглись на территорию Словакии. Надо их выбросить со словацкой земли, а вместе с ними и своих людаков! Победа будет за нами!

Площадь гремела, площадь ликовала. И пело вместе со всеми сердце Павла.

Десятки людей пробивались к грузовику, требовали оружия! Они хотели своими руками добыть свободу.

«Смерть фашизму! Свободу народам!»

Людское море выплеснуло к Янко и Павлу Любицу и Милана. У Любицы на старой кофте с засученными рукавами диковинным цветком пламенела красная розетка. У Милана рот не закрывался от волнения, растянулся в улыбке до ушей, которые были еще краснее розетки!

Он заорал во всю глотку:

Одиннадцать нас было, тысяча нас будет.
Только скажет Яник: за мной, добры люди!
Пойдут вереницы с Татр и с Поляны.
Костры задымятся, затрясутся паны.

Это была старинная разбойничья песня о вольном разбойнике Яношике. Конечно, партизаны не разбойники, но новых песен еще не сложили, а очень хотелось петь.

Ребята положили руки друг другу на плечи и затоптались на месте маленьким кружком. Павел не знал этого танца, но общая радость окрыляла, и ноги сами двигались в такт.

Вокруг засмеялись. Внезапно Павел сбился с такта и остановился. Прямо перед ним стоял, улыбаясь, Фридрих фон Ленц в солдатской форме. Значит, это его он видел на кладбище. Это с ним говорил дед Соколик.

Павел вышел из кружка, кто-то тотчас занял его место. Круг танцующих разрастался. А Павел стоял перед фон Ленцем и смотрел на него. И фон Ленц смотрел и, видимо, припоминал, где он видел этого парнишку, потому что в глазах мелькнула едва уловимая тревога.

— Здравствуйте, господин фон Ленц, — четко произнес Павел.

— Постой, постой, — фон Ленц смотрел на него удивленно. — Ты кто? Петр или Павел? — спросил он по-русски.

— Павел. — Он очень удивился, что пруссак говорит по-русски. — Узнали меня?

— Еще бы! Здравствуй, — фон Ленц протянул руку. — Встреча... Как ты сюда попал?

— А я вас видел на станции, на границе. Вы удрали из вагона в окно.

— Верно,— удивился фон Ленц. — Как же ты все-таки оказался здесь? Где мама?

Павел сбивчиво рассказал все, что знал. Кто же он, фон Ленц, прусский офицер, говорит по-русски, одет в словацкую форму, бросил гранату в гестаповцев и был другом штурмбанфюрера Гравеса. Мама говорила.

— Если маму захватили партизаны, значит, она в безопасности, — сказал фон Ленц, внимательно выслушав рассказ Павла. — Твоя мама — женщина удивительного мужества. Значит, ты ушел от Доппеля к партизанам?

Павел кивнул.

Фон Ленц засмеялся:

— Вот уж верно, яблочко от яблони недалеко катится!

— Вы ж говорите по-русски!

— Заметил? — глаза фон Ленца светились. — Павел, а не навестить ли нам доктора Доппеля?

— Зачем?

— Сориентируемся на месте. У меня к нему есть несколько неотложных вопросов.

Павел нахмурился. Лезть обратно в руки Доппеля, да еще с этим пруссаком? Подумаешь, говорит по-русски! Он, Павел, не хуже владеет немецким, однако не немец.

Фон Ленц заметил его колебание.

— Можешь мне доверять, — сказал он тихо.

— Ладно. А ребят с собой можно взять?

Фон Ленц усмехнулся.

— Личная охрана? Бери.

Павел кивнул. Вытащил Янко из веселого круга, объяснил на русско-словацко-немецком языке, что надо идти по важному делу к Доппелю.

Янко позвал друзей, и они двинулись сквозь возбужденную радостную толпу вслед за фон Ленцем. Павел заметил, что позади идет словацкий солдат, тот самый, что был с фон Ленцем на кладбище.

Улочка тиха и пустынна. Все жители, верно, на площади. Они остановились у глухих ворот доппелевского дома. Фон Ленц нажал кнопку звонка несколько раз. Никто не отозвался.

Павел тронул фон Ленца за рукав:

— Идемте.



Они обошли каменную стенку и остановились в том месте, где Павел перелезал через нее. Фон Ленц сделал знак своему товарищу. Тот ловко влез на стену и спрыгнул в сад. Павел и Янко последовали за ним. Фон Ленц помог перебраться Любице и Милану и перелез через стену последним.

— Стрелять они не посмеют, — сказал фон Ленц, — но береженого бог бережет.

Он двинулся сначала вдоль стены, потом кустами.

Задняя дверь в сад оказалась запертой. Парадная тоже. Дом тихий с закрытыми окнами казался мрачным и даже улыбка гнома у крыльца неестественной, мертвой.

— Пусто, что ли? — обронил фон Ленц и кивнул своему товарищу.

Тот извлек из кармана перочинный нож, раскрыл его, подсунул под раму окна, и окно, к удивлению Павла, открылось.

Павел влез в него и отпер двери.

Все, кроме спутника фон Ленца, вошли в дом.

Дом оказался пуст. Хозяева торопились его покинуть, вещи были разбросаны, в столовой на полу хрустели осколки тарелок, разбитых в суматохе. В кабинете доктора стол раскрыт, ящики выдвинуты. На полу валялись бумажки. В комнате Павла вещи оказались нетронутыми. Павел раскрыл платяной шкаф.

— Янко, забирай. Забирайте, ребята!

— Ние... — качнул головой Янко. — Не треба!

В комнате Матильды все еще стоял удушливый запах духов. На столе лежала бумажка. Фон Ленц взглянул на нее, усмехнулся:

— Павел! Это тебе.

На бумажке крупным почерком кривыми торопливыми буквами было написано:

«Пауль! Мне кажется, что ты еще придешь в этот дом, вот и пишу. Мы скоропостижно уезжаем. Наверно, к англичанам. Папа считает, что Германию еще можно спасти с помощью англичан и американцев. Ты прав, я — дура. Я молюсь, чтобы ты нашел свою маму. Прощай. Твоя сестра Матильда».

— Да-а, — произнес фон Ленц. — Доппель — скользкая личность. Он даже не военный преступник. Его не будут судить после победы. А жаль. Такие, как доктор Доппель, подталкивали колеса войны. Как пишет твоя Матильда? К англичанам? Заговор обреченных. Им уже ничего не поможет.

Они заперли дом и ушли. Маленький гномик, хранитель благополучия и счастья, улыбался им вслед беспомощной улыбкой, перед лицом народного гнева и он был бессилен.

7

Партизаны дрались отчаянно, но немцы были лучше вооружены, у них были танки и артиллерия. А партизаны даже стрелковым оружием толком не владели. Пришлось учиться стрелять в бою. И все же они двенадцать дней не впускали в городок фашистов.

По городку ходили тревожные слухи. В Восточной Словакии из-за нерешительности высших офицеров немцы разоружили две дивизии, готовых

перейтн на сторону восставшнх, открыть путь Красной Армнн. А теперь перевалы захвачены фашистами. Много кровн прольется, прежде чем русскне сломают их сопротнвленне н войдут в Словакню. Много.

В Братнславе нз-за несогласованности отдельные частн не вышлн с оружием в руках на улнцы. Тнсовцы удержнвают власть с помощью немцев.

Не все тюрьмы удалось открыть, и сотнн преданных народному делу бойцов еще томятся за решетками.

Правнтельство Бенеша в Лондоне сует палкн в колеса. Онн боятся, что к власти в Словакин придут коммуннсты. Бенеш спит н виднт, как в Словакию входят не русские, а союзннкн — англнчане н амерncанцы.

Слухн будоражилн: Павел впнтывал нх, как губка воду, думал, старался разобраться. Но разобраться было непросто. А спроснть некого. Фон Ленц нсчез так же таинственно, как появнлся. Деда Соколика выбралн в Народный Совет. Он стал ответственным за снабженне городка продовольствием. Лазал по купеческнм складам н подвалам, выезжал в окрестные деревни. Его сопровождал Янко, который теперь носил пистолет открыто, а не под рубашкой, как раньше.

Отряд занимал оборону западнее городка. Шлн бесконечные мелкие стычкн с фашистами, но Павлу так н не удалось нн разу выстрелить. Как-то так получалось, что его то посылали в штаб с донесением, то сопровождать раненых в госпнталь.

А потом немцы подтянулн артнллерню н началн обстрелнвать городок. Тогда партизаны получнли приказ: оставнть его н отойтн в горы. Павел пониммал, что приказ правнльный: еслн не сдать городок, фашнстская артнллерня попросту сметет его. У партнзан пушек нет, ответнть нечем.

Партнзаны стали отходнть в горы. Павел надеялся попасть в прикрытие, где дралнсь с наседавшнми немцами. У него был к ннм свой счет, он хотел расплатиться. Но командир отряда насупился, когда он обратнлся к нему с просьбой:

— Не проснсь, парень. Прндет время.

Павлу оставалось двнгаться в головной колонне.

Наверное, такнх красивых гор, как Низкне Татры, на свете больше нет. Павел бывал с цнрком на Кавказе, на Урале, в Крыму. Там тоже краснво. Но не так, как в Татрах. Татры хочется гладнть. Как пушнстую кошку, как добрую собаку. Ннзкне Татры оброслн зеленой шерстью, мягкой н колючей. И лохматой, потому что рядом с коренастымн могучнмн дубамн ужнваются голубоватые ели, а сквозь длинные темно-зеленые иглы сосен проглядывает трепещущая лнства осин. Подлесок густ, как подшерсток. И только тропы каменнсты, потому что по ннм весной н осенью стекают дождн, бегучая вода смывает почву, обнажает камешкн.

В Татрах человека обнимает ласковая тншнна, не мертвая кладбнщенская, а жнвая н теплая, наполненная множеством звуков — стрекот кузнечнка, посвнст птнц, лепет лнстьев, шуршанне сухой хвои под ногамн, покряхтыванне рыжих стволов сосен — все сливается в дыханне леса, все вместе н есть тншина Татр. Здесь не хочется разговарнвать громко, крнчать, стрелять. Только петь, н то вполголоса, какую-ннбудь простую песенку, невесть кем н когда сложенную.

Идешь тропой вверх, к небу, по которому бегут пушнстые облака, н кажется, что там, на вершнне, конец земле н дальше шагать прямо по снневе н под ноги, как болотные кочкн, начнут попадаться пружннящие облака. А заберешься на вершину, н под тобой окажется зеленая долина в легкой

прозрачной дымке, а за ней другая гора, сестра горе, на которую поднялся, такая же мохнатая и ласковая. И так без конца.

Закружат тебя горы и начнет казаться, что здесь ты уже был, под этим деревом отдыхал, в этой лощинке отведал теплой с кислинкой брусники... Закружат, словно вберут в себя, и не поймешь, откуда пришел, куда путь держать.

И только словак в этих горах дома, это его горы, хоженые-перехоженые вдоль и поперек, вверх и вниз. Его Татры не закружат, не обманут, он — свой.

Топот сотен ног, бряцание оружия, тяжелое дыхание уставших людей спугнули тишину. Одинокие желтые листья стекали на каменистую тропу, будто Татры сыпали их под ноги партизанам, чтобы не так слышны были шаги. Ветви тянулись над тропой, прикрывая людей.

Павел шел рядом с французом, которому показывал, как разбирать винтовку. Француза звали Поль. Он дышал тяжело с тонким хриплым присвистом, оружие — за спиной, дулом вниз, выгоревшие солдатские обмотки, накрученные кое-как, сбились, тесемка волоклась по земле, но он ничего не замечал, смотрел вперед сосредоточенно. Иногда останавливался и кашлял. И Павел останавливался и ждал, когда Поль откашляется. Идущие сзади молча обходили их. Когда прерывался кашель, Поль смотрел на Павла виновато, словно прощения просил за остановку, и новый приступ сотрясал его тщедушное тело. Потом он вздыхал глубоко, смуглое лицо бледнело, становилось желтым, он поправлял за спиной винтовку и шагал дальше. Павел молча шел рядом.

Винтовка стала тяжелой, лямки мешка за спиной врезались в плечи. Мешок грузный — консервы, хлеб, крупа, патроны. Все отряд нес с собой. Никто не мог предугадать, надолго ли уходят в горы, что ждет впереди.

Павел хотел забрать мешок у Поля, но тот замотал головой. Нет. Сам. А ему было тяжелее всех. Его фашисты били в лагере. Коваными сапогами. Товарищи думали, что он умрет, и фашисты были уверены, что умрет, оставили в покое. А он отлежался. И вместе с товарищами бежал из лагеря.

Павел подружился с Полем, запоминал французские слова и учил того русским. Они разговаривали жестами, подкрепляя их отдельными словами, и отлично понимали друг друга. Еще Поль учился гонять по ладони монетку. Очень хотел показать своим ребятишкам фокус. Вот обрадуются! Его жена и дети жили где-то у моря, возле города Марселя, в маленьком рыбацком поселке. Ведь он потомственный рыбак! Вот побьют бошей, он вернется домой, и родной морской воздух вылечит его.

На привалах, отдышавшись, Поль начинал рассказывать Павлу о своих детях, о море. Говорил быстро, резко жестикулируя руками. Темные глаза вспыхивали и смотрели на Павла радостно, будто Поль видел своих детей, и море, и рыбацкий баркас, и серебро бьющейся в сети рыбы.

Павел ни слова не понимал, но слушал внимательно и улыбался. И видел в это время бегущих по манежу Мальву и Дублона, маму в костюме, усыпанном блестками, ловко скачущую, стоя на плоском седле. А вот и он с Петром перекидывается на скаку булавами. И в шелесте листвы слышались веселые аплодисменты.

А когда Поль умолкал, Павел начинал рассказывать ему про маму, про брата, про отца, про цирк. И для наглядности даже вставал на руки.

Поль, который тоже ничего не понимал, внимательно слушал и улыбался...

Солнце опустилось за гору, небо в том месте еще светилось, а остальное быстро начало темнеть.

Отряд по хрустящим камешкам спускался с горы. Внезапно деревья расступились, и внизу открылась чаша, наполненная молоком. Впереди идущие даже остановились: настолько фантастическим было зрелище. Молоко плескалось, и сквозь него слабо просвечивали тусклые звездочки.

— Деди́на, — сказал кто-то.

Внизу в вечернем тумане лежала деревня.

Пока спускались, туман выпал густой росой и в темноте стали угадываться домики под соломенными крышами. Сквозь наползавшую прохладу снизу проникали теплые струи, наполненные запахами сена, парного молока, хлева, дыма. Еще пахло нагретой за день хвоей, мятой, малиной.

И люди зашагали торопливо, всех потянуло к жилью.

Павлу, Полю и еще нескольким партизанам досталось место на сеновале. Лучше не придумаешь! Острый запах свежего сена кружил голову.

Павел снял башмаки, сухая трава приятно защекотала ноги.

Поль зашелся кашлем. Видно, хозяйка услышала, потому что принесла большую кружку горячего молока и кусок свежеиспеченного хлеба.

— Пей, солдат, пей. Это у тебя простуда от наших горных сквозняков, — сказала она по-словацки.

— Мерси, мадам, мерси боку. — Поль припал запекшимися губами к кружке и стал пить. На тощей шее заходил острый кадык.

Хозяйка стояла, сунув руки под передник и чуть склонив голову набок, и смотрела, как он пьет, как стекают по небритому подбородку молочные струйки. В глазах ее была жалость.

Выпив половину кружки, Поль утер подбородок рукавом и протянул кружку Павлу.

Павел не взял кружку, помотал головой, махнул: мол, допивай.

Хозяйка ушла и снова вернулась, теперь уже с целой крынкой и двумя маленькими кружками. Партизаны с удовольствием пили.

Потом все улеглись. Павел успел подумать: «Эх, Петьку бы в эту благодать!..» и уснул мгновенно, глубоким сном крепко уставшего человека. Ему ничего не снилось, он ничего не слышал, ни мычания коров на рассвете, ни петушиного крика, ни лая собак. Не слышал, как кашлял и хрипел Поль и как оборвались хрип и кашель.

Утром скомандовали подъем. Партизаны выскочили из домиков и сараев в утреннюю прохладу, шумно умывались у кадок с дождевой водой.

Поль все еще спал. Павлу жалко было будить его. Из всех труб в деревне валил дым, готовили завтрак. Павел побродил по деревне, с интересом разглядывая потемневшие соломенные крыши, маленькие оконца, словно занавешенные пучками петрушки, сельдерея и еще каких-то травок. Хозяева запасались на зиму. За домами чернели огороды, уже убранные, с темными кучами свежего навоза. А за огородами — горы. Со всех сторон горы, уже начавшие желтеть и от этого еще больше ставшие похожими на прилегших мохнатых зверей.

Потом он вернулся к своему сеновалу. Поль еще не просыпался. Сколько можно!

— Поль! — крикнул Павел. — Вставай! Завтрак готов! Ле дежане э пре! — добавил он по-французски и тронул товарища за плечо.

Лицо Поля было желтым и неподвижным. Павел наклонился и прислушался, посвиста, с которым дышал Поль, не слышно.

— Поль, — снова позвал Павел, поимая уже, что Поль ие откликиется. Потом присел рядом на сеио и заплакал.

Поля похороиили вечером иа малеиьком деревеиском кладбище иа склоие горы. Трижды прогремели виитовочиые залпы. На свежую могилу поставнли строгаиую доску, а иа ией иаписали:

«Поль. Фраицуз. Пал за свободу».

Так и иаписали «Поль», потому что иикто ие зиал его фамилии.

Хозяйка, поившая Поля горячим молоком, долго сморкалась в передиик, а потом углем иарисовала иа доске чериый крестик. Пусть и бог увидит эту могилу.

На другое утро, когда отряд уходил дальше, Павел подошел к могиле Поля, постоял рядом, решительно достал из кармаиа караидаш, послюиил его н приписал виизу: «Мы отомстим фашистам!».

Павел шел позади комаидира. Тропа была узкой, собствеиио, ее ие было вовсе. Ее прокладывали идущие впереди разведчики. Партизаиы двигались след в след, гуськом. Перед комаидиром шли двое пулеметчиков, одии тащнл иа плече ствол, а другой — тяжелую стаииму. Да коробки с пулеметиыми леитамн в вещмешках.

Старались идти потнше, иедалеко шоссе, которое иадо пересечь.

Раздались выстрелы.

Командир остаиовился и подиял руку. Прислушался. Стреляли впереди. Очевидио, разведчики.

— Всем подтягиваться тихо. Первый взвод за миой.

Командир обошел пулеметчиков. Быстро н бесшумио двииулся вперед по примятой траве. Павел ие отставал. Ои — в первом взводе. Старался идти так же бесшумио, как комаидир отряда. Сердце замирало. Неужели бой? Или опять комаидир пошлет за чем-инбудь в тыл?

Впереди склон осыпался н спускался прямо к серой леите шоссе. На краю лежали разведчики и стреляли. С шоссе отвечали выстрелами, пули срезали иад головами ветки. Сыпалась сухая хвоя. Кто иа шоссе — ие вндать.

Комаидир лег и пополз к разведчикам. Павел — за иим.

Бой. Настоящий бой.

Ои подполз к осыпи, гляиул иа шоссе сквозь побуревшую траву. Оиа возле глаз казалась толстой, могущей защитить от пули.

Внизу, иа шоссе стоялн два грузовика. У одиого был открыт капот, а из-под капота торчали иоги в сапогах. Верио, шофер чииил мотор. За грузовиками залегли иемцы.

— Пулемет, — тихо скомаидовал комаидир.

Пулеметчики сели иа траву и стали торопливо собирать свой «максим».

Виезапно из-за грузовика вылетели две граиаты иа длииных деревяииых ручках. «Толкушки». Оии и верно формой иапомииали деревяииые толкушки, которыми толкут картофель, превращая его в пюре. Павел смотрел на них, как зачароваииый. Ои бросал такие в немецкой школе. Еще Вернер объясиял преимущество иемецких гранат иад русскими. Русские с короткой ручкой, их из-за этого далеко ие бросишь. А немецкие, благодаря своей длиие, летят в два раза дальше. Русские взрываются через три с половииой секуиды, а иемецкие — через семь.

Семь секуид — миого или мало? Павел смотрел иа летящие граиаты



н иикакого страха не ощущал. Даже н мыслн ие прншло, что вот сейчас онн долетят, разорвутся н осыпят всех смертоносными осколкамн.

Гранаты летели одна за другой н напомннлн ему булавы, которыми онн перебрасывались на скаку с Петром. Вот так же одна за другой летелн они через весь манеж. И он ловнл нх одну за другой н отправлял обратио Петру.

Так много нли мало — семь секунд?

Павел даже не понял, как это случнлось. Верно, сработала привычка или ои представнл себе манеж, скачущнх лошадей н летящне над манежем булавы. Ои виезапно вскочил иа иогн, словно распрямнлась в теле неведомая пружниа. Командир не успел его схватнть н прнгнуть к земле. Павел подпрыгнул, ловко поймал летящую гранату и, отправляя ее назад, как булаву Петру, краем глаза следнл за летящей вслед второй гранатой. Она летела чуть в сторону. Павел рванулся всем телом, поймал гранату, ушнбнв о иее пальцы, броснл обратио н подумал почему-то: «Неправнльио бросают». Возле машин один за другнм грохнулн два взрыва. Командир свалнл наконец Павла иа землю. Крнкнул серднто:

— Ты что цирк устраиваешь?

— Цнрк, цнрк... — повторнл Павел радостно и засмеялся. И добавил: — А Петька лучше кндает.

Комаидир не понял. Но он сам был храбр н уважал храбрость.

Рядом ударнл пулемет. Его тяжелое ровное таканье словно вспугнуло немцев. Оин отскочнлн от машии и броснлнсь иа противоположный склон. Но пулеметчики зналн свое дело.

Передняя машнна загорелась, а владелец торчащих нз-под капота ног в сапогах так н не вылез иаружу. Вндимо, пуля застала его под капотом.

— Вперед!

Разведчики и первый взвод скатилнсь винз, иа шоссе. Делать там было иечего. Только собрать оружне.

— Шофер есть? — спроснл громко командир.

— Есть, — отклнкиулся однн нз партнзан.

Командир приказал отогиать оставшуюся машину метров на пятьсот н поставнть поперек шоссе.

Потом он достал нз кармаиа серебряный портсигар, иажал кнопочку, щелкнула крышка. Командир протянул портсигар Павлу как равному.

— Закурнвай.

— Спаснбо, — Павел покраснел. — Я не курю.

— Хорошо. — Командир высыпал на ладоиь снгареты, щелкнул крышкой портснгара н протянул его Павлу. — На память. Берн, берн, цнркач.

Павел посмотрел на портснгар. На крышке вычеканены две лошадиные головы. Надо же! Опять Мальва н Дублои! Ои обрадовался лошадиным мордам, погладнл пальцамн н стало ему грустно-грустно, потому что ноздрн защекотал знакомый запах цнрка — запахло лошадиным потом, опнлкамн, гримом н еще чем-то, чем пахнет только цнрк.

А отряд уходнл все дальше н дальше иа восток. К Карпатам. Немцы н местные фашнсты вроде бы победнли. Но только вроде бы. Словаки поняли, кто их друзья, а кто враги. Кто может предать н продать, а кто ннкогда ие отступнтся от свободы. Словакн ощутилн свою снлу в единеннн, в борьбе за святое дело. Ощутили свое братство с другнмн народамн. И словацкая земля стала гореть под ногамн фашнстов. И будет гореть. Отиыне н навсегда.

Отряд шел иавстречу Красиой Армии ие побеждеииый, а чтобы вериуться и победить. И это чувствовал и поимал каждый партизаи.

Надежда и вера в победу были сильиее горечи поражеиия.

Смерть фашистам! Свободу народам!

8

Серега Эдисои прииял страииую радиограмму. Четыре пары троек.

Ои подумал: ие ошибся ли? Переспросил. И снова: «три-три, три-три, три-три, три-три». Ои отстучал: «17» — «поиял». Геиерала в штабиой землянке ие было. Или где-иибудь с партизаиами беседует, или иа заиятиях сидит. Беспокойиый человек, во все сам вникает.

Как геиерал вериулся из Москвы — все забегали, все задвигалось. Разведчики и в лагере почти ие бывают. Вериутся, деиек отдохиут—и сиова в путь. Подрывники... Вои Петька аж сияет! Свииииой объедается. Повара поросят ие иапасутся. За каждую удачиую диверсию — поросенок иа группу. Как иа подводиой лодке, говорят: там тоже корабль потопил — получай поросеика.

Эх, хоть бы раз сходить на задание, потрепать фрицев!

Вскоре в земляику спустился геиерал.

Серега встал.

— Товарищ геиерал, радиограмма. Страииая какая-то.

— Страииая, говоришь?

«Дядя Вася» взял блаик в руки и заулыбался.

— Ну, Эдисои, держись!

Почему ои должеи держаться, Серега ие поиял.

— Дежуриый! — громко позвал «дядя Вася». — Быстро начальиика штаба, разведку, заместителей, всех.

— Есть! — Дежурный исчез.

«Дядя Вася» сиова посмотрел иа Серегу и улыбнулся:

— Считай, Эдисои, что тебе положеи поросенок. И слушать! В оба уха!

Вскоре земляика иаполиилась сдержаииым шумом голосов. Комаидиры спускались одии за другим. «Дядя Вася» молча кивал, а глаза его молодо блестели. Комаидиры ие могли этого ие заметить. И в душе каждого возиикало предчувствие чего-то большого. Вошел иачальиик разведки Алексей Павлович, взгляиул иа комаидира, геиерал кивнул едва приметио. Лицо Алексея Павловича посуровело.

— Товарищи командиры, — «дядя Вася» стукиул кулаком по столу.— Наши войска иачали иаступлеиие. Вот долгождаииая радиограмма, четыре пары троек!

— Три да три, будет дырка, — весело сказал Каруселии и тут же осекся: — Простите, товарищ генерал.

«Дядя Вася» махиул рукой и засмеялся:

— Ладно. У иас согласоваииая с войсками задача, захватить мост на выезде из Гронска. Не дать фашистам уйти. Войска генерал-лейтенанта Зайцева сожмут город в кольцо. Наша задача — мост. И прилегающие к нему берега. Фашисты тоже ждали иаступления. Ряд объектов в городе заминирован. Группа разведки должна будет просочиться в город и ие дать фашистам взорвать эти объекты. Это наш город, нам в нем жить. Разведке придадим группу Каруселина. Ясно, Алексей Павлович?

— Так точно, товарищ генерал.

Как быстро все привыкли к новому званию «дяди Васи» — секретаря подпольного обкома Порфирина — товарищ генерал. Словно иначе никогда и не называли.

— Отряды, сосредоточенные в лесу, выйдут к реке, на исходный рубеж, послезавтра к рассвету. К тому времени, надо полагать, наши войска расширят прорыв и фашисты начнут мельтешиться в городе, грабить, бесчинствовать. Ни один живой фашист, ни одна машина не должны пройти через мост. Фашисты попытаются задержаться на ближних рубежах. Укрепления там строили наши люди, план давно у генерала Зайцева. А он человек решительный. Укрепиться им не даст. Так что будем вместе с армией брать наш родной Гронск, товарищи. Час возмездия настал!

«Эмка» генерала Зайцева, раскрашенная для маскировки желтыми и зелеными пятнами, выскочила с проселка на шоссе.

Рядом с шофером сидел радист, веснушчатый паренек с задубелыми губами. Рация стояла на его коленях, длинный эластичный ус антенны болтался за окошком. Рядом с Зайцевым — невозмутимый Синица.

— Жми, Коля, — приказал Зайцев.

Жать было трудно. По шоссе передислоцировалась артиллерия. Солдаты в пропыленных, пропотевших гимнастерках, с серыми от пыли и копоти лицами дремали на лафетах, на тягачах, даже те, что шли рядом, умудрялись спать на ходу. Они славно поработали, расчищая плацдарм для прорыва, и теперь втягивались в прорыв, чтобы снова нанести огневой удар по противнику там, где он не ждет. Генерал Зайцев набрался премудрости на войне, считал, что маневренность чуть не удваивает войска. Особенно маневренность танков и артиллерии. О самоходках и «катюшах» и говорить нечего. Обеспечили прорыв — слава! И вперед, не мешкая. Круши тылы, не давай врагу передышки!

«Эмка», беспрестанно гудя, мчалась вдоль колонны. В небе проревела группа штурмовиков. Зайцев взглянул на часы.

— Отмеряют, как в аптеке, товарищ генерал, — сказал Синица.

— Точно.

— Поспали бы... Третьи сутки не спавши.

— А ты мне, Синичка, нос платочком утри, — засмеялся генерал. — Страсть люблю, когда мне нос платочком утирают.

— Я дело говорю, — обиделся Синица.

— И я — дело. Стой, Коля!

Противно завизжали тормоза, машину занесло. Зайцев знал Колину лихость.

— Вывалить хочешь?

— Никак нет, товарищ генерал. Все как приказали.

Зайцев проворно открыл дверцу, выскочил из машины.

Ехавший на подножке грузовика командир артполка майор Макаров, увидев генерала, спрыгнул с подножки, козырнул лихо:

— Товарищ генерал, артполк согласно приказа меняет позицию.

— Молодцы, артиллеристы, не подвели, дали фрицам прикурить!

— Так точно, товарищ генерал! — Макаров улыбнулся одними глазами, опухшими от бессонницы и жаркой работы.

— Ты чего ж на подножке, Макаров?

— Задремать боюсь. А тут ветерком продувает.

— А ты сосни. Мне вон Синица тоже спать приказывает. — Генерал кивнул на неотступно следующего адъютанта.

— В Гронске отоспимся, товарищ генерал.

— И то верно. Хороший город Гронск. — Глаза Зайцева сузились. — Мы из него три года назад в ночь уходили, кровью умывшись. Мы его и возьмем. Долг платежом красен. — Он протянул руку. — Успеха, Макаров.

— И вам, товарищ генерал.

Зайцев влез в свой «виллис».

— Давай, Коля.

Радист обернулся, протянул генералу наушники и микрофон.

— Первый, товарищ генерал.

— Двенадцатый слушает... В дороге, товарищ первый...

Справа и слева от шоссе еще дымились сожженные фашистские танки, докипала краска на броне. Тут и там валялись разбитые грузовики, покореженные орудия, трупы.

— Пейзажик ничего... Внушающий... Ввожу артиллерию в прорыв. Все согласно плану, товарищ первый. До встречи в Гронске.

Командир полка майор Церцвадзе, маленький, голубоглазый, сидел в свежей воронке, перематывал портянку на левой ноге. Рядом лежали два связиста, отчаянно крутили ручки полевых телефонов, орали в трубки: «Ромашка, Ромашка, я — Роза, я Роза, как слышите?» — «Незабудка, куда ты делась? Незабудка!» — орал другой.

— Букет моей бабушки! — сердито сказал Церцвадзе.

— Есть, товарищ майор. Незабудка на проводе.

— Как у тебя? — закричал в трубку Церцвадзе. — Дави, дорогой. Дави. Не давай им сосредоточиться для контратаки... Я тебе и так дал больше, чем соседу... Слушай, дорогой, вышиби их с этой высотки. — Рядом разорвался шальной снаряд. Майора и Лужина, сидевшего с ним рядом, осыпало комьями земли. — Стреляют немножко, — крикнул Церцвадзе в трубку. — Слушай, дорогой, у меня сегодня день рожденья. Сделай мне такой шикарный подарок. Возьми высотку. Давай, — он отдал трубку радисту.

— Ромашка, Ромашка, — долдонил осипшим голосом второй.

— Пошлите кого-нибудь по проводу.

— Разрешите, я сам?

— Разрешаю.

Связист ухватился рукой за провод, выскочил из воронки и побежал, пригибаясь.

Лужин улыбнулся. Каждый раз когда завязывался бой, Церцвадзе кричал своим командирам батальонов, что у него сегодня день рожденья. И требовал подарка — высотку, лесок, населенный пункт. Хотя точно не знал, когда родился. Он — беспризорник, рос в детском доме.

...Церцвадзе натянул сапог, притопнул каблуком.

— Как бой, так портянка сворачивается, понимает, что ли? — удивленно произнес он.

— Есть Ромашка, товарищ майор.

— Ага... — Он взял трубку. — Кто? А где комбат?.. Ах, беда какая!..

Держись, дорогой. Понимаю, дорогой. Надо. На-до! Слышал такое слово? — Церцвадзе покосился на Лужина. — Хорошо, дорогой, сейчас тебе будет резерв. Будет. Держись!.. — Он сунул трубку в руку телефониста, поднялся в воронке. Крикнул: — Кто тут есть живой?

— Я, товарищ майор. Рядовой Глечиков. И вот Самсонов. Только он контуженый немного.

— Хорошо, Глечиков, на тебя смотрит весь полк. На тебя и на Самсонова. — Церцвадзе повернулся к Лужину. — Ну, капитан, приказать тебе не имею права, но прошу, как друга. Тяжело ранен комбат-три. Люди лежат под шквальным огнем. Там замечательные люди. Не пожалеешь, капитан. Как друга прошу, пожалуйста. Сам бы пошел, не имею права.

— Ладно, Церцвадзе, — Лужин встал.

— Вот спасибо, дорогой. Замечательный подарок на мой день рожденья. Армию тебе даю! Глечиков, Самсонов, с капитаном в третий батальон. На вас полк смотрит!

— Есть, — хором ответили оба солдата.

Лужин выскочил из воронки и побежал по перерытому полю. За ним бежали солдаты.

Третий батальон наступал в сторону небольшой рощицы. У немцев там минометы. С отвратительным визгом прилетали мины, рвались, подымая небольшие столбики земли, разбрасывая кругом осколки. Между залегшим батальоном и немцами возле опрокинутой повозки билась вороная лошадь, приседая при близких взрывах на задние ноги и неестественно запрокидывая голову. Видимо, ее удерживали на месте постромки. Лужин упал на землю рядом с командиром первой роты, принявшим на себя командование, незнакомым старшим лейтенантом с измученными затравленными глазами.

— Резерв привели? — спросил старший лейтенант.

— Привел. Вишь, лошадь как пугается. Постромки обрезать надо, — сказал Лужин.

Старший лейтенант посмотрел на него затравленно. Сумасшедший, что ли? Тут головы не поднять!

Лужин внимательно осмотрелся. Надо выводить батальон из огня. Или назад, или вперед. Здесь батальон истечет кровью. Назад? Не-ет, гвардейцы спину не показывают. Значит — вперед. И немедленно.

Он поднялся во весь рост.

— Гвардейцы! Дадим немцам прикурить! Только там — жизнь! Только — там! — Он показал рукой на лесок. — За Родину! Ура!

И не дожидаясь, пока поднимутся люди, побежал к лесочку. Он знал, что они поднимутся. Трудно только оторваться от земли, держит она, матушка, тебя. Крепко держит. А уж встал — хоть небо падай!

— За мной, гвардейцы!

Рядом тяжело дышал Глечиков, открывал рот в неистовом «ура!». Но Лужин не слышал ничего. Только ржание вздыбившейся лошади. И видел только ее на фоне подернутого желтизной леса. И бежал прямо на нее, перехватив пистолет в левую руку, а правой доставая из-под шинели кинжал — привилегию разведчика.

— Впере-ед!



Мины рвались уже где-то позади. А впереди билась обезумевшая лошадь. А за ней — деревья. А за деревьями — враг.

Лужин подбежал к лошади, обрезал постромки. Почуяв свободу, она поскакала прямо к лесу, вместе с гвардейцами.

Лужин побежал за ней. Что-то толкнуло в правое плечо. Рука вдруг стала непослушной. Но Лужин бежал и бежал за лошадью...

В лесочке старший лейтенант с возбужденным от боя лицом перевязал раненое плечо.

— Не больно, товарищ капитан? — И сам поморщился, словно это его ранило.

— Еще заболит, — утешающе произнес Лужин. — Лошадь-то цела?

— А вон стоит.

Лужин обернулся. Лошадь стояла, опустив голову, трогала губами редкую травку. Кожа ее вздрагивала.

— Подумай! — удивился Лужин. Он встал и подошел к лошади. — Ну что? Натерпелась страху?

Лошадь настороженно повернула уши.

— Немка. По-нашему не понимает. — Он погладил черную, блестящую шею. Сказал по-немецки: — Гут, гут... — Так разговаривала Гертруда со своей Мальвой. Лужин вздохнул: — Пойду я. Бывай, старший лейтенант. — Он взял в руки уздечку, от которой тянулись длинные вожжи: — Подсади-ка...

— Не свалитесь? — засомневался старший лейтенант.

Это он-то, вольтижер Лужин, да с лошади? Он усмехнулся:

— Постараюсь.

Старший лейтенант подставил ладони. Лужин взялся за холку левой рукой, легко сел верхом. Тронул вожжи. Лошадь пошла потихоньку.

— Фамилия ваша как, товарищ капитан? Как докладывать?

Лужин обернулся.

— Гвардии капитан Лужин.

Лужин... Так это Лужин! Командир разведроты. Герой Советского Союза. Слышал о нем, слышал... Как же!.. Вот это офицер!

Старший лейтенант махнул рукой и побежал к своим людям, которые прочесывали лес, выгоняя из кустов ошалевших фрицев.

9

Гроиск был забит отступающими обозами, штабами, госпиталями. Жители заперлись в своих домах. Фашисты озверели. Иногда врывались маленькими группами в дома, хватали что под руку попадет, грузили на повозки и машины.

Полевая жандармерия останавливала бегущих, даже раненых, и отправляла в окопы. И штабных писарей, и нестроевиков из обозов. Фашисты не хотели отдавать город. Они надеялись выстоять. Они ждали подкреплений.

А гвардейский корпус генерал-лейтенанта Зайцева обхватил сопротивляющиеся гитлеровские войска железными пальцами своих полков и неумолимо сжимал полукольцо на хрипящем горле.

Вместе с другими попал в окопы и фельдфебель Гуго Шанце. Его прикомандировали к комендантской роте.

Рядом сидел, скорчившись, ефрейтор Кляйнфингер с землисто-серым лицом и бегающими от страха глазами. Как хорошо все складывалось! Всю войну прослужил верой и правдой в комендантской роте. Был исполнителен, глядел в рот начальству, даже, тошно вспомнить, сапоги начищал командиру отделения. Только бы не послали на фронт! Зачем он нужен Эльзе мертвый?

И вот фронт сам пришел к ефрейтору Кляйнфингеру. И теперь не поможет ни исполнительность, ни сапожная щетка.

Он сидел на дне окопа, прижав к груди автомат, и думал о своей несчастной судьбе. Все напрасно! Колечки, подстаканники, шерстяные платки — все осталось в казарме, в чемодане. Ах, почему он не послушался Ганса, не отправил, как тот, посылку домой. А теперь вот и добро пропадет, и его шлепнут. Непременно шлепнут. Сбежать бы из этого окопа!.. А как? Сзади — полевая жандармерия, эсэсовцы. Стреляют не хуже русских... Господи, господи, баварский мой боже, покровитель пива и свиных колбасок! Не допусти!..

— Ганс, как думаешь, нас прихлопнут? — у Кляйнфингера побелели губы, нос и даже глаза.

— Очень могут, — философски произнес Ганс, друг и напарник. — Конечно, если высовываться из окопа.

— А мина?

— Мина может попасть и в соседа, — также философски произнес Ганс и покосился на незнакомого фельдфебеля. Не даст ли в зубы за такие слова? Мина-то еще где, а фельдфебель и зубы — вон они.

Ну и ручища у фельдфебеля, не дай бог приложит. А нос — на двоих рос, одному достался. Нет, Ганс не верил, что его убьют. Как это вдруг, ни с того ни с сего его убьют и будет он лежать в этом грязном заплеванном окопе?

И Кляйнфингер в глубине души надеялся остаться в живых. Но не мог совладать со страхом.

— Где-то я тебя видел, — сказал фельдфебель, взглянув на Кляйнфингера.

— Ефрейтор Кляйнфингер, господин фельдфебель, — произнес тот слабым голосом.

— А-а... Помнишь, на станции я мальчишку у тебя отобрал?

— Так точно, господин фельдфебель.

— Что ж не пришел выпить кружечку?

— Служба, господин фельдфебель. Как думаете, скоро они пойдут?

— Пойдут, — кивнул Шанце.

Кляйнфингер посмотрел на свои грязные руки.

— Хоть бы руку не оторвало!

Видел он одного с оторванными руками. Чем Эльзу обнимать?

Кляйнфингера бил озноб.

— Раньше я у генерала служил. Так того снарядом на куски разорвало. Хоронили фуражку да сапоги, — сказал Шанце.

— В Индию надо было идти, в Индию... — пробормотал Кляйнфингер, как заклинание.

— В любой стране убьют. Дома надо сидеть, — откликнулся Шанце.

— До-ома... — протяжно сказал Кляйнфингер и увидел Эльзу. Она протягивала ему кружку пива, белая пена стекала по желтому прозрачному боку. И светило солнце. И Эльза улыбалась. Протяни руку — и пей.

И Кляйнфингер понял, что он хочет домой. Прочь отсюда, из этих окопов, с этой чужой земли. Прочь!..

Он даже привстал, словно собрался двинуться домой.

— Сиди, шлепнут, — сказал Ганс.

Прибежал взводный, пригибаясь.

— Держаться до последнего, ребята! Приказ. Фюрер помнит о нас. С нами бог!

«Где ты, господи мой баварский?» — с тоской подумал Кляйнфингер.

В лесочке, против которого были отрыты окопы, началось какое-то движение. Прекратилась стрельба. И громкий голос произнес оттуда:

— Немецкие солдаты! Город окружен советскими войсками. Ваши командиры обманывают вас. Вы — обречены. Советское командование предлагает вам сдаться. Выходите из окопов и складывайте оружие. Всем сдавшимся добровольно Советское командование гарантирует жизнь.

«Жизнь... жизнь... жизнь», — забилось в мозгу у ефрейтора Кляйнфингера.

— Даем вам на размышление десять минут.

И что-то затикало там, в лесочке, словно часы стали отсчитывать время.

— Красная пропаганда, ребята! — крикнул взводный. — Они вас перебьют, как цыплят. Держаться до конца! До победы! Хайль Гитлер!

«Несчастные, — подумал Шанце. — Несчастные... Во имя чего? Во имя великой Германии они полягут здесь? Они нужны ей живые, той Германии, которая будет, когда уничтожат фашизм. Когда сорвут с глаз нации коричневую повязку. Несчастные!»

Шанце повернул голову и посмотрел на солдат.

В окопе было тихо.

— А ведь они говорят правду, — сказал он.

— Они убивают пленных! — крикнул взводный.

— Вы были в плену? — спросил Шанце громко.

— Солдаты фюрера не сдаются!

— Значит, не были... А говорите... Лично я не хочу умирать. Хотя уже достаточно пожил на свете. И ефрейтор не хочет. По глазам видать. И его сосед. И другие.

— Вы не в своем уме, фельдфебель! — крикнул взводный. — Я буду стрелять!

«Кто-то должен бросить оружие первым. И тогда они тоже бросят оружие. И сохранят жизнь. И может быть, потом хоть как-то загладят зло, которое мы причиняем! Хоть попытаются загладить зло. Иначе мы погибнем, как нация». Фельдфебель Шанце поднялся в окопе, длинный, в перепачканной глиной шинели. Нос свисал на подбородок. Он казался тощей ощипанной птицей.

Он поднялся на бруствер. Бросил на землю автомат и пошел, прихрамывая, к леску.

И тогда взводный выстрелил в тощую согнутую спину.

Шанце взмахнул руками, обернулся и сказал:

— Я знал, что эта свинья выстрелит...

И упал, раскинув длинные руки.

И не слышал второго выстрела, не видел, как покачнулся и сполз на дно окопа взводный. Не видел, как из окопов полезли солдаты, как бросали оружие в кучу и шли редкой цепочкой к лесу.

«Жить... жить... жить... — билось в обезумевшем мозгу Кляйнфингера. Он шел к лесу, все ускоряя шаги. — Жить... жить... жить».

Прямо перед зеленой стеной стояла Эльза и протягивала кружку пива. И пена стекала по желтому стеклянному боку.

10

Разведчики Алексея Павловича и подрывники лейтенанта Каруселина просачивались в город по одному, по двое. Ночью, задворками, огородами.

Каруселин взял себе в напарники Петра. Он мог выбрать и поопытней и посноровистей, среди подрывников были люди отчаянные, хоть к самому Гитлеру в бункер — глазом не моргнут! И все же он взял Петра. Паренек нравился ему своей восприимчивостью, приспособляемостью, что ли. Нет, он не приспосабливался к людям, не тянулся перед начальством, не улыбался повархе, чтобы положила в котелок побольше, не просился на задания, чтобы выказать храбрость. Он умел приспособиться к обстоятельствам, к среде обитания. Быстро и безошибочно. В лесу шаг его становился мягким, пружинистым — ветка не хрустнет, ступит на болото — вода не плеснет, будто он не человек, а блуждающая кочка. Станет у дерева — нет его, словно сам часть ствола. Смеется — так весело, заразительно, загрустит — так сразу всем лицом, фигурой, руками. Вырос парень, вытянулся, неуклюжим стал. А неуклюжесть его только видимость. Видел он этого неуклюжего в деле.

Как-то понадобилось протянуть провод сквозь длинную водосточную трубу под насыпью, труба узкая, дно заилилось. А подрывники парни крупные.

— Может, я попробую, товарищ лейтенант.

Глянул на Петра Каруселин. Мосласт, плечи крепкие. Нет, не пролезет. Тут бы мальчишечку какого, живчика. А мальчишечки нет, а время подпирает, вот-вот патруль пойдет.

— Не пролезешь.

— Попробую.

— Ну пробуй, — разрешил Каруселин и подумал: «Безнадега, в трубе не застрял бы».

Петр привязал конец провода к ноге, чтобы не держать, сунул голову в трубу, потом как-то расчетливо сжал плечи, левое ушло вперед, правое — назад. Перевернулся в трубе на спину, чуть согнул ноги, оттолкнулся, торс ушел в трубу, еще согнул — оттолкнулся — ноги исчезли. Уж как он там двигался — никто не понял, только провод тихо уползал в трубу.

А тут стук дрезины послышался. Что делать? Каруселин скомандовал всем сховаться в кустах, подергал легонько провод и сам нырнул в кусты. Провод не шелохнулся, значит, понял Петр сигнал.

Патрульная дрезина прошла — ничего немцы не заметили. Каруселин подергал за провод, и тот снова медленно пополз короткими рывочками.

Ну и вид был у парня, когда он вылез: руки, лицо, живот в зеленоватом иле и песке. Говорят: запачкаться легко — отмыться трудно. А тут обратный случай: отмыться легко, а вот втиснись-ка в цементную трубу!..

Петр исполнителен. Два раза приказывать не надо, владеет немецким, что тоже в городе может пригодиться.

И наконец, не хотелось ему отпускать парня от себя. Как-то спокойней за него, когда он рядом. И Гертруде Иоганновне обещал приглядеть. У нее и так горя хватает!

Карусельин и Петр дождались на краю леса, пока желтые, опавшие листья не слились с землей. Вот теперь можно и в поле выйти. Теперь они как бы утратили плоть.

Дошли до первых заборов у реки, миновали окраинные, притаившиеся в садиках дома. Карусельин бесшумно отодрал у забора доску. Они проникли в щель и двинулись осторожно бесконечными огородами. Путь знакомый.

Шли молча сквозь настороженную тишину. Ближе к центру уличная тишина стала обманчивой, нарушалась каким-то лязгом, скрежетом, топотом. Пошли еще осторожней проходными дворами. Прежде чем пересечь улицу, выглядывали из подворотен, всматривались в зыбкую тьму, вслушивались.

Так добрались они до дома, в котором жил Василь Долевич.

Карусельин достал из кармана ключ, открыл дверь. В лицо пахнул сыроватый, застоявшийся воздух. Вот ведь какое свойство у человеческого жилья. Стоит человеку покинуть его хоть на несколько дней, оно начинает тосковать, перестает дышать, все в нем замирает, застаивается, откуда-то приползает сырость. Жилье становится мертвым, потому что его покинула душа — человек.

Они вошли в квартиру. Света не зажигали.

— Поспим, — сказал Карусельин. — Днем в городе человеку проще. Не так заметен. Да и дождаться надо кое-кого.

Петр лег, не раздеваясь, на кровать Василя. От холодной подушки шел застоявшийся запах сырости. Он привык засыпать и на нарах в тесной землянке, и на лапнике в лесу, и прямо на земле возле костра, научился спать сидя, привалившись к дереву, и стоя, и даже на ходу. Сон у него был крепкий, но чуткий, сны снились редко, зато были пестрыми: то бегущие по освещенному манежу лошади, то знаменитая драка с братом. Даже во сне он ощущал легкие стремительные броски, а потом падал куда-то долго. Броски были приятны, падение жутковатым. Не просыпался Петр только потому, что даже сонный понимал, раз брат бросает — ничего не случится.

Карусельин составил себе стулья. Катеринина кровать была ему мала. Поверх расстелил плетеную из тряпочек дорожку с пола. Она была сыроватой. Под голову подложил Катеринину подушку. Долго не мог заснуть. То мешали собственные руки, то затекала шея, а главное, не давали заснуть мысли. Придет тот человек, которого он ждет? Успеют ему сообщить? Знает ли он что-нибудь о заложенных немцами фугасах? Да и жив ли он? Все может случиться. Немцы и со своими расправляются. А времени мало. Ох, как мало. Надо найти эти фугасы и обезвредить. Надо. Во что бы то ни стало надо.

Наконец и Карусельин уснул.

И оба проснулись от осторожного стука в дверь.

Карусельин кивнул Петру. Тот подошел к двери, спросил тихо:

— Кто?

— Представитель биржи труда. Перепись трудоспособных.

Петр удивленно оглянулся на Карусельина.

— Открой, — сказал Карусельин.

Петр скинул дверной крюк. За дверью стоял мужчина в сером пальто



и надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе неопределенного цвета.

— Здравствуйте.

Голос показался Петру знакомым. Лица он не разглядел.

— Сколько у вас в квартире живет трудоспособных? — спросил мужчина.

— У нас... А кто считается трудоспособным? — спросил Петр.

— Надо читать приказы и распоряжения. Они вывешены на всех углах, — строго произнес мужчина. — За невыполнение — расстрел.

— Трудоспособный один. Я, — сказал Петр. — Дядя — инвалид.

— М-м-м... Есть справка?

— Дядя, у тебя есть справка? — спросил Петр.

Каруселин понял, что сейчас Петр огреет пришедшего чем придется, парень решительный.

— Есть справка. Есть! — громко сказал Каруселин. — Заходите, господин хороший.

Мужчина прошел в комнату и снял шляпу. Да это ж директор школы Николай Алексеевич Хрипак! Петр даже рот разинул. Вот уж кого не ожидал встретить!

— Закрой рот, Лужин, — усмехнулся Хрипак. — Если не ошибаюсь, Петр?

Петр кивнул и сглотнул слюну.

— Здравствуйте, товарищ Хрипак, — сказал Каруселин. — Есть что-нибудь?

— Они вели земляные работы в саду седьмой школы, где у них штаб.

— Что за работы?

— Вроде окопа, — неуверенно ответил Хрипак. — Туда ж и близко не подпускают.

— Вроде окопа, — задумчиво повторил Каруселин. — Еще?

— Есть сведения, что минирована котельная на деревообделочном. Товарищи говорят: вытаскивали из стен в двух местах кирпичи, и еще в основании трубы. Там возились. Теперь все заложено, зацементировано.

— Так.

— Электростанцию немцы восстановили наполовину. Два генератора работают. Полагают, что заминированы и генераторы.

— Очень может быть, — согласился Каруселин. — Немцы там есть?

— Только обычная охрана. Перед взрывом кто-нибудь появится.

— Не обязательно, — сказал Каруселин. — Немцы гады обстоятельные. Могут все концы свести в одну точку и оттуда произвести взрывы.

— Ну? — удивился Хрипак.

— Эту точку надо найти, ну и, конечно, предпринять меры на местах. В случае обнаружения каких-либо проводов — к ним не прикасаться. Вызвать меня. А то и объект порушите и сами взлетите.

— Дядя Толя, — вмешался в разговор Петр и покосился на Хрипака. — Им точку на стороне невыгодно создавать. Бункер надо строить, или землянку, или еще что. Скорей всего они где-нибудь при своем учреждении. Там что угодно можно нагородить, и не видит никто.

— В школе у них штаб, — сказал Хрипак.

— Возможно, и в школе, — снова согласился Каруселин.

— И от нашей школы расстояние примерно одинаковое, и до деревообделочного, и до электростанции — центр города.

Хрипак посмотрел иа Петра серьезио.

— Вырос ты, Лужии.

— А Ржавый, то есть Долевич, говорил, что вы у иемцев на бирже труда работаете.

— Куда послали, там и работаю, — усмехиулся Хрипак. — А вы полагаете, что у плохого директора хорошие ученики?.. Гм...

— Придется школу проверить, — сказал Каруселии.

Ждали темиоты. День тяиулся томительно. Петр остался один. Карусели ие разрешил ему выходить иа улицу. Петра могли узиать немцы. Ведь ои жил среди иих в гостииице.

Каруселии ушел и его долго ие было. Потом в дверь постучали. Пришел Хрипак. Прииес какой-то узел.

— Скучаешь, Лужии? Недолго осталось. Скоро иаши придут. Кругом грохочет. — Ои развязал узел. В нем оказались чериые эсэсовские муидиры и фуражки с высокими тульями. — Примерь-ка.

Петр надел муидир, иахлобучил иа голову фуражку.

— Пойдет, — одобрил Хрипак.

— А штаиы?

— Штаиов иет. И сапог иет. Муидиры и фуражки товарищи раздобыли иа стаиции. Не то стащили, не то выменяли.

— Как же без штаиов? — спросил Петр.

— Не знаю. Дождемся твоего дядю.

Вскоре пришел Каруселин. Тоже примерил мундир и фуражку. И огорчился по поводу штаиов и сапог. Где это видаио, чтобы эсэсовцы разгуливали по городу без штанов?

Порылись в гардеробе у Василя. Небогато жил Долевич: иесколько рубах, старые серые штаиы, сапоги с побитыми подошвами.

— Придется патруль раздевать, — сказал Каруселин.

Хрипак и Петр уставились иа иего удивлеиио.

— Петр, выйди на улицу и позови патруль. Немецкий-то не забыл?

— Что им сказать?

— Ну... Что-иибудь, чтобы они пошли... Зиаешь, правду им скажи, что здесь два партизаиа.

— Стрельбу подиимут, — сказал Петр.

— А ты скажи, что партизаиы пришли из леса и спят. Клади барахло под одеяло.

Оии быстро суиули муидиры и рубахи Василя под одеяло иа кровати. С краю Каруселии суиул сапоги, будто оии высовываются.

— Что ж оии, так в сапогах и спят? — спросил Хрипак.

— А что взять с русских свииией? — усмехиулся Каруселии. — Мы с вами, товарищ Хрипак, стаием у двери. Дверь откроют — иас ие видио. Чем бы их трахиуть? Стрелять ие хочется. Лучше тихо.

— В сеиях должиы быть лопаты, — сказал Петр.

В сеиях действительио был иструмеит. И лопаты, и лом, и топор.

Хрипак взял топор, Каруселин — лом. Вериулись в комиату, осмотрели кровать. Добрая вышла кукла, полиое впечатлеиие, что лежат двое.

— Ну, давай, Петя, — сказал Каруселии. — И поубедительией.

Петр пересек дворик и выглянул на улицу. Посередиие шли солдаты, ио форма у иих была серая. К черным муидирам ие подойдет. Он решил дожидаться эсэсовцев. Ждать пришлось иедолго. Два автоматчика показались из-за угла. Оии шли иеторопливо, переговариваясь.

Петр подождал, пока оии подойдут поближе, и выскочил им навстречу.

— Хайль Гитлер! Быстро за миой. Я — агеит штаидартеифюрера Витеиберга.

— Что случилось? — спросил одии из эсэсовцев, постарше.

— В доме — два партизаиа. Оии пришли из леса и завалились спать.

— Откуда ты зиаешь, приятель?

— Каждый служит фюреру иа своем месте. И ие задавай глупых вопросов. Входим тихо. Берем соиных.

Петр приказывал так увереиио, что приученные к повииовеиию автоматчики пошли за иим.

Возле дверей Петр остаиовился и прижал палец к губам.

— Никакой стрельбы. Оии иужиы штандартенфюреру живыми. Я за иими иеделю охочусь, — произиес он шепотом и тихо отворил входиую дверь. Автоматчики вошли за иим в сеии, потом в комиату. На кровати лежали двое. Одии прямо в сапогах.

Петр обернулся к автоматчикам и прошипел:

— Т-с-с...

И в это мгиовеиие иа головы пришедших обрушились мощные удары, и оба рухиули иа пол.

Когда стемиело, из дома Долевичей вышли двое эсэсовцев и вывели мужчииу в широкополой шляпе, который иес иа плече лом. Оии зашагали прямо посередиие улицы. Миновали цирк, гостиницу, свериули к школе. Прошли мимо, ие озираясь. Не было возле здаиия ии автомобилей, ии автоматчиков, и само здаиие казалось покииутым, светилось только одио окио возле входа. Но у ворот стояли часовые. Вряд ли иемцы стали бы охраиять пустое здаиие.

Эсэсовцы и мужчиив с ломом свернули в переулок, обошли школьиый сад и оказались с тыльиой стороны школы.

— Ломик, — сказал эсэсовец постарше, Каруселии.

— Осторожио, у иих может быть сигиализация.

— А мы иичего ие троием. — Ои взял ломик, вставил его в прутья решетки, иажал. — Помогите.

Хрипак тоже иавалился иа лом. Прут начал сгибаться, нижиий коиец его хрустнул и выскочил из креплеиия. Оба ухватились за иего и отогиули в сторону.

На улице показался патруль.

— Быстро. Чиии. Петр, виимаиие.

Хрипак стал ковырять ломиком землю возле решетки.

Патруль остаиовился. Одии из патрульиых спросил:

— Что тут у вас?

— Ремонтируем решетку, черт бы ее побрал! — откликиулся Петр.

— Помочь ие иадо?

— Свиньи справится и сам.

Патрульный кивнул, и оии пошли дальше. Когда патруль свериул за угол, Каруселии спросил у Петра:

— Пролезешь?

— Попробую.

— И пробовать иечего. Давай второй прут отогием. Что там пареиь одии будет делать? — сказал Хрипак и суиул лом под соседиий прут. Вместе с Каруселииым отжали его в сторону. — Теперь все пролезем.

Петр пролез в дыру. За инм Каруселии.

Хрипак порвал пальто, пока пролезал, слышио было, как рвалась материя.

Все трое двииулись к школе.

С этой стороиы часовых ие было. И прожектор ие светнл: то ли поломан, то ли иемцы решнлн, что ои больше ие иужеи, раз штаб уехал.

На эту стороиу здаиия выходил чериый ход. Ои был закрыт.

— Если оии ие заколотили изиутри, ключ есть. Я все ключи от школы сберег. — Хрипак тихоиько звякиул связкой ключей, отыскивая нужиый. Ключ вошел в замок, ио не поворачнвался. Вндимо, дверью ие пользовались, и замок заржавел.

— Осторожией. Не сломайте, — прошептал Каруселни. — Дайте-ка я попробую.

Замок не поддавался.

— Может быть, не тот ключ?

— Тот, — ответил Хрипак твердо.

Каруселии сиял со связки другой ключ, длниный и толстый, скорей всего от парадного, сунул коиец его в кольцо ключа в двери н, ухватив пятерией оба ключа, иажал. Раздался иеприятиый скрежет. Ключ повериулся.

Каруселии потяиул дверь. Оиа поддалась с какнм-то стоиом. И петли заржавелн.

Все трое замерлн. Потом вошли. Двери прикрыли и долго стояли, прнвыкалн к темиоте.

Петр так четко представил себе малеиькнй вестибюль, словио вндел: направо иачниается узкая лестиица иаверх. На деревяииые перила строители предусмотрнтельио набили деревянные не то шишки, ие то шары, чтобы мальчншки ие скатывалнсь. Миогнх шншек ие хватало. Прямо — выход в шнрокнй коридор первого этажа. Налево — узкая лестиица вииз, в подвал. В иачале войиы оиа была иаглухо забнта. Ои помиил, как еще в первые дни бомбежек отбивали доски, и сколько за дверью скопилось мусора, — таскали в ведрах.

В здаинн стояла тишина. Из тьмы проступили стеиы, пятиами посветлее иаметнлнсь окна. Получалось, что и не так уж темио.

— Что дальше? — шепотом спросил Хрипак.

— В подвал. Он сплошной? — спроснл Каруселни.

— Узкий коридор и классы, как иаверху. Только потолки пониже.

— Пошли.

Хрипак повел их иалево, где иачииалась лестиица вннз. Оии спустились по ией, подергалн дверь. Оиа была закрыта.

— Пойдем по другой лестиице, — шепнул Хрипак.

Оии подиялнсь, вышлн в корндор и, стараясь ступать как можно мягче, иаправились к парадиому входу. Паркет под иогами поскрипывал, кое-где пол оказался щербатым, верио, тащили по иему что-то тяжелое. Хрипак вздохиул: придется пол перестилать. Эк, загадили школу... Европа!..

Из двери возле главного вестибюля просачивалась в щель тоиеиькая желтая полоска. За ией слышались голоса. Слов было не разобрать.

Хрнпак повел товарищей вииз. Дверь тоже оказалась запертой.

Хрнпак ощупал ее. Если немцы ие поставили свой замок, ключ должеи иайтнсь. Пальцы натолкиулись иа тяжелую щеколду, запертую иа большой висячий замок. Рядом с замком висела сургучиая печать. Вот аккуратисты!

— Надо открыть, — шепнул Каруселин.
— Таких ключей нет.
— Ломик есть.
— Нашумим.
— Что поделаешь? Постараемся потише.
Ломик Каруселин тащил с собой, словно чувствовал, что он пригодится. Конец лома прошел в дужку замка, уперся в дверь. Раздался громкий хруст. Задвижка отскочила.
Наверху показался свет, видимо, немцы услышали подозрительный звук и кто-нибудь выглянул в коридор.
Но все было тихо. И свет исчез.
В подвале стояла непроглядная тьма. В коридоре не было окошек.
— Эх, фонарика нет!
— Есть спички, — сказал Хрипак.
— Можно и свет зажечь, — предложил Петр. — Окон нет.
— Давай, — согласился Каруселин.
Петр никак не мог вспомнить, где выключатель. Никогда не приходилось зажигать свет. Он всегда горел здесь. Вероятно, у дверей?
— Пощупай слева, — сказал Хрипак.
Петр провел рукой по стене возле двери. Нащупал выключатель, повернул. Загорелись три тусклые лампочки. Ток еще подавался.
Каруселин пошел по узкому коридору, осматривая стены, потолок, пол, двери. В одном месте, прямо против закрытой двери, поперек потолка тянулась серая цементная полоска.
— Интересно, — Каруселин попробовал ее ковырнуть пальцем. Цемент схватился хорошо. Он осторожно постучал по полоске ломом. Осыпались кусочки, обнажая пучок цветных проводов.
— Та-ак... Думаю, это то, что мы ищем.
— Перережем? — предложил Петр.
— Не спеши. Перерезать недолго. Кусачки в кармане. А если они под током? И где-нибудь грохнет?.. — Он подергал дверь, от которой шел пучок проводов. — Эти, что остались, — он мотнул головой наверх, — ждут команды. А мы будем ждать их. У входа.
Каруселин решительно направился к двери.
— Гаси свет.
Щелкнул выключатель. Коридор погрузился во мрак.
Они вышли за дверь и уселись на ступеньках.
— Будем ждать, — прошептал Каруселин. — Утром здесь будут наши.

11

За толстыми стенами тюрьмы грохотала гроза. А небо в маленьком окошке под потолком было голубым. Гроза грохотала уже сутки. Семеро узников прислушивались к ней, сидя на голых нарах или подпирая стены. Двигаться было трудно в этой тесноте: семеро — в одиночке.
— Наши идут, — сказал Федорович и перекрестился. — Даруй, господь, воинству советскому победу!
— Нету твоего бога, нету, — сердито сказал маленький тщедушный заключенный, сидевший на корточках на полу, под самым окошком. — Был бы, не допустил бы, чтоб тебя, его служителя, да в тюрьму.

— Грешен, — вздохнул Федорович. — Мирские песни пел.

— Невелик грех.

— Кто отмерит? — неопределенно ответил Федорович. Малиновая рубашка его слиняла, покрылась светлыми пятнами, правый рукав порван в плече. Под глазом темнело зеленовато-желтое пятно, след «душевного разговора» в камере для допросов.

Послышался слабый стук.

— Поп, прикрой глазок.

Федорович поднялся с нар и встал к двери спиной, длинноволосой головой прикрыв глазок. Спутанная сивая борода его торчала в разные стороны, как куски пакли.

Тщедушный передвинулся и приник ухом к стене. Лицо его замерло в напряжении. Потом он сказал тихо:

— Наши у самого города. Немцы попытаются ликвидировать заключенных.

— Как это ликвидировать? — не понял Федорович.

— А так. Вывезут в лес и перестреляют. А то и прямо в камере. Фашистов не знаешь?

Заключенные молчали.

Федорович вернулся на нары, сидел, опустив голову. «Так и пропадут православные души ни за грош? Где ж справедливость твоя, господи? Опять отвращаешь лик свой. А ведь тут не воры, не тати. Тут честные люди, отцы семейств. Чем же они тебе не потрафили, господи? Молитвы не возносят? Эка печаль! Я-то возносил! Меня за что ж? А эти, крови православной реки пролившие, уйдут? По нашим косточкам? Где ж справедливость твоя?»

Звякнул дверной запор. Фельдфебель-надзиратель каркнул:

— Баланда. Шнель, швайн.

За баландой ходили по очереди. Была очередь тщедушного.

— Погодь, — произнес решительно Федорович и пошел из камеры, прихватив алюминиевый бачок. Фельдфебель двинулся за ним.

Там, где сходятся тюремные коридоры, повар-арестант налил в бачок из большого котла на тележке несколько поварешек баланды, в которой плавали желтые, разварившиеся кусочки брюквы и еще бог весть что.

— Отваливай.

— И на том спасибо, — сказал Федорович.

Фельдфебель ткнул его в спину кулаком. Несильно.

— Шнеллер...

Федорович пошел, неся перед собой бачок на вытянутых руках.

Фельдфебель открыл дверь, пропуская заключенного. И тут Федорович внезапно надел на голову надзирателя бачок и втолкнул в камеру.

Баланда текла по коричневому мундиру. Фельдфебель, ничего не видя, ошалев, потянулся к кобуре. Но Федорович схватил его за руки.

— Чего мешкаете, православные?

Тщедушный выхватил из кобуры пистолет фельдфебеля.

Все стояли растерянные. Что дальше?

— Бери ключи.

Ключи связкой висели на ремне надзирателя на длинной цепочке. Их сняли вместе с ремнем.

— Заткни ему рот, — приказал Федорович одному из заключенных. — Да двери прикройте.

Фельдфебелю сунули в рот тряпку, связали ремнем руки.

— Стрелять-то можешь? — спросил Федорович у тщедушного.

— Приходилось.

— Тогда так, православные. Грех пропадать без драки. Открывайте камеры, пока этого не хватились. Берите, чем бить можно, а мы пойдем до того кашевара. Ты — за моей спиной, а я с бачком. Возьмем тюрьму, православные! Не сдаваться ж немчуре!

— Ну, поп!.. — на скулах тщедушного ходили желваки.

— Между прочим, я советский гражданин, — прогудел Федорович, открыл дверь и пошел коридором, неся перед собой бачок. За его спиной шел тщедушный с пистолетом в руке. На том конце коридора появился второй надзиратель.

Федорович шел прямо на него. Видимо, надзиратель принял идущего позади тщедушного за своего напарника, он спокойно повернулся и пошел впереди. Возле перекрестья коридоров Федорович ударил его бачком по голове. Надзиратель рухнул мешком. Тщедушный извлек из его кобуры второй пистолет, протянул Федоровичу. Тот молча помотал головой: не умею, мол.

Возле арестанта-повара стоял надзиратель из другого коридора и наблюдал, как повар наливает баланду в бачок. Повар замер с открытым ртом, увидев Федоровича и тщедушного с двумя пистолетами в руках. Надзиратель обернулся, тоже увидел вооруженных арестантов, сунул свисток в рот, но свистнуть не успел. Повар обрушил на его голову тяжелую поварешку.

— Все правильно, товарищ, — прогудел Федорович. — Забирайте ключи, открывайте камеры.

Коридор, в котором была камера Федоровича, наполнялся заключенными. Они выходили из камер бесшумно, без единого слова, еще не понимая, что происходит.

— Православные, — тихо прогудел Федорович. — Большевики есть?

— Ну, — откликнулся кто-то неуверенно.

— Бери оружие. Будем драться... А я стрелять не умею.

— Товарищи, — сказал тщедушный, передавая кому-то пистолет. — Все делаем тихо и молча. Пока они не очухались, берем верхний этаж. Стрелять только наверняка и в крайней необходимости. Пошли, товарищ поп!

И они двинулись длинным коридором. Без шума не обошлось. Железная решетка на запоре перекрывала верхний этаж. Трое надзирателей были в коридоре. Один выстрелил. Кто-то из заключенных застонал. Остальные залегли.

— Знает кто немецкий? — спросил тщедушный.

— Немного могу, — откликнулись сзади.

— Скажи им, что если не откроют — перестреляем. Нам терять нечего. Хотят остаться в живых — пусть отдадут оружие.

Знавший язык прокричал несколько слов по-немецки.

Надзиратели жались к стене. Может, не поняли?

— А ну еще разок, — велел тщедушный.

И после того как снова прокричали те же слова, выстрелил. Ближайший надзиратель схватился за ногу. Остальные подняли руки, пошли к решетке. Бросили на пол оружие. Звякнули ключи. Решетка со скрипом откатилась в сторону.

Надзирателей заперли в камере.

Потом захватили жеиский блок. Федорович метался по камерам, искал Гертруду Иогаииовиу, ио ее ие было.

Наружиая охраиа стреляла по окиам.

— Хреи с иими, пускай стреляют, — сказал тщедушиый.

— Пускай, — согласился Федорович. — Погоди-ка. — Ои отломил доску от нар, сиял с себя малииовую рубашку, привязал ее рукава к доске. — Вот так. Пусть город зиает, что тюрьма иаша, — и высуиул самодельиый флаг в окно.

И тотчас флаг изрешетили пули.

— Ишь ты, — сказал удовлетворенно Федорович. — Боевое зиамя, как иа баррикадах.

— Рубахи-то ие жалко?

— Жалко, христиаиии, жалко. А шкуру собствеиную еще жальчей. Спаси и помилуй, господи!.. Ежели ты, коиечио, есть.

12

Штаидартеифюрер Витеиберг только молча скрипиул зубами, узиав, что тюрьма захвачеиа заключеииыми. Черт с иими, с заключеииыми. Коиечио, самое вериое средство замести следы — ликвидация. Тех, что сидели в подвале службы безопасиости, попросту увезли в лес в спецмашииах. Привезли уже мертвых. Задохиулись от выхлопиых газов. Остроумиая выдумка. Их свалили в старый ров. Закапывать было иекогда. Ничего. Главиое, они будут молчать.

А сейчас надо вывозить архив. Списки агеитуриой сети, явки, клички. Все сложное хозяйство коитрразведки. И вовремя убраться самому. Русские обложили город. Солдаты сдаются. Только эсэсовцы держатся. И пока ие перекрыли мост, иадо уходить. Как бы ии окоичилась войиа — агеитура всегда поиадобится.

Докумеиты службы безопасиости грузили иа два броиетраиспортера. Их охраияли эсэсовцы. Грузили в иесгораемых ящиках. В случае чего можио закопать или потопить.

Прежде чем уйти из кабииета иавсегда, Витеиберг огляделся. Разгром. Позор! Ну, иичего. Они оставят русским развалииы. Этому городу больше ие подияться.

Штаидартеифюрер взял телефоииую трубку. Слава богу, связь еще работает. Ои иазвал иомер.

— Шарфюрер Китце, — раздалось в трубке.

— Китце, слушайте меия виимательио. Ровио через час — взрывайте. И уходите.

— Слушаюсь, штаидартеифюрер.

— Успеха вам.

Штаидартеифюрер зиал, что Китце ие уйти, штаб тоже минироваи. Шарфюрер падет смертью героя.

Витеиберг быстро спустился по лестиице, сел в машииу.

На цеитральной улице образовалась пробка. Орали люди, сигиалили автомобили.

Штаидартеифюрер ие стал ждать, повел свои броиетраиспортеры по малеиьким улочкам. Это даже кстати, что образовалась пробка. Ои

подъедет к мосту быстрее, чем другие, и переправится через реку без помех. Еще успеет взглянуть на фейерверк.

Но у самого моста стоял разбитый грузовик. Рядом и на мосту — трупы. Возле разбитой машины сидел на корточках солдат, прислонившись к скату, перебинтовывал руку с помощью другой руки и зубов.

Штандартенфюрер выскочил из бронетранспортера:

— Что случилось?

Солдат даже не встал, только голову повернул.

— Русские.

— Откуда русские? — Штандартенфюрер не поверил, но с того берега раздалась автоматная очередь и пули просвистели рядом.

Витенберг невольно присел рядом с солдатом.

— Здесь не может быть русских.

— Значит, это деревья стреляют. И машину разнесли снарядом.

Штандартенфюрер перебежал к своим бронетранспортерам.

— Нам надо выбраться во что бы то ни стало. Идите по домам, сгоняйте сюда жителей. Быстро.

Василь Долевич лежал за деревом возле самой дороги. Мост как на ладони. На мосту — ни души. Только на настиле лежит несколько мертвых фашистов. Да сразу за мостом стоит разбитая автомашина. В нее ударили в упор из сорокапятки. Говорят, что и партизанский танк вот-вот подойдет.

Налет на мост совершили так внезапно, что гитлеровцы и выстрелить не успели. Вправо и влево от моста залегли партизаны. Здесь фашистам пути нет.

Потом на той стороне появились бронетранспортеры.

Рядом с Василем лежал командир группы Захаренок.

— Сейчас попрут, — сказал он, ни к кому не обращаясь. И повернулся к Василю. — Ржавый, скажи артиллеристам, чтобы глядели в оба. Начнут прорываться, пусть бьют прямой наводкой.

— Есть! — Василь вскочил и побежал, петляя между стволов, к артиллеристам, благо они были рядом, передал приказ, вернулся и снова залег за деревом. На той стороне началось какое-то движение.

А потом из-за разбитой машины появились люди: женщины, дети. Они молча взошли на мост, прижимаясь друг к другу и ступая осторожно, словно мост мог под ними провалиться. Следом шли эсэсовцы с автоматами, а за ними ползли бронетранспортеры.

Партизаны лежали в укрытиях, боясь шевельнуться, не раздалось ни одного выстрела. Видно было, как на бронетранспортерах поворачивались черные стволы пулеметов.

— Сволочи, — выругался Захаренок тихо. Он растерялся. Что предпринять? Есть приказ — не выпустить из города ни одного фашиста. Но как будешь стрелять по женщинам и детям?

Безоружные горожане уже добрались до середины моста, живой щит фашистов.

— Хозяин, — сказал Василь, по привычке назвав Захаренка хозяином. — Я подползу с гранатами. Как женщины пройдут, брошу под бронетранспортер.

— Убьют.

— Не, я верткий.



И вдруг увидел в первом ряду Злату с Катериной.
Сердце оборвалось.
— Ступай... Товарищи, — тихо сказал Захаренок, — пропустите наших. А как я дам команду — ложись! Бейте по фашистам без передыху, чтобы головы не поднять. Ах, сволочи.
Василь пополз к мосту, с которого спускалась перепуганная толпа. А в толпе уже заметили партизан. Кто-то всхлипнул. Женский голос крикнул:
— Стреляйте, сынки, стреляйте по супостатам!
На мосту грохнул выстрел. Женщина упала.
— Вперед! — кричал Витенберг.
Злата увидела ползущего вдоль дороги Василя, прижала к себе Катерину.
— Падайте, как крикнут: «ложись», — сквозь зубы сказал Василь, когда первый ряд поравнялся с ним.
Он понимал: как только его заметят — поднимут стрельбу, и полз, как ящерица, припав животом к земле. С двумя тяжелыми противотанковыми гранатами в руках. И замер, словно мертвый, когда прошли женщины. Эсэсовцы не обратили внимания на труп. А Василь вскочил, словно в нем выпрямилась пружина, бросил обе гранаты под бронетранспортер. И упал на землю.
— Ложись! — крикнул Захаренок.
Злата придавила к земле Катерину, упала на нее, за ней повалились остальные. И тотчас заработали автоматы и винтовки, партизаны выскочили из-за деревьев, бросились на эсэсовцев.
Грохнули разом два взрыва. Бронетранспортер метнулся в сторону, сломал перила и рухнул на берег.
Витенберг, оглушенный, бросился в сторону, но чья-то пуля сразила его.
Второй транспортер, брошенный водителем, стоял на середине моста, урча невыключенным мотором. Оставшиеся в живых эсэсовцы бежали в город.
— Живы? — крикнул Захаренок.
Люди стали подниматься с дороги, оглядывать друг друга. Живы, неужели живы? Злата метнулась к мосту, таща за руку плачущую Катерину.
— Василь! Василь!.. — звала она. — Ржавый!
— Ржавый, — тоненько затянула вслед за ней Катерина.
И обе остановились.
Василь лежал на дне придорожного кювета, придавив телом левую руку, а правую откинув в сторону.
— Василь, — тихо позвала Злата, по щекам ее текли слезы, она не утирала их, хотя из-за них все было, как в тумане. — Василь.
Подошел Захаренок, нагнулся, приподнял голову Василя.
Василь вздохнул и открыл глаза.
— Отбили? — голос был едва слышен.
— Ну! А говорил, не убьют. Говорил, верткий.
— Так не убили ж.
— Василь! — сказала Злата.
— Да живой твой Василь. Живой, слава богу. Где болит-то? — спросил Захаренок.
— А нигде... Везде... — Василь приподнял руку и потерял сознание.

...Ровно через пятьдесят шесть минут после телефонного звонка штандартенфюрера шарфюрер Китце вышел из комнаты и направился к лестнице в подвал. Сейчас он выполнит приказ и уйдет.

Возле входа в подвал стояли два эсэсовца. Откуда они здесь взялись? А он-то думал, что остался в здании один, да охрана у ворот.

— Хайль Гитлер! — сказал весело Китце.

— Хайль! — откликнулись эсэсовцы. И тот, что помоложе, спросил: — Что вы здесь делаете?

— Выполняю приказ.

— Чей?

— Штандартенфюрера Витенберга.

— Тогда подымите руки.

— Позвольте, какое-то недоразумение.

— Руки! — строго скомандовал младший.

Китце поднял руки. Он ничего не понимал.

— Штандартенфюрер велел включить рубильник ровно через час. А вы меня задерживаете.

Эсэсовцы молча отобрали у него пистолет. Вывернули карманы. Звякнули упавшие на пол ключи.

— Это от комнаты в подвале? — спросил молодой.

— Да. И штандартенфюрер очень рассердится.

— Пусть сердится, — миролюбиво произнес молодой. — Идите вперед.

Щелкнул выключатель. За дверью у стены на корточках сидел странный мужчина в широкополой шляпе, нахлобученной на глаза.

Он встал и сказал что-то по-русски.

И старший эсэсовец ответил ему по-русски. И Китце понял, что никакие они не эсэсовцы. И рванулся, чтобы убежать, но молодой ловко подставил ему ножку, и он растянулся на полу.

— Нехорошо, шарфюрер. Сидите спокойно, а не то я вас пристрелю. Понятно?

— Так точно.

Китце не знал, что мнимые эсэсовцы спасли ему жизнь.

13

Партизанская бригада выполнила задачу. Ни один фашист не ушел из города через мост, не переплыл через речку. Гитлеровцы сдавались, кое-где сопротивлявшихся эсэсовцев уничтожали дружным огнем. В город входили советские войска.

Толик бросился к деду Пантелею за Серым, но дед уже шел навстречу, ведя овчарку на поводке. Пантелей Романович с трудом передвигал ноги, но не выйти на улицу он не мог.

Старик увидел издалека Толика и отпустил собаку. Пес бросился к своему хозяину, сбил Толика с ног и стал облизывать его, лежащего. А Толик смеялся.

Серый неожиданно рванулся к подворотне горелого дома, зарычал.

— Погоди-ка, дед, — Толик насторожился. — Кто там, Серый?

Пес залаял.

— Идем посмотрим.

В развалинах горелого дома жались друг к другу три автоматчика,

глядели испуганно на Толика и на страшную серую собаку, которая скалила зубы.

— Хорошо, Серый, — сказал Толик и подумал: «Вдруг пальнут со страху?»

Но немцы положили автоматы на землю, встали и переминались с ноги на ногу, не спуская глаз с собаки.

— Хенде хох, — приказал Толик.

Они подняли руки.

— Коммен зи... сюда, — Толик ткнул пальцем в землю перед собой.

Немцы поняли, вышли из развалин. Толик взвалил два автомата на плечо, третий взял в руки. Кивнул немцам на подворотню. Те покорно вышли на улицу.

— Линкс, — приказал Толик.

Они повернули налево.

— Найн, найн! Рехтс! — поправился Толик. Все перепутал, Леокадия влепила бы двойку.

Немцы послушно повернули направо и побрели посередине улицы. Толик шел следом, ведя Серого на поводке. А по панели шаркал больными ногами Пантелей Романович. Он старался не отставать от Толика и думал о том, что сына не оживить и внука не оживить. И с ненавистью смотрел на спины в серых мундирах.

Главная улица была усыпана цветами, наверное, ни одного цветочка не осталось ни в садах, ни в палисадниках. По этим цветам и с цветами в руках шли по улице наши солдаты, сверкая гвардейскими знаками и медалями на пропыленных, пропотевших гимнастерках, с грязными лицами, на которых сверкали белки глаз да зубы в улыбках. Шли автоматчики, шли бронебойщики, таща на плечах свои длинные тяжелые ружья, шли артиллеристы возле своих пушек. Гремели танки с открытыми люками, с яркими пятнами цветов на зеленой броне. Шли освободители.

Толик увидел маму. Она стояла в черном платке на перекрестке, плакала, не скрывая слез, и широкими взмахами руки крестила проходящих солдат. Какой-то солдат вышел из строя, обнял ее, ткнулся в щеку желтыми усами.

— Что вы, мамо, мы ж вернулись. Насовсем.

Мать припала к его плечу, всхлипнула, утерлась кончиком платка.

— Моего среди вас нету? Ефимов Григорий?

— Не встречал, мамо, — сказал солдат. — Может, и есть, а может, другой город освобождает. Велика земля.

И побежал догонять своих.

А от моста навстречу войскам входили в город партизаны.

Впереди, тяжело ступая, шел Захаренок, частный предприниматель, владелец мастерской с автоматом на могучей шее.

К нему подбежала незнакомая женщина.

— Самовар-то мой когда почините?

Захаренок оторопел, не понял сперва, а когда понял — начал смеяться, за ним засмеялись идущие рядом, и те, что шли дальше и не знали, что за смех, откуда взялся, по какому поводу, тоже смеялись. Смех — заразителен.

— По-чи-ню... По-чи-ню... — выдавливал сквозь смех Захаренок.



А женщина, не понимая, что же тут смешного, — ведь взял самовар в починку и сгинул бог знает куда на столько времени, — шла рядом и сердито кивала.

А от тюрьмы шла третья колонна, пожалуй, самая пестрая, самая измученная и счастливая. Несколько женщин бросились навстречу, обнимали своих близких. А впереди этой странной колонны шел Федорович в одной майке и в плисовых штанах, подвязанных веревкой, босой, и держал в руках доску с привязанной к ней малиновой рубахой, простреленной, как решето.

По улице шагал военный оркестр. Медные трубы сверкали на солнце. Рядом с оркестром бежали счастливые мальчишки и девчонки.

Гремел марш. Медные трубы звали Победу. А она была еще далеко, за сотни километров, за сотни дней. За сотни боев и смертей.

Но отсвет ее уже горел в медных, начищенных трубах!



ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Турнчин Илья Афроимович

БРАТЬЯ

Ответственный редактор И. И. Трофнмкнн.
Художественный редактор А. В. Карпов.
Техннческий редактор Л. Б. Купрнянова.
Корректоры Л. А. Бочкарёва н Н. Н. Жукова.

ИБ 7428

Сдано в набор 19.09.83. Подпнсано к печатн 05.01.84. Формвт $70\times100^{1}/_{16}$. Бумагв офсетная № 1. Шрнфт лнтературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,6. Усл. нр.-отт. 32,5. Уч.-нзд. л. 15,31. Тнраж 100 000 энз. М-33001. Заназ № 567. Цена 85 коп. Леннградсное отделение орденов Трудового Красного Знаменн н Дружбы народоа нздательства «Детсная лнтература» Государственного комнтета РСФСР по делам нздательств, полнграфнн н нннжной торговлн. 191187, Леннград, наб. Кутузоаа, 6. Фабрнна «Детсная ннга» № 2 Росглавполнграфпрома Государственного номнтета РСФСР по делам нздательств, полнграфнн н кннжной торговлн. 193036, Леннград, 2-я Советсная, 7.

Туричин И. А.

Т 86 Братья: Роман/Рис. И. Жмайлова.—Л.: Дет. лит., 1984. — 191 с., ил.

В пер.: 85 к.

Герои романа — братья Петр и Павел Лужины — знакомы читателям по предыдущему роману писателя «Кураж». Разлученные войной, каждый из них в меру своих сил продолжает борьбу с захватчиками. Основная тема книги, написанной в приключенческом жанре, — интернациональная дружба, крепнущая в борьбе с общим врагом — германским фашизмом.

$$Т \frac{4803010102-121}{М101(03)-84} 418-84$$

Р 2





85коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"